
ЧЕЛОВЕК
XVI столетия
Человек XVI столетия

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ЧЕЛОВЕК XVI СТОЛЕТИЯ

Под редакцией
А.А.Сванидзе и В.А.Ведюшкина



МОСКВА 2000

ББК 63.3
Ч

Рецензенты:
Л.М.Брагина
М.В.Винокурова

В технической работе по подготовке сборника к печати участвовали Г.А.Попова и А.И.Асланянц

Ч **Человек XVI столетия.** - М., ИВИ РАН, 2000. - 228 с.

ISBN 5-201-00541-1

Ч $\frac{0503010000-4}{45ж(03)-2000}$ без объявл.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К ЧИТАТЕЛЮ

В ноябре 1995 г. Центр истории Западноевропейского Средневековья и Раннего нового времени Института всеобщей истории РАН совместно с кафедрой истории средних веков истфака МГУ провели научные чтения, посвященные столетию со дня рождения выдающегося российского медиевиста, профессора М.М.Смирина (1895-1975). Автор прекрасных трудов по германской истории конца Средневековья и Раннего нового времени, воспитавший плеяду талантливых германистов, М.М.Смирин сделал очень много для развития отечественной медиевистики, поддержания ее высокого уровня. В соответствии с широкими интересами ученого, мы обсуждали на чтениях несколько важных проблем европейской истории XVI в. (см. статью А.А.Сванидзе в сборнике «Средние века», вып. 60. М., 1998). Но центральное место в дискуссии заняла тема «Человек XVI столетия». Она привлекла столь большой интерес докладчиков и аудитории, что возникла идея выпустить специальный сборник, ей посвященный. Основу его составили наиболее примечательные доклады научных чтений. Стиль статей в сборнике не унифицировался: редакторы старались в каждом случае сохранить особенности авторского почерка. Следует сразу же уточнить, что географические рамки сборника (как, впрочем, и докладов, прочитанных на чтениях) ограничены Европой.

Обосновывать научную актуальность такого начинания вряд ли имеет смысл: тема человека закономерно занимает сегодня ведущее место в исторической науке, а XVI век привлекал и будет привлекать историков как время значительных и многосторонних перемен и ярких личностей. Свидетельства тому мы найдем в самых разных сферах жизни европейского общества того времени: открытие и освоение европейцами Америки и других континентов, вызвавшее невиданное расширение кругозора европейцев; зарождение капиталистических отношений в экономике; глубокая трансформация социальных структур; кардинальная перестройка отношений между государством и обществом, связанная с возникновением и развитием абсолютизма; Реформация и контрреформация, коренным образом изменившие религиозную жизнь эпохи; наконец, победное шествие книгопечатания, впечатляющие успехи наук и распространение по всей Европе

культуры Возрождения. Все это не могло не сказаться на поведении, образе жизни и мыслей людей того времени. Новые времена созидали новых людей. Новое в их жизненных установках неизбежно сосуществовало с традиционным, наслаивалось на него, нередко вступало с ним в противоречие. Освященные временем традиции на время брали реванш то в одном, то в другом. Все это обусловило необыкновенное многообразие, подвижность, противоречивость и самой эпохи, и порожденных ею характеров.

В сборнике представлены самые разные люди того времени: государи и бюргеры, реформаторы и авантюристы, патриции и простолюдины, аристократы и ученые. Нередко в одном лице объединялось сразу несколько таких ипостасей: политик в некоторой степени не мог не быть человеком пера, а аристократ или ученый подчас вел жизнь авантюриста. Поэтому неизбежно условной оказывается любая рубрикация, в том числе и предложенная в данном сборнике.

Мы намеренно завершаем сборник «общим» разделом: все же каждый человек, как бы ярок он ни был, живет и проявляет себя в рамках культуры своего времени, своего социального слоя, своей профессиональной группы, со свойственными им обычаями и понятиями.

Разные судьбы, принадлежавшие одному времени... Человека XVI века не спутать ни с человеком предшествующего, ни с человеком последующего столетия. Впрочем, об этом уместнее будет рассуждать после того, как осуществятся лелеемые в Центре истории Западноевропейского Средневековья планы продолжить галерею портретов людей на фоне эпохи, отдельно проговорив и о человеке XV, и о человеке XVII столетия...

12 мая 1998 г.

А.А.Сванидзе
В.А.Ведюшкин

ГОСУДАРИ И ПОЛИТИКИ

О.В.ДМИТРИЕВА

"АНГЛИЯ - ЭТО Я". БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ИПОСТАСИ ЛОРДА УИЛЬЯМА БЕРЛИ

Формулу "государство – это я", оставленную нам Луи XIV как квинтэссенцию монаршьего самомнения, пожалуй с большим основанием могли применить к себе люди, входившие в эпоху раннего нового времени в когорту высшей бюрократии европейских стран, ибо именно чиновничья каста во все времена аппроприирует государство. Это особенно верно для XVI века, когда сами государственные институты находились на той стадии своего развития, которая предполагала слияние исполнительной, законодательной и судебной властей, а также возможность с помощью феодального патроната и придворных каналов влияния сосредоточить в одних руках такой набор функций и полномочий, какие уже были бы немыслимы в новое время с его разделением ветвей власти, четкой специализацией чиновничества разных ведомств и окончательно определившимся кругом задач высших должностных лиц.

Изучение системы управления этого времени должно непременно опираться на методику как институционных, так и антропологических исследований, поскольку совершенно очевидно, что, с одной стороны, состояние властных институтов формировало совершенно особые требования к личности, занимавшей высокий пост, а с другой – характер и способности этой личности в немалой степени определяли специфику института и его реальный вес в государственной системе.

С этой точки зрения уместно обратиться к опыту Уильяма Сесила лорда Берли (1520-21?-1598), быть может, одного из самых одаренных европейских государственных деятелей XVI в. Выходец из дворянского, но отнюдь не аристократического семейства, он получил образование в одном из лучших учебных заведений страны – в колледже Св.Иоанна (Кембридж), "alma mater" нескольких поколений английских реформаторов, чьи протестантские убеждения всецело разделял и У.Сесил. Колледж Св.Иоан-

на был и признанным гуманистическим центром, где преподавал лучший грецист того времени Дж.Чик, с которым Сесил породнился, женившись на его сестре. Его однокашник Р.Эшем, будущее светило английской педагогики, отзывался о Сесиле, как об одном из "прекраснейших молодых побегов на древе знания, взращенных в колледже"[1]. После окончания университета тот поступил в не менее знаменитую юридическую корпорацию Грэйз-Инн, дополнив блестящее гуманистическое образование навыками юриста-практика.

Его политическая карьера началась в 1547 г. на локальном уровне с избрания мировым судьей графства Линкольншир. С тех пор Сесил – неизменный участник местных административно-судебных органов: с 1559 г. он член т. наз. "кворума" мировых судей в графствах Линкольншир, Мидлсекс, Норземптоншир, Сарри, а с 1574 – и в графстве Рэтленд[2].

В то же время молодого юриста замечают и в Лондоне. В 1548 г. он становится личным секретарем Эдмунда Сеймура, герцога Сомерсета, лорда-протектора королевства при малолетнем короле Эдуарде VI. Поднявшись на несколько ступенек по карьерной лестнице, в 1550 г. он назначается членом Тайного Совета и "главным" или "государственным секретарем", исполняя эти обязанности до 1553 г. Место государственного секретаря открывало большие возможности, однако, чтобы ими воспользоваться, требовались недюжинные способности и характер. В начале XVI в. "главный секретарь" был всего лишь клерком, находившимся при короле и хранившим его личную печать. Когда эта должность досталась Т.Кромвелю, ее значение неимоверно возросло, но столь же быстро упало вслед за его крушением. На протяжении 50-х гг. госсекретарь постепенно превращается в одного из главных действующих лиц в Совете (не в последнюю очередь благодаря У.Сесилу). Он не только координирует деятельность Совета и готовит повестку его заседаний, но становится самым информированным его членом, поскольку первым получает всю секретную информацию о внутри- и внешнеполитических делах, адресованную этому коллективному органу[3].

Уже в 1550 г. сестра Эдуарда VI принцесса Елизавета попросила удачливого царедворца и опытного чиновника У.Сесила взять на себя труд инспектировать ее личные земельные владения, и именно с этого момента берет начало долгое сотрудничество молодой женщины и зрелого государственного деятеля, отличавшегося и осторожностью и дальновидностью. Эти качества помогли ему сделать верный политический выбор в момент

смерти Эдуарда, когда герцог Нортумберленд попытался изменить порядок престолонаследия и возвести на трон Джейн Грэй, в обход обеих сестер короля. Именно Сесил предостерег Елизавету от приезда в столицу в эти дни, возможно тем самым сохранив ей жизнь.

При католичке Марии Тюдор его таланты не были востребованы, однако восшествие на престол Елизаветы I оказалось и звездным часом Сесила. 20 ноября 1558 г. новая королева призвала его в Совет, бессменным членом которого он оставался до самого конца своей жизни – в течение сорока лет. В тот же день его восстановили в должности государственного секретаря, и он занимал ее до 1572 г. Среди вновь назначенных высших должностных лиц Сесил, безусловно, был ближе всего молодой королеве, которая безгранично доверяла ему, в силу чего, а также его личных качеств, он стал естественным лидером "кабинета". При нем должность государственного секретаря окончательно приобрела новый характер, созвучный общенациональным проблемам и задачам, стоявшим перед страной. По мнению крупнейшего специалиста по истории тюдоровской административной системы, он сделался "главным исполнительным министром короны во внутренних и внешнеполитических делах, несущим особую ответственность за безопасность государства и ход дипломатических переговоров"[4].

Более того, в первые годы правления Елизаветы он был ее наставником, учителем политической мудрости и вернейшим соратником, оставаясь в то же время нелицеприятным критиком и самым объективным и откровенным из ее министров. Королева воздавала должное его преданности, величая его шутливым прозвищем "мой Дух", "sir Spirit". Умирая, У.Сесил завещал своему сыну Роберту, унаследовавшему пост государственного секретаря, "служить Господу, служа королеве, ибо любые другие обязательства есть, разумеется, пакт с Дьяволом"[5].

Основные вехи его карьеры при Елизавете I таковы. В 1571 г. возведенный в баронское достоинство У.Сесил становится лордом Берли. Он получает на непродолжительные сроки должность лорда-хранителя малой государственной печати в 1571 г., оставаясь государственным секретарем, и в 1590 г. С 1572 по 1598 г. занимает пост лорда-казначея королевства, и в новом качестве по-прежнему сохраняя за собой лидерство в Тайном Совете. Наряду с этим он с 1561 г. возглавляет ведомство опеки над молодыми аристократами (Court of Wards), а также является лордом-лейтенантом ряда графств – Мидлсекса (1568), Хертфордшира (1587), Линкольншира (1587) и Эссекса (1588)[6]. По-

мимо этого лорд Берли исполняет обязанности королевского управляющего (high steward) портами Большой Ярмут, Кингз Линн и Бристоль, патрона городов Вестминстер и Сент-Олбанс, почетного канцлера Кембриджского университета и др., относясь к ним с предельной ответственностью.

До последнего дня своей жизни он вез тяжелейший воз государственных забот и, несмотря на болезни и приступы подагры, неизменно являлся в Совет, поражая своей работоспособностью более молодых коллег. Его эффективность как чиновника снискала Берли лестный титул "отца отечества" и неодобрительное, но не менее восхищенное прозвище "английский колдун" (the wisard of England), которым его наградили враги.

Как всякий чиновник центральной администрации Берли мог взять себе в помощники несколько клерков-секретарей для ведения документации (обычно это были молодые клиенты-дворяне, чью службу на благо государства их патрон оплачивал из собственного кармана). Однако он предпочитал большую часть работы делать сам, не доверяя ее никому, или в крайнем случае обходился минимумом помощников. Это было оправдано с точки зрения государственной безопасности, поскольку главный секретарь постоянно имел дело с секретной информацией и курировал ведомства разведки и контрразведки. Известный деятель и клерк Тайного Совета Р.Бил, служивший при его преемниках, приводил Берли в пример как разумного организатора: "У секретаря не должно быть слишком много доверенных клерков. Когда лорд-казначей Берли был секретарем, у него их было лишь два или три"[7].

Позже, став лордом-казначеем, но несмотря на смену должности сохранив за собой роль лидера кабинета, Берли также продолжал лично работать с бумагами, опираясь преимущественно на своего доверенного секретаря М.Хикса. Своеобразные амбиции этого выдающегося бюрократа с одной стороны, и гигантский объем работы, обрушивавшийся на него, с другой, привели к тому, что личный архив лорда Берли насчитывает 120 томов (он составляет основу коллекции манускриптов маркиза Лансдауна в Британском Музее). В нем представлены государственные и частные бумаги, отражающие многогранную деятельность У.Берли на самых разных постах, но наибольший объем документов приходится на 70-90-е гг., когда он был лордом-хранителем печати и лордом-казначеем. Коллекция содержит обширную переписку сэра Уильяма с местными властями, светскими и церковными должностными лицами, петиции, адресованные ему как члену Тайного Совета, инструкции, меморандумы

и черновики важнейших государственных документов, вышедшие из-под его пера.

Прекрасная сохранность целостного комплекса документов, характеризующего активность выдающегося государственного деятеля, совмещавшего множество функций в одном лице, позволяет поставить вопрос о том, какие из них были приоритетными для человека, являвшего собой прообраз премьер-министра нового времени. В частности, какие типы документов государственной важности из общего потока входящих и исходящих бумаг он считал необходимым писать или редактировать собственной рукой.

Содержание архива отражает огромную заинтересованность Берли и его активное участие в законотворчестве в 70-90 гг. Как известно, законодательные акты тюдоровской эпохи подразделялись на два типа – статуты парламента и королевские прокламации – указы, обеспечивавшие оперативное решение насущных проблем без созыва представительного органа. В личном фонде Берли в коллекции Лансдаун находится около десятка черновиков различных прокламаций, датированных 70-90 годами. На первый взгляд, их присутствие выглядит вполне уместным. Однако парадокс, бросающийся в глаза исследователю, состоит в том, что их там не должно быть, по крайней мере после 1572 г., когда Берли покинул пост государственного секретаря. Подготовка проектов королевских указов считалось прерогативой именно этого должностного лица. Р.Бил в своем трактате "О должностях канцлера и секретаря Ее Величества" отводит большой раздел тому, как последний должен готовить текст прокламации, опираясь на английское законодательство, а также опыт соседей – французские эдикты и ордонансы и испанские "прагматики"[8]. Что же касается лорда-казначея, никто и никогда не вменял ему в обязанность составление подобных документов. Тем не менее, казначей Берли берет на себя эту функцию, как будто она составляет неотъемлемую принадлежность его личности, а не занимаемого им поста.

Хотя в то же время нельзя не заметить, что новая должность сказывается на его приоритетах в законотворчестве. Вне зависимости от периода (70, 80 или 90-е гг.), в поле зрения Берли неизменно находятся проекты прокламаций, касающихся экономической политики и социального регулирования. Он является автором или редактирует указы относительно снабжения страны продовольствием, организации внутренней и внешней торговли, ценообразования и мер против волнений, связанных с недостатком продовольствия. В его бумагах мы находим черновик про-

кламации 1574 г. об ограничении потребления продуктов[9], прокламаций 1586 г. о лучшем снабжении рынков зерном (два варианта текста)[10], 1591 г. – о подавлении мятежей подмастерьев[11]. В том же 1591 г. Берли работает над проектами прокламаций о запрете торговли с французскими и испанскими портами[12] и о недопустимости вывоза продовольствия в Испанию[13]. В основном все эти проекты написаны рукой клерка и содержат множество пометок и изменений, внесенных лордом-казначеем. Однако когда речь заходит об одной из самых больных проблем королевства – о нехватке зерна, грозящей голодными бунтами, Берли лично берется за перо: полностью его рукой написан черновик прокламации о снижении цен на зерно[14].

Еще внушительнее выглядит активность Берли-законодателя, когда мы обращаемся к другому типу этих памятников – к парламентским статутам и биллям-законопроектам, предшествовавшим их принятию.

У.Сесил был опытным парламентарием еще до воцарения Елизаветы. Он избирался в парламент четырежды – в 1542, 1547, 1553 и 1555 гг. Как человек хорошо знакомый с парламентской “кухней” и госсекретарь, он, естественно стал депутатом и в первом парламенте Елизаветы в 1559 г., основной политической задачей которого было восстановление англиканской церкви. Именно Сесилу доверили подготовку биллей о королевской супрематии и о восстановлении церкви в том виде, в котором она существовала в при Генрихе VIII и Эдуарде VI, он же контролировал их прохождение в нижней палате[15].

В парламенте 1563 г. главным для короны и правительства был финансовый вопрос: королеве и Совету требовались средства для ведения войны с Францией. И вновь закулисная режиссура Сесила и его блестящее выступление в дебатах 20 января 1563 г. обеспечили благополучное прохождение билля о добровольной субсидии королеве (к сожалению, мы не располагаем сведениями о том, принадлежало ли непосредственно ему авторство текста законопроекта).

В течение той же парламентской сессии еще два вопроса занимали У.Сесила. Первый был делом государственной важности: речь шла о поощрении английского флота и рыболовства путем введения в стране дополнительного рыбного дня. Известно, что законопроект готовил адмирал Уинтер, но Сесил, возглавлявший парламентский комитет по этому вопросу, практически полностью переработал текст билля, который был принят обеими палатами в его редакции. Англичане еще долго ворчливо поминали автора закона, называя рыбный день “Сесиловым

постом"[16]. Другой законопроект, разработанный им, регулировал ввоз одежды из-за границы. Сам госсекретарь подчеркивал, что билль составил именно он: "Я был автором короткого закона, состоящего всего из двенадцати строчек ..."[17].

Незадолго до созыва третьего елизаветинского парламента в 1571 г. У.Сесил, став бароном и лордом Берли, покинул палату общин. Отныне местом его парламентской работы стала верхняя палата, но это не означало, что он утратил связь с коммонерами. Контроль с его стороны за прохождением биллей в нижней палате не ослаб, а просто принял иные формы.

Изучение порядка подготовки биллей в палате общин – одно из самых актуальных направлений современных исследований, посвященных институционному развитию парламента. Работы последних лет показывают, что между правительственным кабинетом и депутатами "общин" существовала тесная связь, и зачастую билли, выдвинутые коммонерами, на самом деле инициировались членами Тайного Совета, которые использовали своих клиентов (за последними в британской историографии закрепилось название "люди дела") для лоббирования определенных идей[18]. Эту картину подтверждает и содержание архива Берли, в котором мы встречаем билли 70-90 гг., поданные в черновиках для его предварительного одобрения, выправленные его рукой или составленные им самим. Наиболее интересен среди них набросок закона, запрещающего заниматься любым ремеслом, не пройдя ученичества (1578)[19].

Помимо собственно законотворчества ряд иных моментов требовал внимания первого министра в период работы парламента. В режиссуре любой парламентской сессии важную роль играло первое торжественное заседание, на котором присутствовала государыня, и лорд-канцлер от ее имени обращался к собравшимся депутатам с речью, разъясняющей причины, побудившие королеву созвать их. По существу это был официальный анализ положения в стране, подготовленный кабинетом министров, как и заключительная речь, подытоживающая работу парламента, по традиции произносимая лордом-хранителем печати. Как явствует из архива Берли, будучи самым авторитетным министром в Тайном Совете, он редактировал или даже писал программные речи для собственных коллег.

В частности, готовя парламентскую сессию 1585 г., лорд-казначей составил речь лорда-хранителя печати Николаса Бэкона[20], несмотря на то, что последний был опытнейшим государственным деятелем, человеком обширных знаний и прекрасной

образованности, тем не менее Берли счел, что сможет лучше изложить позицию правительства.

В парламенте 1589 г. Берли, как музыкант-виртуоз, почти полностью взял на себя оркестровку всех главных партий. Прежде всего он тщательно подготовил вступительную речь, которую должен был произнести лорд-канцлер, призывая депутатов дать деньги на военные нужды. В его архиве мы находим два документа, полностью написанные рукой лорда-казначея, под заголовком "Заметки о некоторых вопросах, которых должен коснуться лорд-канцлер, говоря о текущих войнах"[21]. Далее, по его сценарию, сословия, проникнувшись аргументацией канцлера, должны были вотировать необходимую королеве субсидию. Предвосхищая их реакцию, Берли набрасывает документ уже от имени светских и духовных лордов – "Тезисы Декларации и предложения, которые должны сделать лорды светские и духовные Ее Величеству в своей готовности служить ей"[22]. Наконец, кульминацией его работы за всех и вся в этой сессии становится черновик преамбулы к Акту парламента о даровании добровольного дара сословий (т.е. искомой субсидии) королеве[23].

В период созыва парламента 1592/93 г. Берли выступает почти в немыслимом количестве ипостасей. Он пишет собственную речь о необходимости очередных субсидий, которая будет произнесена в палате лордов[24], набрасывает тезисы выступления лорда-хранителя Пакеринга на открытии сессии[25], еще раз редактирует окончательный вариант его речи собственной рукой[26], а в дополнение ко всему этому правит черновой вариант речи спикера нижней палаты[27].

Последний парламент, в котором довелось участвовать лорду Берли, был созван незадолго до его смерти в 1597 г. Основной проблемой этой сессии стали огораживания и вызванная ими депопуляция. Разумеется, билль о поддержании землепашества, ставший позднее статутом, редактировал лорд-казначей, о чем мы узнаем не только благодаря наличию черновика в его архиве[28], но и из письма к нему депутата Э.Коупа. Зная, что первый министр занимается проектом закона, Коуп счел необходимым послать ему тезисы собственной речи, с которой он намеревался выступить в дебатах, чтобы согласовать свою позицию с официальной точки зрения[29]. Предполагалось, что Берли отредактирует и ее.

Есть нечто кафкианское в том, с каким постоянством лорд Уильям Берли в течение многих лет играет и говорит за всех на английской политической сцене, как великан-кукловод, управляющий миниатюрными марионетками, послушно произносящи-

ми его тексты. Его устами говорят сама королева (существует набросок ее речи 1594 г. о внешнеполитических делах с поправками Берли)[30], члены правительства, лорды, коммонеры и даже деятели парламентской оппозиции. Невольно напрашивается риторический вопрос, а есть ли в Англии кто-нибудь еще, кроме лорда Берли? И существует ли сама страна вне пределов его сознания, или она – продукт его бумаготворчества?

Англия даже молится его словами. Среди документов, которые несли большую идейную нагрузку и должны были иметь широкий общественный резонанс, Берли также лично составлял или редактировал тексты официальных благодарственных молитв. После правки с его рабочего стола они отправлялись в типографию и выходили в виде печатных памфлетов. В архиве лорда-казначея мы встречаем черновик благодарственной молитвы за избавление королевы от опасной болезни (1568 г.), причем судя по сопроводительным пометкам, это был уже второй вариант, измененный в соответствии с пожеланиями Берли[31]. Там же – недатированный черновик молитвы по случаю дня рождения королевы[32], текст с благодарностью Господу за спасение Елизаветы от покушения на ее жизнь с обильной правкой лорда-казначея[33], наконец, редактируемая им молитва о флоте Ее Величества[34]. Безусловно эти документы были бы уместнее на рабочем столе архиепископа Кентерберийского, чем у главы финансового ведомства, однако последний, видимо полагал, что пропагандистские акции в связи с актуальными политическими вопросами – его прерогатива.

Непоколебимая уверенность в том, что он лучше других осознает нужды Англии и высокая степень отождествления себя со своей страной позволяют Берли без колебаний заговорить и непосредственно от ее имени. В 1585 г. он пишет прелюбопытнейший документ – "Апологию Англии", в котором анализирует внешнеполитическое положение страны, ее союзников и противников и обосновывает необходимость помощи с ее стороны дружественным Нидерландам, страдающим под пятой Испании. Напомним еще раз, что внешнеполитические дела формально уже не относились к сфере его контроля, и все же лорд-казначей взял на себя труд разъяснить остальным европейским странам английскую точку зрения на проблему Нидерландов. В контексте исследования его деятельности как бюрократа высочайшего класса нас должна скорее заинтересовать вступительная часть речи, произносимой Англией, явившейся в этом коротком памфлете в виде одушевленной фигуры. Она пускается в пространные рассуждения о том, что "страна и регион, имеющая столь

авторитетную и мудрую королеву, ее правительницу ... и такое множество мудрых, ученых и опытных людей, какого она не знала в прежние времена, тем не менее предпочла принять облик живого существа, чтобы говорить от своего имени самой, и не предоставила это никому из ее главных должностных лиц, управляющих ее церковью или гражданским государством, тем, кто обычно в речах или письменно излагают мое состояние моему собственному народу и друзьям или врагам". Причина в том, что в государстве существует большое разнообразие мнений и суждений по любому вопросу – в среде сословий королевства, в графствах, в правительстве, и трудно отыскать того, кто выразил бы общее мнение. (Весьма яркая зарисовка реальной ситуации, с которой лорд Берли имел дело в своей повседневной практике). Посему героиня его памфлета продолжает: "Я, Англия, приняла форму некого существа, представляющего все королевство и страну, свободного от личных пристрастий по отношению ко всем моим естественным подданным и к другим странам..."[35]. И текст в уста этого существа вложил не кто иной, как вездесущий лорд Берли, полагавший не без основания, что его мнение будет самым объективным, а его представление об интересах страны абсолютно точно выражает эти самые интересы.

Даже столь беглый и выборочный анализ кабинетной работы "английского волшебника" позволяет заметить некоторые характерные черты в организации его деятельности. Личный опыт У.Берли уникален, поскольку он стремился взять на себя максимум выполнимой работы и постоянно действовал на пределе собственных физических возможностей. Поскольку он не был склонен перекладывать дела на помощников, и сам вникал во все проблемы, рано или поздно он сталкивался с необходимостью сосредоточиться на главных из них. Последовательно занимая или совмещая на протяжении своей долгой карьеры ряд ключевых постов, Берли инстинктивно тяготел к сохранению за собой полномочий, присущих различным должностям, и позволявших ему контролировать важнейшие сферы жизни страны – ее внешнюю политику, социально-экономическое положение и финансы. Эмпирически в его лице произошло слияние функций двух должностных лиц, по традиции доминировавших в Совете с первой половины XVI в. – главного секретаря и казначея. Выступая в обеих ипостасях Берли приобрел новое качество, превратившись в истинного премьер-министра, и этот термин следовало бы изобрести раньше, чтобы с полным основанием назвать им сэра Уильяма.

Задачи, с которыми приходилось сталкиваться лорду Берли носили уже отчетливый публичный и общенациональный характер, поэтому неудивительно, что наиболее оправданным способом их разрешения он считал выработку законодательных актов, инициируя принятие многих из них. Его реальная роль при подготовке парламентских сессий позволяет считать, что анализ текущей ситуации и определение стратегии кабинета были его прерогативой, как, впрочем, и пропаганда этой стратегии перед депутатами от сословий. Таким образом, в дополнение к функциям координатора действий правительства Берли взял на себя роль главного интерпретатора правительственной политики, а также идеолога государства, окончательно очертив тем самым круг обязанностей первого министра, идеал которого для своего времени воплощал успешнее, чем кто бы то ни было.

---

[1] Read C. Mr.Secretary Cecil and Queen Elizabeth. L., 1965. P.17

[2] Hasler P.W. The House of Commons. 1558-1603. 3 vols. Vol. I. P.17

[3] Подробнее о должности государственного секретаря см.: Hoak D.E. The King's Council in the reign of Edward VI. Cambr., 1976; Labaree L.W., Moody R.E. The Seal of the Privy Council.//English Historical Review, XLIII, 1928; Lander J.R. The Yorkist Council and Administration. 1461-1485.// English Historical Review, LXXIII, 1958; Otway-Ruthven J. The King's Secretary and the signet in the XV c. Cambr., 1939

[4] Elton G.R. The Tudor Constitution. Cambr., 1984.P.120

[5] Hasler P.W. Op. Cit. P.588

[6] Подробнее о функциях лорда-лейтенанта см.: Scott Thompson G. Lord-Lieutenants in the 16 c. L., 1923

[7] Beale R. Treatise of the office of a councillor and secretary to Her Majesty. Elton G.R. Op.cit. p.126

[8] Ibid., p.127

[9] British Library. Lansdowne MS. 18, 42

[10] Lansdowne MS. 48, 51; 48, 55

[11] Lansdowne MS. 66, 92

[12] Lansdowne MS. 66, 89; 66, 91

[13] Lansdowne MS. 67, 82

[14] Lansdowne MS. 81, 24

[15] Hasler P.W. Op.cit. P.583

[16] Ibidem. P. 584

[17] Ibidem.

[18] Подробнее о технике прохождения биллей в елизаветинских парламентах см.: Dean D.M. Bills and Acts. 1584-1603. Thesis. Cambr., 1984; Graves M.A.R. The management of the elizabethan House of Commons: The Council "Men-of –Business"// Parliamentary History. Vol.2, L., 1983; Idem. Managing Elizabethan Parliaments: The Parliaments of Elizabethan

England. Oxf., 1990; Collinson P. Puritans, Men of Business and Elizabethan Parliaments.// Parliamentary History. Vol. 7. Pt. II, L., 1988

[19] Lansdowne MS. 26, 71

[20] Lansdowne MS. 43, 77

[21] Lansdowne MS. 104, 28 (doc. 1, 2)

[22] Lansdowne MS. 104, 25

[23] Lansdowne MS. 58,79

[24] Lansdowne MS. 104, 33

[25] British Library. Harley MS, 6265

[26] Ibidem.

[27] Lansdowne MS. 73, 1

[28] Lansdowne MS. 83, 70

[29] Lansdowne MS. 83, 68

[30] Public Record Office. State Papers. CCXLVIII, 28

[31] Lansdowne MS. 116, 28

[32] Lansdowne MS. 116, 24

[33] Lansdowne MS. 116, 29

[34] Lansdowne MS. 116, 3; 116, 31

[35] Angliae Apologia. Anglia Personata Loquens. Lansdowne MS. 103, 20; Lansdowne MS. 98, 34

В.И.ГОНЧАРОВА

ИМПЕРАТОР МАКСИМИЛИАН ГАБСБУРГ: ФИГУРА РЕНЕССАНСНОГО ГОСУДАРЯ

Император Максимилиан (годы жизни 1459-1519, король Германии с 1485, император с 1493 г.) – личность, несомненно, выдающаяся, и исследователи уже в XVIII, XIX и XX вв. отмечали в нем черты одновременно и средневекового властителя, и ренессансного государя[1]. Это человек на переломе эпох[2], вобравший в себя черты истинного рыцаря (т.е. соответствовавшего системе собственного средневековых ценностей) и, одновременно, – гуманист и просветитель, сконцентрировавший в своей персоне ценности новой эпохи.

Авторов XVIII и XIX вв. интересовали прежде всего вопросы, связанные с оценкой Максимилиана как человека и политического деятеля. Исследования такого рода носят, как правило, ярко выраженный апологетический характер[3]. Впрочем, самые восторженные авторы вынуждены отмечать расхождение между блестящими личными качествами императора и не всегда соответствующей этому блеску внутренней и внешней политикой. Но уже в этот период были выделены существенные проблемы, положившие начало дальнейшим серьезным исследованиям, например, проблема соотношения внешней и внутренней политики Максимилиана (как императора и как представителя одного из крупнейших суверенных княжеских домов Германии) интересам Священной Римской империи в целом. Был сформулирован также ряд более мелких вопросов, например, характеристика основных государственных идей периода правления императора Максимилиана[4], вопрос о соотношении субъективного фактора (т.е. личных устремлений Максимилиана) и реальных возможностей, выдвинутых эпохой. Вопрос о деятельности Максимилиана в области внешней политики становится объектом самого пристального внимания и подразделяется на ряд направлений. Итальянские войны, организация крестового похода против турок, матримониальная политика и ее итоги, империя в системе западноевропейских держав. Все эти вопросы чрезвычайно интересны для исследователей, и даже ранняя историография

проблем максимилиановской эпохи насчитывает несколько десятков работ. В известной степени интерес объяснялся и тем, что это был период дореформационный, и в работах историков ставился вопрос о перспективах эволюции без социальных катаклизмов, что было важно для Европы, уставшей от революций и войн. И в этом смысле правление Максимилиана можно рассматривать в качестве одного из возможных путей подобного развития. Среди множества статей и небольших монографий следует отметить появление монументального труда Х.Ульмана[5], сохраняющего свое значение до сегодняшнего для. В XX в. эстафету исследований, посвященных императору Максимилиану, взяла на себя Австрия, где в университетах Вены, Инсбрука и Граца был защищен целый ряд диссертаций, исследующих его деятельность буквально по годам[6]. Подобный интерес вполне понятен – Габсбурги были прежде всего австрийской династией, и лично Максимилиан много сделал для развития и процветания этих территорий[7]. Для австрийских историков эта эпоха приобретает все большее значение как отправная точка истории Австрии как таковой. Особо следует подчеркнуть значение работ профессора Г.Висфлекера – самого крупного современного исследователя и авторитета в этой области[8].

Авторы многочисленных биографий Максимилиана невольно или намеренно усиливали те черты, которыми характеризуется средневековый государь и описывали традиционный для такого государя жизненный путь: харизматичность рода, личная харизма, соответствующее рыцарю воспитание, необходимое количество авантюр, подвигов и приключений (романтическая свадьба, военные походы и сражения и пр.), достойное правление (с «советом и судом» преданных государю вассалов), харизматичное потомство. В известной мере подобный подход к исследованию своей личности заложил сам Максимилиан в своих литературных произведениях «Theuerdank»[9] и «Weisskunig»[10]. При исследовании литературного творчества этого императора возникает желание разделить его жизнь на два периода (между которыми, впрочем, трудно провести четко выраженную границу): период авантюр, войн, сражений, т.е. период накопления жизненного опыта и действия, направленного во внешний мир, и следующий за ним период обработки этого жизненного опыта, выразившийся в целой программе задуманных императором литературных и научных трудов, которые должны были отразить все пережитое и продуманное им. И это при том, что внешне жизнь императора как будто нисколько не изменилась – он по-прежнему ездил по всей империи[11], не только руководил военными и дипломатиче-

скими маневрами в ходе Итальянских войн, но даже принимал личное участие в осаде Падуи (1509 г.)[12]. Но одновременно произошла и переоценка ценностей: Максимилиан пожелал стяжать славу не только полководца и политика, но и ученого и литератора. Возможно, Максимилиан вдохновлялся примерами Юлия Цезаря и своего деда Дуарте – португальского короля и поэта[13].

Начало литературным трудам было положено еще в конце XV века работой над латинской автобиографией, которую Максимилиан диктовал своим секретарям[14]. Более широкая программа литературных и научных трудов (по разным данным до 25 произведений)[15] начала формироваться согласно записным книжкам императора[16] в 1508-1509 гг. и приобрела законченный вид к 1512 г. Император предполагал лично рассказать о своих деяниях, об истории своего рода, а также собрать и издать основные сведения в некоторых видах ремесел и искусств: строительстве, кулинарии, охоте, рыбной ловле, артиллерийском деле и многих других.

Большинство из этих проектов воплотить не удалось. Единственное полностью законченное произведение, которое было опубликовано еще при жизни императора[17] – роман в стихах в аллегорической форме «Theuerdank», передающий историю сватовства Максимилиана к Марии Бургундской. Это сочинение можно отнести к особому литературному жанру т.н. «рыцарского романа», к которому относятся и произведения троянского и артуровского циклов, и позднесредневековый аллегорический «Роман о Розе», и ренессансный «Orlando furioso» Ариосто. К роману »Theuerdank» примыкает второе известное произведение Максимилиана «Weisskunig», отчасти повторяющее те же сюжетные линии, и, по некоторым свидетельствам, задуманное как продолжение и дополнение рыцарского романа[18]. Император планировал создать 4 произведения разных жанров (комедия, трагедия, историческая хроника) с описанием событий своей жизни. Так же как латинская автобиография «Weisskunig» был продиктован императором его секретарям и окончательно обработан одним из них, Марксом Трайцауервайном[19]. Автобиография подчеркивает особое происхождение Максимилиана – сын, внук, правнук, племянник королей, правда, только по женской линии – по своей матери Элеоноре Португальской[20]. Он был правнуком португальского короля Жуана – освободителя Сеуты от мавров, и таким образом ему как бы по крови завещалось дело организации крестового похода против неверных. По отцу он также происходил из рода уже занимавшего ранее престол Священной Римской империи. Обстоятельства рождения Мак-

симилиана как бы подчеркивают его личную харизму: он родился 22 марта 1459 г. в Страстной четверг и был крещен в Пасхальное воскресенье 25 марта[21]. Имя свое получил в честь Св. Максимилиана, епископа г.Лорха в Австрии и одновременно в честь двух великих римлян – Фабиуса Максима и Павла Эмилия, которых новорожденный должен был превзойти в удаче и добродетелях[22]. Один из немногих детей императорской четы, которому удалось пережить младенческий возраст. Родился через 7 лет после бракосочетания родителей, состоявшегося 16 марта 1452 г., обстоятельства которого тоже исключительны даже для средневекового мира. После сватовства, длившегося более трех лет, император Фридрих III Габсбург и донья Элеонора, дочь португальского короля, по своей матери состоящая также в родстве с королями Арагона, были обвенчаны в Риме в базилике Св. Петра лично папой Николаем V. К торжествам была приурочена коронация Фридриха и его супруги императорскими коронами (выполнение Николаем V условий Венского конкордата 1448 г.)[23]. Таким образом, наследник этой четы мог считать себя порфирородным во всех отношениях. Фридрих III лично поспешил составить гороскоп новорожденного сына: звезды предвещали младенцу великое будущее[24].

Производит впечатление перечень наук и искусств, которым обучался юный наследник престола. Особо выделяются все воинские искусства. К почетным умениям относились не только охота, но и ловля птиц и рыб. Естественно, Максимилиан учится чтению, письму и семи свободным искусствам (причем чрезвычайно быстро), искусству сочинять стихи и песни, врачебному искусству, делопроизводству, рисованию, астрологии[25]. Он обучается также ремеслу каменщика, плотника, кулинара, изготовителя монет, карнавальных масок и пр. Сейчас затруднительно даже определить, насколько это соответствовало представлениям о занятиях, приличных для благородного юноши. Помимо латыни Максимилиан изучал современные языки, и, по легенде, однажды во время военных действий сумел объясниться с семью наемными воинами на 7 различных языках[26]. Латынь же он знал достаточно хорошо, чтобы читать Витрувия в подлиннике[27]. Дальнейшее повествование разворачивается в соответствии с канонами рыцарского романа: сюжет «добывания» невесты (здесь «Weisskunig» конспективно повторяет «Theuerdank»), далее следуют военные походы, договоры и союзы с другими королями, матримониальные планы. Главное внимание уделяется все-таки внешней политике (Белый король среди равных ему

других королей). Повествование заканчивается событиями сентября 1513 г.

Нельзя сказать, что эти автобиографии детально отражали все стороны его жизни. Максимилиан и его секретари старались придерживаться уже сложившихся канонов, оставляя в стороне то, что им кажется несущественным для характеристики государя и рыцаря, например, тесные отношения с особами некоронованными, а иногда и с лицами нерыцарского происхождения, такими как Конрад Пейтингер и Конрад Цельтис. Оба они, а также Виллибальд Пиркхаймер оказались вовлечены в литературные штудии императора в качестве помощников и консультантов. Более того, имя Пиркхаймера связано с любопытным эпизодом, дошедшим до нас в пересказе Меланхтона[28]. Этот нюрнбергский гуманист сопровождал императора в одной из поездок и стал свидетелем того, как Максимилиан диктует секретарю свою латинскую автобиографию. Пиркхаймер сделал несколько существенных замечаний об улучшении качества такой работы, а затем поинтересовался, как самому императору нравится солдатская латынь. Судя по всему, собеседник намек понял: латинская автобиография дошла до нас только во фрагментах, тогда как «Weisskunig» (продиктованный и записанный на немецком языке) представляет собой вполне законченное произведение. Эпизод интересен типично ренессансным развитием сюжета: гуманист указывает императору на качество употребляемой тем латыни, а император прислушивается к совету гуманиста.

В окружении императора можно видеть и других гуманистов, прославивших себя литературными и научными трудами. По его поручению Ладислаус Зонтхайм и Иоганн Куспиниан готовят труд, вышедший в 1553 г. под названием «Австрия». Географические и топографические материалы для этого труда собирал еще один гуманист Иоганн Стабиус[29]. По инициативе императора при Венском университете основано новое отделение поэзии и математики, для которого был приглашен в качестве профессора знаменитый поэт и гуманист Конрад Цельтис[30]. Максимилиан, при всей ограниченности имевшихся в его распоряжении денежных средств, покровительствовал многим поэтам и художникам, в частности, живописцу и граверу Альбрехту Дюреру, поощряя его императорскими заказами и выделяя ему доходы от города Нюрнберга[31].

Еще одно направление, не нашедшее отражения в автобиографических произведениях, связано с обширной программой постепенного реформирования структур управления империей. Речь идет о создании такого типа государственности, в котором

бы рационально уравновешивались функции всех сословий, над которыми, в качестве третейского судьи, возвышалась фигура государя. «Государь – инициатор и гарант земского мира» – с этого всегда начинались разговоры о реформах на всех рейхстагах периода правления Максимилиана. Далее следовали уточнения: для поддержания земского мира необходима армия, содержащаяся за счет постоянного налога. Рыцарство должно служить в армии, а города - поддерживать политику императора деньгами. Роли всех сословий оказывались распределенными, а император – «слуга всех» (Данте) – выступал как координатор их действий, предотвращающий разногласия и конфликты. Следует отметить, что для эпохи Ренессанса сословный строй остается основным – парламент в Англии, кортесы в Испании, Генеральные Штаты во Франции все еще имеют огромное значение, абсолютистские тенденции только еще проявляют себя, ренессансный абсолютизм – это нонсенс. Теоретические основы сути и роли ренессансной монархии были заложены в трудах Данте, Петрарки и в знаменитом «Defensor pacis» Марсилия Падуанского. И деятельность Максимилиана в этом направлении (впрочем, не очень успешная) может быть расценена как деятельность именно ренессансного государя.

Скорее всего, правильно было бы говорить о двух сторонах натуры Максимилиана: с одной стороны, приверженность ценностям средневековой эпохи, с другой – во многих случаях, типично ренессансная деятельность. Историк, писатель, покровитель наук и искусств, знаток латыни и многих европейских языков, ценитель типографского дела, покровитель многих немецких гуманистов, пытавшийся в свое правление воплотить ренессансные представления о роли империи и императора – вот далеко не все характеристики этого «человека на переломе эпох». И в этой двойственности нет противоречия: в той мере, в какой сам Ренессанс является цветком, выросшим на почве средневекового мышления, в той же мере и личность Максимилиана органично сочетает в себе черты двух эпох.

---

[1] Об этом говорит огромное количество публикаций со стандартным названием «Kaiser Maximilian I». См., например: Haltaus K. Geschichte des Kaisers Maximilian I. In: Historische Hausbibliothek. Bd. 13. Leipzig, 1850; Klüpfel K. Kaiser Maximilian I. In: Deutsche Nationalbibliothek. Bd.12. Berlin, 1864; Baader J. Kaiser Maximilian I. In: Hinscheiden Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. №17. Nürnberg, 1870; Heyck E. Kaiser Maximilian I. Monographien der Weltgeschichte. Bd.5. Bielefeld-Leipzig,

1898; Jansen M. Kaiser Maximilian I. Weltgeschichte in Charakterbildern. 3 Abt. München, 1905; Wiesflecker H. Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit. Bd. 1-5. Wien, 1971-1986.

[2] Определение, которое любят обыгрывать авторы многочисленных биографий Максимилиана. Например, Buchner R. Maximilian I, Kaiser an der Zeiterwende. Göttingen, 1959.

[3] Hegewisch D.H. Geschichte der Regierung Kaiser Maximilians des Ersten. Hamburg u. Kiel, 1782; Haltaus. Op. cit.; Klüpfel. Op. cit. и многие другие.

[4] Adler S. Die Organisation der Centralverwaltung unter Kaiser Maximilian I. Leipzig, 1886; Böhm W. Hat Kaiser Maximilian I im Jahre 1511 Papst werden wollen? Berlin, 1873; Kraus V.v. Das Nürnberger Reichsregiment: Grundung und Verfall, 1500-1502. Innsbruck, 1883.

[5] Ulmann H. Kaiser Maximilian I. Auf urkundlicher Grundlage dargestellt. Bd. 1-2. Stuttgart, 1884-1891

[6] Например, диссертации: Friedhuber I. König Maximilian I, die Erbländer, das Reich und Europa im Jahre 1500. Graz, 1963; Höflechner W. Beiträge zur Geschichte der Diplomatic und des Gesandschaftswesens unter Maximilian I. 1490-1500. 3 Teile. Graz, 1967; Groblächer J. König Maximilian I, das Reich, Europa und die Erbländer im Jahre 1498. Graz, 1969.

[7] См. подробнее: Гончарова В.И. Австрия в реформаторской деятельности Максимилиана I// Из истории и культуры средневековья. СПб., СПбГУ, 1991. С. 88-95

[8] Weisflecker. Op. cit.

[9] Der Theuerdank. Durch photographische Hochätzung hergestellte Facsimile-Reproduction nach der ersten Auflage vom Jahre 1517. Hg. von S.Laschitzer. in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Bd. VIII. – Leipzig, 1887. (Далее: Jahrbuch.)

[10] Der Weisskunig. Nach den Dictaten und eigenhändigen Aufzeichnungen Kaiser Maximilian I. Hg. von A.Schultz. In: Jahrbuch. Bd. VI. Hft.I. Wien, 1887

[11] Stälin Ch.F. Aufenhaltsorte Kaiser Maximilian I seit seiner Alleinherrschaft 1493 bis zu seinem Tode 1519. Forschungen zur deutschen Geschichte I. Göttingen, 1862. S. 347-383.

[12] Haltaus. Op. cit. S. 223.

[13] Weisskunig.S.IX

[14] Fragmente einer lateinischen Autobiographie Kaiser Maximilian I. In: Jahrbuch. Bd. VI. – Wien, 1887. S. 421-446

[15] См.: Laschitzer S. Kaiser Maximilian I, in Beziehung zur Geschichtschreibung seiner Zeit. In: Jahrbuch. Bd. VII. Leipzig, 1887. S.2

[16] См.: Chmel J. Die Handschriften der K.K. Hofbibliothek in Wien. Bd. II. Wien, 1841. S. 458.

[17] Первое издание – 1517, затем еще 6 изданий только в XVI в. (См.: Jahrbuch. Bd.VIII. Leipzig, 1887. S. 108-112)

[18] Der Theuerdank. S. 10

[19] Это имя присутствует на титульном листе как составителя Weisskunig, написанного под диктовку императора. Следует отметить также, что первая публикация «Weisskunig» относится только к 1775 г.

[20] Максимилиан сам чувствовал это упущение и, очевидно, поэтому в список сочинений, которые он предполагал создать, были внесены работы по истории рода Габсбургов. В дальнейшем работа над генеалогией была передана Якобу Меннелю, который к началу 1518 г. составил 5 книг «Die fürstliche Chronik», в которой возводил Габсбургов к Гектору Троянскому. (См.: Laschitzer S. Die Genealogie des Kaisers Maximilian I. In: Jahrbuch. Bd. VII. Leipzig, 1887. S.12-31)

[21] Birk E.D. Leonor von Portugal, Gemahlin Kaiser Friedrichs III. 1434-1467. In: Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 9jg., 2 Abt. Wien, 1859. S. 181

[22] Haltaus. Op. cit. S. 6

[23] Weisskunig S. 31. Birk. Op. cit. S. 173-174. Кстати, сам Максимилиан так и не был удостоен чести быть коронованным рукой папы римского и должен был довольствоваться титулом «избранного римского императора».

[24] Bürger O. Beiträge zur Kenntnis des Theuerdank. Strassburg, 1902 (Drittes Kapitel. Astrologische und mystische Ideen).

[25] Weisskunig. S. 62 66, 68, 70, 74, 97, 100-112.

[26] Ebenda. S. 145.

[27] Ebenda. S. VII

[28] Ebenda. S. IX. См. также: Bürger. Op. cit. S. 12-15

[29] Laschitzer S. Kaiser Maximilian I, in Beziehung zur Geschichtschreibung. S. 4

[30] Haltaus. Op. cit. S. 271

[31] Klüpfel, Op. cit. S. 164

В.В.ШИШКИН

МАРГАРИТА ДЕ ВАЛУА И СЕДЬМАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ (апрель — ноябрь 1580 г.)

Обыкновенно Маргариту де Валуа /1553-1615/, дочь Генриха II и Екатерины Медичи, путают с двумя другими Маргаритами из дома Валуа – Маргаритой Наваррской, сестрой Франциска I и автором «Гептамерона», и Маргаритой Французской, сестрой Генриха II, герцогиней Савойской. Все три дамы были высокообразованны и прославились как в политике, так и в литературе. На долю младшей из них выпала печальная участь пережить трагедию и гибель всей своей семьи и стать последней представительницей ушедшей в небытие династии. Кровавую эпоху религиозных войн Маргарита де Валуа отразила в своих сочинениях, прежде всего «Мемуарах», а также в корреспонденции. В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге /далее – РНБ/ хранятся 42 её письма, адресованные преимущественно матери и брату – Екатерине Медичи и королю Генриху III, и написанные во время её пребывания в Нераке /1579-1584/, главной резиденции её мужа – Генриха де Бурбона, короля Наваррского. Большая часть этих писем была опубликована Ф.Лозеном, но три из них, касающиеся времени седьмой религиозной войны 1580 г., до недавних пор оставались неизвестными и неизданными[1]. Между тем их содержание в определенной степени позволяет детализировать развитие очередного военного конфликта гугенотов и католиков, вдохновительницей которого большинство историков считают именно Маргариту. Нам кажется возможным представить свой взгляд на существо этого вопроса.

Маргарита де Валуа, которую её старший брат Карл IX (и только он!) называл Марго, была выдана замуж 18 августа 1572 г., за шесть дней до Варфоломеевской ночи. Брантом уверяет, что именно королева Наваррская спасла жизнь своему мужу во время резни в Лувре. И хотя брак Маргариты и Генриха Наваррского

не сложился по разным причинам, супруги на протяжении всей жизни питали друг к другу искреннее уважение и демонстрировали весьма трогательную дружбу, даже после развода в конце 1599 г. В течение своего пребывания в Гаскони Маргарита была верным и очень важным союзником короля Наваррского.

Вообще, после Варфоломеевской ночи и воцарения Генриха III, позиция двора по отношению к гугенотской конфедерации стала более толерантной, что было связано с прогрессирующим процессом падения королевского авторитета и нарастанием внутренних беспорядков. Генрих III предпринимал многочисленные попытки мирного урегулирования религиозно-политических споров, заключал мирные договоры и соглашения, устраивал межконфессиональные конференции, наконец, пытался королевским присутствием в наиболее сепаратистски настроенных регионах восстанавливать свои утраченные прерогативы. Ради плохого мира король готов был жертвовать всем и всеми, включая своих близких родственников – он отчаянно сопротивлялся унижению королевского Величества и развалу государства.

После бегства Генриха Наваррского из луврского плена в 1576 г., возникла потребность нового компромисса с протестантским югом. Генрих III посылает свою мать Екатерину Медичи вести деликатные и сложные переговоры о выполнении условий мира, заключенного в Бержераке 17 сентября 1577 г. В свите королевы-матери в Гасконь также была отправлена и Маргарита, которой отводилась особенно важная роль стать естественным гарантом мирных соглашений. Король Франции просил сестру всячески использовать для этой цели всё своё влияние на мужа.

28 февраля 1579 г. Екатерина Медичи от имени Генриха III подписала соглашение в Нераке, по которому гугенотам передавалось 14 новых «городов безопасности» /villes de sûreté/, где фактически не действовала королевская администрация и свободно отправлялся протестантский культ. Однако это компромиссное решение королевы вызвало противодействие среди католических лидеров, которые пытались заставить Генриха III помешать осуществлению этого плана. В их числе был и маршал де Бирон, генеральный наместник Гиени, находившийся в постоянной вражде с губернатором этой провинции – королем Наваррским[2]. Уже в июне 1579 г. на своей конференции в Монтобане гугеноты, обеспокоенные непримиримой позицией Бирона и колебаниями короля Франции, призвали к оружию в случае, если «города безопасности» будут у них отняты. Генрих III и Екатерина Медичи с целью разрядить обстановку и найти очередной религиозно-политический компромисс решили созвать новую

мирную конференцию в Мазере /Mazères/, которой и посвящено одно из писем Маргариты де Валуа из РНБ[3].

Речь идет о конференции, которая проходила в резиденции архиепископов Окских /Auch/ с 10 по 20 декабря 1579 г. В своем письме Генриху III королева Наваррская перечисляет её главных участников. Протестантов возглавляет король Наваррский, католиков – губернатор Ленгедока герцог Генрих I де Монморанси-Данвиль. Короля Франции представлял один из его лучших дипломатов – Никола д'Анженн-Рамбуйе, а Екатерину Медичи – аббат де Гадань, дипломатический агент и доверенное лицо королевы-матери. Известно, что Монморанси трижды встречался с Генрихом Наваррским 14, 18 и 19 декабря, и вместе с Гаданем и Рамбуйе пытался убедить гугенотского лидера отказаться от некоторых «городов безопастности», дабы удовлетворить непримиримых католиков и сохранить мир. Однако Генрих и его окружение отказались что-либо решать «без предварительного согласия депутатов от гугенотских церквей», что означало крах всех миротворческих усилий короны[4]. Согласно анонимной «Истории гражданской войны в Лангедоке», «на этой конференции не было принято никакого полезного решения»[5].

Вернемся к письму Маргариты. Она пишет, что миссия аббата де Гаданя предполагала также осуществление примирения маршала де Бирона и короля Наваррского, но к её «огромному сожалению Гадань ничего не смог сделать» в этой связи. Здесь же королева сообщает о внезапном отъезде Генриха из Мазера в Нерак, чему не находит объяснения, поскольку это срывало конференцию. В «Журнале» Летуаля есть упоминание о попытке Бирона, раздраженного несговорчивостью короля Наваррского, захватить его в плен во время переговоров[6]. Спешный отъезд Генриха смешал карты посланцам двора, которые не могли возвратиться в Париж без какого-либо положительного результата. Рамбуйе сумел вновь убедить короля Наваррского встретиться с ним в том же Мазере и уговаривал его не поддаваться на провокации Бирона. Одновременно он передал Маргарите от имени короля Франции просьбу всеми силами способствовать поддержанию мира в регионе. В конце своего письма Генриху III королева Наваррская заверяет его, в свою очередь, что сделает все возможное, добавляя: «Всю свою жизнь я буду исполнять всё то, что касается Вашей службы и Ваших приказаний как самая нижайшая и покорнейшая из всех Ваших подданных».

Возлагая большие надежды на свою сестру, Генрих III, находясь под прессом католических грандов, в то же время продолжал попытки нарушить соглашение в Нераке и отнять некоторые

города у протестантов. Политика двора была непоследовательна. В помощь Маргарите в феврале 1580г. король послал в Гиень Филиппа Строцци, в то время генерал-полковника от инфантерии. Целью его визита была очередная попытка примирить губернатора Гиени и генерального наместника. Этой теме посвящено следующее послание королевы Наваррской Екатерине Медичи. Оно датировано апрелем, когда уже стало ясно, что мирные переговоры зашли в никуда, поскольку конфликтующие стороны не желали уступать и мириться[7]. Это означало новую, уже седьмую по счету, религиозную войну. Предотвратить её было не в силах Маргариты, поэтому тон её письма весьма оправдательный: «Мне остается только нижайше просить Вас не лишать меня ... Ваших милостей, благодаря которым я надеюсь пережить все свои несчастья». Королева Наваррская не выполнила предписание своей матери и брата и не смогла предотвратить новый вооруженный конфликт, а по распространенному мнению даже явилась вдохновительницей войны, так называемой «войны влюбленных», поскольку была влюблена в гугенота виконта Тюренна. Версия эта довольно убедительна, так как она объясняет последующее резкое охлаждение отношений Маргариты с Генрихом III и Екатериной Медичи, которые считали, что королева Наваррская была обязана заниматься в Нераке исключительно вопросами политики в пользу дома Валуа, а не многочисленными любовными похождениями.

«Войной влюбленных» этот непродолжительный конфликт окрестил соратник Генриха Наваррского Т.А. д'Обинье, заверяя, что все его инициаторы при наваррском дворе были влюблены и желали прославиться, а Маргарита де Валуа, увлеченная Тюренном и раздраженная на Генриха III за вмешательство в свою личную жизнь, стала главной вдохновительницей[8]. Однако эту версию не поддерживает Элиан Вьенно, автор последней основательной биографии королевы Наваррской, и для этого есть основания[9].

Новый всплеск противостояния на юге зрел давно и был связан общими, не разрешенными ни одним предыдущим миром, противоречиями католиков и гугенотов. Провал конференции в Мазере открыл путь для новой войны, которую желали лидеры обеих партий. Только Генрих III и его мать отчаянно пытались спасти положение, но у них не было достаточной власти и возможностей. Они весьма рассчитывали на помощь Маргариты, которую не без успеха использовали для осуществления мирных инициатив. Вся корреспонденция королевы Наваррской за 1579-1580 гг. доказывает, насколько серьёзно относилась она к своей

миссии, подробно информируя их обо всех важных событиях в Гаскони и своем посредничестве. Маргарита не скрывает свою неприязнь к войне в Мемуарах, так как созданный ею двор в Нераке приобретал черты стабильности, наполненный привлеченными на службу дамами и кавалерами разных религий. Она гордилась своим двором и не хотела подвергать его опасностям. В то же время королева Наваррская отстаивала перед своими родственниками право на свободу личной жизни, поскольку она уже была принесена ими в жертву политике. Генрих III отказывался понимать сестру, которая, по его мнению, не выполняла долг по отношению к королевской семье и только усугубляла положение. В период прогрессирующего политического беспорядка в стране король не мог простить даже малейшего своеволия и неповиновения среди членов фамилии Валуа.

Седьмая религиозная война закончилась миром во Флеи в ноябре 1580г., который стал очередным промежуточным миром в гражданской войне во Франции, завершить которую суждено было уже Генриху Наваррскому, ставшему Генрихом IV Французским, в 1598 году.

Мы сочли возможным представить неопубликованный документ, полностью написанный рукой Маргариты де Валуа и ныне хранящийся в фондах РНБ. Это – денежная расписка за сумму, ежеквартально выделяемую королевским казначейством на содержание Маргариты и её двора в замке Юссон, в котором она жила с 1587 года. Расписка датирована октябрем 1603 г., когда Генрих IV уже состоял в разводе с королевой.

2 октября 1603 г. Юссон (Usson).
Пергамен. 22 x 22,5 см.

Nous, Marguerite Roine duchese de Valois confaisons avoir reçu contant de mestre Lefeuvre conseller du Roi et reseveur general de ses finances an Guiene la somme de quatre mil sant soisante sis escus 40s pour le cartier de jullier de l'annee mil sis sans trois de qu'il pleu au Roi nous accorder annuellemant sur la resepte generale de Bourdaux suivant les ordres de Sa Majeste, verification et ares des cours de parlements de Paris et Bourdaux, chanbre des contes et ordre des tresoriers de l'espargne et des tresoriers de Franse an Guiene de la, que conte de quatre mil sant soisante sis escus quarante sous pour ledit cartier nous tenons quite ledit Lefeuvre reseveur general et toux autre an tesmoin de quoi avons escrite signe la presente main et fait aposer le placar de nos armes[10]. Fait a Uson ce segont jour d'octobre mil sis sans et trois.

Marguerite.

Ниже приписка её рукой:

Pour quatre mil sant soisante sis escus 40s revenant a douse mil sinc sans livres.

В левом верхнем углу другой рукой XVII века:

quartier de juillet 1603.

РНБ. Собрание П.К.Сухтелена.
Картон 4, №57.

---

[1] Lauzun Ph., ed. Lettres inédites de Marguerite de Valois tirées de la Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg /Archives historiques de la Gascogne. Fasc.XI. – Paris, 1886., 47p.; три названных письма опубликованы нами: Chichkine V.V. Trois lettres inédites de Marguerite de Valois conservées à la Bibliothèque nationale de Russie // Histoire et archives. 1997. №2. p.141-150; в настоящей статье речь пойдет о двух наиболее важных по содержанию.

[2] Ed. Barthélemy E. de. Correspondance inédite d'Armand de Gontaut-Biron. – Bordeaux, 1874. P.121-127.

[3] Маргарита де Валуа – Генриху III. Январь 1580. Нерак. 1л. Подпись в виде монограммы. // Коллекция П.П.Дубровского. Авт. 48, №32; Мазер – город нынешнего департамента Арьеж.

[4] О ходе конференции Монморанси подробно информировал Екатерину Медичи; см. его неопубликованные письма от 18 декабря 1579, 5 и 8 января 1580 г. // РНБ. Коллекция П.П.Дубровского . Авт.103, №№ 1, 54, 55.

[5] Berger de Xivrey, ed. Recueil des lettres missives de Henri IV. t.I. – Paris, 1843. P. 254-255.

[6] Journal de L'Estoile pour le règne de Henri III (1574-1589). – Paris, 1943. P.226.

[7] Маргарита де Валуа – Екатерине Медичи. Апрель 1580. Нерак. 1л. // РНБ. Коллекция П.П.Дубровского. Авт. 57, № 19.

[8] Агриппа д'Обинье. Трагические поэмы. Мемуары. – М.,1949. с. 77.; Ed. Y.Casaux. Mémoires de Marguerite de Valois. – Paris, 1994. P.156, 325. Известно, что Генрих III пытался поссорить супругов, сообщая им по отдельности об изменах друг другу.

[9] Viennot Eliane. Marguerite de Valois. Histoire d'une femme, histoire d'un mythe. – Paris, 1993. P. 450.

М.В.ТРЕТЬЯКОВА

ФРАНЧЕСКО СОРАНЦО – ВЕНЕЦИАНСКИЙ ПАТРИЦИЙ XVI ВЕКА

Тридцать лет христианский мир с тревогой следил за состоянием здоровья испанского короля Филиппа II. Врачи неоднократно (с 60-х годов XVI в.) предрекали его близкий конец. Король болел: часто, тяжело, и все-таки выздоравливал. Наконец осенью 1598 г. в Венецию была отправлена депеша: "Король умер этим утром 13 сентября в Эскориале..."[1]. Венецианского дипломата, сообщившего долгожданную новость, звали Франческо Соранцо. Эта депеша считается наиболее известной среди его посланий, отправленных из Испании в течение 1598-1602 гг., когда он был послом Республики св. Марка при Мадридском дворе. Она даже послужила названием одной из глав сборника Д.Дэвиса, составленного из цитат донесений венецианских послов, живших в эпоху Филиппа II[2].

Что из себя представлял человек, на долю которого выпало стать первым венецианским дипломатом, который должен был помочь выработать направления политики венецианского государства в отношениях с Испанией при ее новом монархе – Филиппе III?

Трудно сказать, был ли он гуманистом, писал ли сочинения философского, политического характера, поскольку такими сведениями мы не располагаем. Существующие депеши и отчет Франческо Соранцо помогают составить представление о том, каким был этот венецианский нобиль.

Наверное, в историческом плане, более привлекательными были бы другие представители семьи Соранцо. Например, Джакомо Соранцо, проживший долгую (1518-1599 гг.) жизнь, побывавший с дипломатическими поручениями в Лондоне, Мадриде, Праге, Константинополе; Якопо Соранцо, который также был дипломатом, а в 1584 г. баллотировался (неудачно) на пост дожа; или Джованни Соранцо, отец Франческо и Джироламо, который также был дипломатом, государственным деятелем. Дума-

ется, что Франческо Соранцо интересен именно тем, что он обыкновенный, типичный венецианский нобиль, который старался приумножить славу своей родины, ответственно выполняя все возложенные на него поручения. Интересен Франческо Соранцо и тем, что его отчет о выполненной им миссии в Мадриде закрывает собой серию донесений венецианских послов эпохи Филиппа II и начинает освещение испанской истории времени Филиппа III. Обращает на себя внимание тот факт, что среди отчетов венецианских послов, помещенных в сборнике Н.Бароцци и Г.Беркета, отчет Ф.Соранцо наиболее обстоятельный и самый большой по объему (180 страниц текста)[3].

Прежде чем остановиться на личности Франческо Соранцо, рассмотрим некоторые особенности венецианского патрициата. Политическая стабильность венецианского государства, по мнению многих исследователей, определяется не только консервативным государственным устройством, но и тем, что власть в Венеции находилась в руках нобилитета[4]. Как полагают историки, венецианский патрициат несколько отличался от господствующих классов феодальной Европы. Долгое время считалось, что Венеция не знала социальных конфликтов потому, что внутри правящего класса не было разногласий, и потому, что по отношению к остальным социальным группам населения (читтадини, пополанам) венецианский нобилитет проводил гибкую политику. Сейчас эта точка зрения корректируется. Появились работы, где говорится, что среди правящего сословия Венеции существовали различия и разногласия, несмотря на кажущееся единство и сплоченность[5]. Есть работы, где анализируются отдельные венецианские семьи: Барбариго, Барбаро, Дона, Контарини и т.п.[6]

По данным Д.Бельтрами нобили в 1586 г. составляли 4,3%, читтадини – 5,1%, а пополаны – 90,6% от всего населения Венеции, которого насчитывалось 142 900 жителей[7].

Венеция была поделена для административных целей на шесть округов. Трудно определить, как полагают исследователи, патрицианские кварталы[8]. Патриции жили по всему городу, .и строили свои палаццо в зависимости от того, какими средствами располагали. Большое количество прекрасных дворцов нобилей, естественно, размещалось вдоль Большого Канала и на Мурано. Многим нобилям дворцы строили известные архитекторы. Например, палаццо Делфин-Манин построил Якопо Сансовино, по Д.Вазари оно "стоило" 30 тысяч дукатов. Леонардо Эмо имел виллу в Фанзоло (под Тревизо), которую соорудил А.Палладио, а расписывали П.Веронезе и Зелотти[9].

Хотя в численном отношении нобили занимали небольшое положение в венецианском государстве, но только они обладали политическими правами. Все магистратуры, которых было около 800, фактически предназначались только для них. После реформ Большого Совета 1297-1315 гг. нобилитет превратился в замкнутую, закрытую корпорацию, которая всячески старалась отделиться от остального населения Венеции. Все фамилии нобилей были занесены в "Золотую книгу", а по закону 1506 г. все браки между ними фиксировались в Avogadoria di commune. "Золотая книга" в 1340 г. содержала 1 212 имен, в 1437 г. – 1 300, в 1490 г. – 1 570, в 1510 г.-1 671[10]. Такие "Золотые книги" повсеместно появлялись в Италии. В Брешии она возникла в 1488 г., в Генуе – 1528 г., в Падуе – 1613 г.[11]

В XVI в. нобилей, входивших в Большой Совет, а значит тех, кто мог избирать и быть избранным на любую должность, было около 2 700. Особенностью венецианского нобилитета было то, что нобильство передавалось по мужской линии, следовательно, надо говорить об относительной закрытости этого сословия[12].

Д.Квеллер в своих работах доказывает, что кончилось время петь дифирамбы венецианскому нобилитету, как это было в трудах Ч.Ириарта[13], Ш.Диля[14],что венецианский нобиль не такой уж идеальный гражданин, как его обычно представляют в историографии[15]. Документы, по мнению Д.Квеллера, свидетельствуют, что Венеция с XII в. имела серьезную проблему, заключавшуюся в том, что патриции не желали исполнять свой гражданский долг – отказывались занимать определенные магистратуры, как правило, те, которые требовали или значительных расходов собственных средств, или если их исполнение было связано с риском для жизни. Такими должностями венецианцы считали – должности советников дожа, послов, адвокатов коммуны, провизоров, соправителей и т.п.[16] Д.Дэвис не во всем согласен с положениями Д.Квеллера. Он считает, что проблемы с занятием должностей, или как он говорит "гражданской неадекватностью нобилей" начинаются не с XII в. и далее, а лишь с XVII-XVIII вв., и то только потому, что в это время патрициат Венеции переживает экономические и демографические трудности[17].

По обычаю, все молодые нобили, достигшие двадцатипятилетия, отправлялись в день св. Барбары (4 декабря, поэтому их еще называли "барбарелли") в Большой Совет для того, чтобы участвовать в баллотировке за право войти в Большой Совет и занять какую-нибудь магистратуру. (Правда, за плату можно было принять участие в баллотировке раньше указанного возраста). Причем нобили должны были подтвердить свою принад-

лежность к нобилитету клятвой либо родителей, либо других свидетелей, чьи показания адвокаты коммуны сверяли со своими записями[18].

У молодого нобиля, чтобы сделать карьеру политика, было несколько путей – служа в комитетах Коллегии, участвуя в посольствах. Все это вело к достижению высших магистратур Венеции – советников дожа, членов Совета Десяти, прокураторов и дожей[19]. Патрициат принимал активное участие в экономической жизни Республики, сумев приспособиться к изменившимся экономическим условиям второй половины XVI – начала XVII вв.[20] В руках патрициата была сосредоточена торговля тканями, хлебом, пряностями. Патриции были крупнейшими банкирами Республики, собственниками земельных наделов на Терраферме[21].

Естественно, что успешная карьера в политике и в экономической деятельности была невозможна для тех, кто не имел денег и связей. Поэтому в жизни венецианского нобиля большую роль играла семья, к которой он принадлежал. Патриции старались породниться друг с другом. Вендрамины были родственниками Контарини, последние были тесно связаны с Джустинианами. Соранцо были соединены родственными узами с Капелло, Приули[22].

К венецианскому патрициату принадлежала семья Франческо Соранцо, полномочного посла в Испании в 1597-1602 гг. Ф.Дзанотто полагал, что существует несколько мнений о том, с какого времени упоминается и откуда происходит эта фамилия[23]. Следы дома Соранцо отмечаются в Альтино, откуда они от преследований варваров перебрались в Венецию. Другая версия гласит, что Соранцо пришли в город на лагунах из Бурано. Это, пожалуй, самая распространенная точка зрения происхождения семьи Соранцо. Ее придерживаются М.Санудо[24], П.Джустиниан[25], Cronaca veneta[26]. К.Фрескот утверждал, что Соранцо – местные жители, так как хронист называет их среди двадцати четырех наиболее древних семейств Венеции. Он считал, что эта семья существует с 747 г.[27] К.Фрескот приводит изображения фамильных гербов Соранцо (Superantius, Superantio, Супаранца в русских источниках). У Соранцо был герб, щит которого был разделен пополам: одно поле – золотого цвета, другое – лазоревое. Некоторые ветви семьи имели на своих гербах изображения двуглавого орла, башен[28].

Соранцо составили свое состояние на левантийской торговле и банковской деятельности. Семья гордилась тем, что среди ее представителей был дож – Джованни Соранцо (1312-1328 гг.) –

пятьдесят первый дож Венеции, прокураторы св.Марка, политики, военные.

Франческо Соранцо родился 3 января 1557 г. в семье Джованни Соранцо – дипломата и политика, где кроме Франческо было еще трое детей. Свою карьеру, как и многие нобили, Франческо начал с низших административных должностей. Сначала служил как один из savio agli ordini Коллегии (1582 г.). На следующий год ему было поручено сопровождать герцога ди Gioiosa. В 1587 г. Соранцо стал подеста, а затем капитаном Беллуно, а спустя пять лет получил должность капитана Виченцы. 17 июня 1597 г. был избран полномочным послом Республики св. Марка при дворе Филиппа II[29]. В иерархии дипломатических назначений этот пост считался одним из престижных, поскольку, находясь здесь, дипломат был не только в курсе испанской политики, но и в курсе всех европейских дел. Пока Филипп П был одним из ведущих европейских лидеров второй половины XVI в., а Испания продолжала считаться ведущей державой, Венеция была крайне заинтересована в том, чтобы быть в курсе испанской политики на континенте и в Средиземноморье.

Д.Дэвис образно заметил, что все послы, аккредитованные при дворе Филиппа II, выросли в семьях с "дипломатическими традициями", помогая своим отцам и дядям в посольствах, учась у них дипломатическому мастерству[30]. Не был исключением, видимо, и Франческо Соранцо. Его родственники неоднократно исполняли дипломатические поручения Республики[31]. Возможно, что в каком-нибудь из этих посольств участвовал Франческо Соранцо, набираясь опыта для своей будущей дипломатической деятельности.

Должность полномочного посла предполагала, что дипломат должен в течение определенного времени находиться при дворе того или иного монарха, сообщая своему правительству сведения текущего характера. В инструкции, которую дал сенат Ф.Соранцо, содержались основные направления деятельности дипломата при Мадридском дворе, которые ему определило венецианское правительство, не умаляя и его личной инициативы по сбору полезной информации. Венецианские власти предписали, что Ф.Соранцо должен "поддерживать добрые отношения с испанским королем; заверить его в дружбе и благорасположении Венеции; посетить всех влиятельных лиц при дворе; выяснить, окажет ли король помощь гарнизонам Венеции на Леванте солдатами, чтобы "обезопасить испанского короля и весь христианский мир от турецкой угрозы"; узнать, как продвигаются переговоры о границах Милана, о венецианских пунктах на кре-

монской территории, о сохранении привилегий венецианцев в Неаполе. Правительство хотело, чтобы Соранцо был в курсе переговоров о возвращении судов Рагадзони, Липпомано, Лабиа, Баланцера, задержанных в Неаполе[32]. Сенат напоминал дипломату, что необходимо использовать любую возможность, чтобы разобраться в делах испанского двора, и сообщать все, что счел бы полезным для венецианского государства[33].

Вместе с Ф.Соранцо в Испанию отправились его племянники – Франческо Песаро и Лоренцо Соранцо, а также Агостино Гуссони, секретарем был Джованни Джирардо. В отчете Франческо и Джироламо Соранцо отмечают тех, кто вместе с ними принимал участие в дипломатической миссии, деля тяготы пути, разлуку с домом, помогая собирать необходимую информацию, отзываясь с уважением о тех, кто был рядом в течение всего посольства. Скорее всего, это было просто выражением вежливости по отношению к тем, кто принимал участие в посольстве (хотя можно предположить, что участников посольства связывали дружеские отношения) и дань традиции составления итогового отчета. Правда, Н.Николини и Л.Г.Климанов считают, что зачастую секретари выполняли тайные функции соглядатаев за самими дипломатами или иные задания, которыми их облекал без ведома послов Совет Десяти[34]. В этом случае такое внимательное отношение дипломатов к своему персоналу можно объяснить по-другому.

В январе 1598 г. Франческо Соранцо прибыл в Мадрид. В XVI в. путь из Венеции в Мадрид занимал 40 дней. (Гонец же, доставивший сообщение о победе при Лепанто (1571 г.) Филиппу II, этот путь проделал за 11 суток). Возможно, что Соранцо ехал в Мадрид таким же маршрутом, как и О.Бон в 1601 г. – через Падую, Милан, Геную, Авиньон[35]. Спустя две недели после своего прибытия в Мадрид венецианский посол был представлен графом де Фуэнсалида королю.

Венецианские послы, аккредитованные при дворах различных монархов, стремились собрать наиболее полные и разнообразные сведения о стране своего пребывания. После своего возвращения на родину, посол был обязан представить отчет о выполненной им миссии. Сначала этот отчет заслушивали в том совете, который отправлял дипломата с поручением, а с 1425 г. стали сдавать в письменном виде в архив[36]. Этот отчет – Relazione – представляет собой уникальное явление венецианской дипломатии[37]. Отчет составлялся по определенному плану. В нем содержались сведения о территориальных владениях того государства, где находился посол; состоянии его хозяйства, до-

ходах, расходах, структуре общества, административном управлении, взаимоотношениях с другими странами, описывались внешность и характер монарха, при дворе которого пребывал посол; давалась характеристика советникам и фаворитам короля; уделялось внимание и сплетням, ходившим при дворе. Отчет Ф.Соранцо составлен по такому же плану. Мы не будем останавливаться на подробном анализе отчета Ф.Соранцо, а выделим те его моменты, которые раскрывают венецианского дипломата как личность.

В общественном мнении Западной Европы за венецианцами утвердилась репутация хитрых, алчных, коварных, богатых, всезнающих людей. Венецианские дипломаты вполне соответствовали этому стереотипу. Особенно, когда речь шла об их информированности. Это положение подтверждают донесения Ф.Соранцо. Например, в 1600-1601 гг. Испания вела тайные переговоры с Англией о заключении мира при посредничестве Франции. Об этом было хорошо информировано венецианское правительство. Ф.Соранцо в своей депеше сообщает, что недавно в Мадрид прибыл кардинал Австрийский с текстом условий, которые предложила испанская сторона английской королеве. Венецианский посол пишет: "... я видел этот текст", и добавляет, что английская королева согласна рассмотреть предложения испанской стороны[38].

В это же время между Испанией и Францией возникли трения по вопросу о маркизате Салуццо. Хорошо зная историю предмета, Соранцо предупреждает свое правительство, что если этот спорный вопрос не будет решен, и трения между Испанией и Францией перерастут в военные действия, то в этом случае переговоры о мире между Англией и Испанией будут прерваны. Что, действительно, скоро и произошло[39]. Оперативность и профессионализм венецианского дипломата не может не вызвать восхищения.

В отчетах братьев Соранцо присутствует интересная деталь. Когда они дают характеристики советников Филиппа III, венецианские дипломаты выделяют тех, кто дружественно настроен по отношению к Венеции[40]. Как правило, это были высокопоставленные лица испанского правительства. Общеизвестно, что венецианскими властями предоставлялись определенные суммы на "подарки" нужным лицам, или самим послам приходилось (что было гораздо чаще) расходовать собственные средства, чтобы добыть информацию и заручиться поддержкой и расположением влиятельных лиц при дворе, где был аккредитован посол. Это была одна из причин, по которой венецианские нобили неохотно

занимали дипломатические должности, рассматривая эту обязанность, по меткому выражению Л. Квеллера, как своеобразное "финансовое несчастье"[41]. Полагают, что венецианские нобили не проходили специальной профессиональной подготовки для исполнения различных магистратур. Венецианское правительство считало, что патриции были к этому подготовлены с детства. Косвенные данные об этом содержатся в отчете Ф.Соранцо. Например, он говорит о том, что образцом для подражания во многом для него был его отец, который помогал ему постигать азы дипломатического ремесла. Судя по отчету Ф.Соранцо, он был прекрасно подготовлен для возложенной на него посольской миссии. Соранцо знаком с историей государств Пиренейского полуострова. Это видно по его историческим экскурсам, касающихся составных частей испанской монархии[42]. Прекрасно знает Соранцо историю Венеции. Причем, зная прошлое своей страны, дипломат пытается перенести его уроки в будущее. Так, рассуждая о том, на что может надеяться венецианское правительство, рассчитывая на помощь Испании в отражении турецкой агрессии, Ф.Соранцо пишет, что "... во время мира венецианцы вполне могут найти точки соприкосновения в этом вопросе с испанцами». Во время войны положение будет совершенно иное, считает венецианский посол. В этом случае венецианскому правительству реальную помощь Испания не окажет из-за того, что цели антитурецкой кампании у Испании и Республики св. Марка будут разными: у Испании – это Африка, у Светлейшей – это Левант. Да и второй дон Хуан Австрийский еще не родился, замечает Соранцо[43].

Безусловно, что такая точка зрения по этому вопросу у Франческо Соранцо была сформирована под влиянием его отца – Джованни Соранцо, который подписывал договор о создании Святой Лиги в Риме в 1571 г. и был знаком с подоплекой заключения этого союза[44].

Не скрывает Ф.Соранцо от своего правительства того, что при дворе испанского короля бытует мнение, что Венеция поддерживает французов. Посол не стал опровергать этого, но в оправдание профранцузской ориентации Венеции привел аргумент, что Венеция прежде всего старается поддержать равновесие между двумя крупнейшими европейскими державами[45].

Присущи венецианскому дипломату аналитические способности. Не случайно Л.Г.Климанов именует Relazione венецианских послов – аналитическими итоговыми отчетами[46]. В своем отчете Ф.Соранцо выделяет то, в чем видит "историческое" значение своей миссии. Дипломат считает, что суть его посольства заклю-

чается в том, что оно пришлось на период смены монархов на испанском престоле[47]. Аналогично поступает младший брат Франческо – Джироламо, когда после окончания своего резидентства в Мадриде, он представил в 1611 г. свой отчет сенату. Джироламо пишет, что главные события, которые произошли во время его пребывания в Мадриде, это – возвращение долга генуэзцам, изгнание морисков, перемирие с Нидерландами[48].

Можно высказать предположение, что с Ф.Соранцо, который первым из венецианских дипломатов дал сравнительную характеристику Филиппа II и Филиппа III как государственных деятелей[49], берет начало более объективная точка зрения в исторической литературе о Филиппе II как политике и человеке.

Сквозь строчки отчета Ф.Соранцо слышим, как венецианский дипломат с чувством глубокой горечи и сожаления говорит о том, что Генуя (несмотря на то, что Республика св.Георгия – давняя соперница Венеции) превратилась в сателлита Испании. Больше всего Венеция боялась утратить свою самостоятельность и превратиться в придаток испанской монархии. Но злорадства от того, что такая участь постигла давнего врага Светлейшей, дипломат не испытывает. Хотя не скрывает удовольствия от того, что адмирал Дориа лишился своего влияния в окружении короля. Соранцо пишет: "...Дориа уже отстранен от командования флотом и скоро вообще будет удален от всех дел ..."[50].

Ф. Соранцо гордится тем, что он венецианец. Дипломат не преминул отметить в отчете, что посольство венецианских нобилей, прибывших ко двору Филиппа III, чтобы принести от имени Республики поздравления по случаю его бракосочетания, произвело благоприятное впечатление на чванливых испанских грандов, искушенных в придворном этикете и моде. Испанцы были поражены знатностью (благородством) послов, пышностью их одеяний, одеждой их слуг, расходами на стол[51]. Сообщил Соранцо правительству Венеции, что Филипп III в беседе с ним высоко оценил форму правления Республики, мощь ее Арсенала, флот, богатство, владения, умение сохранять дружбу со всеми правителями Италии, ее благополучие, независимость, процветание[52]. По дипломатическому этикету послы внимательно наблюдали за тем, какой им прием оказывался при тех дворах, где они находились. Соранцо обратил внимание венецианских властей, что к нему при дворе испанского короля относились так же, как и к папскому нунцию, и к послу императора[53].

Не чужд Ф. Соранцо личной гордости. Правда, она принимает слегка завуалированные формы, как это было принято в то время, хотя все равно звучит в речи дипломата, которую он предна-

значил сенату. Соранцо с уважением говорит о своем отце, который был для него всегда "живым примером". Говорит Франческо и о трудностях, которые ему лично пришлось преодолевать, служа отечеству, – о "дальних расстояниях", о том, что его путешествие проходило через те земли, где свирепствовала чума, что ему угрожали оружием злые люди, но помощь Господа помогла ему с честью выполнить поручение Республики. Дипломат замечает, что он с "живейшим пылом" и "усердием" служил и готов в дальнейшем служить государству. Соранцо говорит, что король Испании оценил его способности как дипломата, преподнеся ему цепь, каковую он и «слагает к ногам" дожа[54].

При сравнении отчетов Франческо и Джироламо Соранцо обращает внимание тот факт, что многие фразы, встречающиеся в их отчетах, повторяют друг друга. К сожалению, у нас не было возможности сравнить отчеты этих дипломатов с отчетом их отца – Джованни. Несомненно, что у Соранцо, где многие члены семьи были тесно связаны с дипломатической службой, обсуждалось, как лучше составить свой отчет. Естественно, что дипломаты, члены одной семьи, старались найти такие слова, которые лучше бы обрисовывали ситуацию в той стране, откуда они вернулись. Учитывался также опыт друг друга. Это наблюдение подтверждает положение, выдвинутое еще в XIX в., что, несмотря на постоянные запрещения Большого Совета " извлекать из архивов донесения и снимать с них копии, отчеты оседали в домашних архивах послов и распространялись по всей Европе"[55], служа образцами для составления дипломатических документов.

В феврале 1602 г. срок пребывания Ф.Соранцо в Испании закончился, на смену ему прибыл Симоне Контарини. Сложив с себя полномочия, Соранцо собирался отправиться на родину, но из-за инцидента, связанного с Рафаэлем Загледой, он был вынужден задержаться еще на несколько месяцев в Испании. Только осенью 1602 г. Соранцо вернулся в Венецию.

Затем Ф.Соранцо занимал должности savio di Terra Ferma, savio grande. В 1603 г. был полномочным послом Республики при дворе Рудольфа II (1576-1611 гг.). В 1607 г. получил назначение быть полномочным представителем Венеции в римской курии, но во время приготовлений к отъезду в Рим умер[56]. Похоронен в семейном склепе церкви св.Джустина[57].

Прожил Франческо Соранцо всего пятьдесят лет. Учитывая, что патриции в Венеции начинали делать карьеру дипломата и государственного деятеля относительно поздно – с 38 лет, то его карьера оборвалась в самом начале.

Таким был Франческо Соранцо, венецианский патриций, служивший своему государству на дипломатическом поприще. Можно сказать, что Франческо Соранцо – это обыкновенный нобиль, шагающий как и все представители патрицианского сословия по служебной лестнице, добросовестно и профессионально выполняющий свой гражданский долг, вносящий посильную лепту в дело процветания Светлейшей, что он своего рода маленькая частица огромного механизма венецианского государства. А можно сказать, Франческо Соранцо – это о б ы к н о в е н н ы й нобиль, который своей обыкновенностью, типичностью как раз и представляет необычайный интерес как человек XVI века.

---

[1] Barozzi N., Berchet G. Relazioni degli Stati Europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo XVII. Venezia. 1856. Serie I. Spagna. vol. I., p. 148.

[2] Pursuit of Power. Venetian ambassadors Reports on Spain, Turkey and France in the Age of Philip II. N-Y., 1970, p. VII, 117.

[3] Relazioni..., p. 35-214.

[4] См.: Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1990, Брагина Л.М. Особенности политической структуры итальянских городов-государств.// Власть и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. ч. 1., Чиколини Л.С. Эволюция политического строя венецианской республики. Путь к олигархии. // Власть... Finlay R. Politics in Renaissance Venice. L., 1980. Lane F.C. Venice a Maritime Republic. Baltimore. 1973. Norwich J.J. A history of Venice. L.,1982, etc.

[5] Davis J.C. The decline of the Venetian nobility as a ruling class. Baltimore.1962, Cowan A.F. The urban patriciate: Lübeck and Venice.Köln, Wien. 1986, Logan 0. Culture and society in Venice. L., 1972, Pullan B. Rich and poor in Renaissance Venice. L., 1974, Queller D.E. The Venetian patriciate: Reality versus Myth. Chicago, 1986, etc.

[6] Davis J.C. A Venetian Family and its Fortune., Yriarte Ch. La vie d'un patricien de Venise au XVI'eme siècle: M.Barbaro. Paris.1871, Lane F.C. Andrea Barbarigo: Merchant of Venice. Baltimore. 1944, etc.

[7] Beltrami D. Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica. Padova. 1954, p. 72.

[8] Cowan A.F. The urban patriciate..., p.51.

[9] Logan O. Culture..., p. 307

[10] Beltrami D. Storia ...,p.15, Diehl Ch. Une Rèpublique patricienne. Venise. Paris. 1916, p. 93.

[11] Cowan A.F.The urban patriciate..., p. 6.

[12] Logan O. Culture..., p. 25-26.

[13] Yriarte Ch. Vie d'un patricien....

[14] Diehl Ch. Une Rèpublique...

[15] Queller D.E. The Venetian patriciate..., Queller D.E. The civic irresponsibility of Venetian nobility.// Economy, Society and Government in Medieval Italy. Kent. 1969.

[16] Queller D.E. The civic irresponsibility..., p. 225-226, 228, 232-233. Queller D.E. The Venetian patriciate..., p. I25.

[17] Davis J.C. The decline...

[18] Sandi V. Principi di Storia civile della republica di Venezia dalla sue fondazione sino all'anno di N.S. 1700. Venezia. 1756. I vol. 3 parte., p.I2,14.

[19] Davis J.C. The decline..., p. 28-29.

[20] Фомичева Т.Д. К вопросу об особенностях экономической и культурной жизни Венеции XVI в.// Труды Государственного Эрмитажа. Л., 1961, т.VI.

[21] Там же, с. 55-56.

[22] Finlay R. Politics.., p. 38.

[23] Zanotto F. Il palazzo ducale di Venezia. Venezia. 1846-1361. voll.4., vol. I, p. 15 5.

[24] Sanudo M. Le vite dei Dogi.// Rerum italicarum scriptores. tomo.XXII. - Part. IV. Citta di Castello. 1900., p. 41.

[25] Giustinian P. Venetiarum Historia// Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione di Storia Patria per le Venezia.Nuova Serie. Venezia. 1964. vol. XVIII., p. 267.

[26] Cronaca veneta. ОР РГБ. Ф. 60. Ин. 1326. № 396. p. 25.

[27] Freschot C. Nouvelle Relation de le ville & republique de Venise, divisèe en trois parts, dout la premiere content son historie general; la seconde traise du governement & dus moeurs de la Nation; et la troisieme donne connoissance de toutes les families patrices, employées dans le governement. Utrecht. 1709, p. 178.

[28] Freschot C. Preggi della nobiltà veneta. Venetia. 1707, p. 219.

[29] Relazioni..., p. 29, 33.

[30] Pursuit of Power..., p. 7.

[31] See: Comisso G.Gli ambasciatori veneti. Relazioni di viaggi e di missioni. Milano. 1960., p.81, Vianoli A.M. Historia veneta. Venezia. 1684. parte 2., p. 284,285-286.

[32] Relazioni..., p.32.

[33] Ibidem.

[34] Nicolini N. Il consolato generale veneto nel regno di Napoli. – quot. by Queller D.E. The office of ambassador in the Middle Ages.Princeton. 1967, p. 98. Климанов Л.Г. Венецианское "секретари". О политической культуре итальянского города// Городская культура.Средневековье и начало нового времени. М., 1986, с. 113.

[35] Relazioni..., p.219.

[36] Reumont A. Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI. Firenze. 1857, p.71.

[37] Reumont A. Della diplomazia ..., Queller D.E. The office..., Климанов Л.Г. Об особенностях номенклатуры документов венецианского дипломатического обихода// ВИД. Л, 1987, вып. 18.

[38] Calendar of State papers and manuscripts, existing in the archives and collections of Venice and in the other libraries of Northern Italy, ed. H.Brown, L.,1897. vol.IX., p.334, 339.

[39] Ibid., p.414.424.

[40] Relazioni..., p.141,142, etc.

[41] Queller D.E. The office..., p.173.

[42] Relazioni..., p. 41-42, 103-106, etc.

[43] Ibid., p. 205-206.

[44] See.: Paruta P. Storia della guerra di Cipro. Siena, 1827, Vianoli A.M. Historia ..., Beeching J.A. The Galleys at Lepanto. L.,1982, etc.

[45] Relazioni..., p.207.

[46] Климанов Л.Г. Об особенностях..., с.280.

[47] Relazioni..., p. 147.

[48] Ibid., p.463.

[49] Ibid., p.147.

[50] Ibid., p.137.

[51] Ibid., p.208.

[52] Ibid., p.208-209.

[53] Ibid., p.207.

[54] Ibid., p. 213.

[55] Ibid., p. 6.

[56] Ibid., p. 30.

[57] Moschini G. Guida per la città di Venezia. Venezia. 1815. vol. 2. parte I. p.54.

ЛЮДИ ПЕРА

А.Ю.СЕРЕГИНА

АНГЛИЙСКИЙ «МАКИАВЕЛЛИСТ»: СТЕФАН ГАРДНЕР И ЕГО ТРАКТАТ «РАССУЖДЕНИЯ О ЗАВОЕВАНИИ БРИТАНИИ АНГЛАМИ И НОРМАННАМИ»

XVI в. представляет собой особый период в развитии европейской политической мысли; именно тогда получили свое оформление основные политические теории Нового времени. Огромную роль в этом процессе сыграли произведения Н. Макиавелли, в которых формулировалось учение о "государственном интересе", искусстве управлять государством.

Однако отношение современников к его трудам было неоднозначным, начиная практически с момента их опубликования. С одной стороны, его произведения (прежде всего "Государь" и "Рассуждения на первую декаду Тита Ливия") стали источником авторитетных высказываний по вопросам политической теории и практики; современники Макиавелли ценили актуальность и глубину его идей. Вместе с тем уже в 30 гг. XVI в. имя Макиавелли стяжало дурную славу, его начали обвинять в развращенности и атеизме, приписывать ему апологию тирании и т.п.

Наиболее популярные произведения – "Государь" и "Рассуждения..." – были впервые опубликованы в Италии в 1531-32 гг. с одобрения папы Климента VII, а до этого распространялись в рукописях. К середине XVI в. только в Италии вышло 15 изданий "Государя" и 19 – "Рассуждений...", существовали и французские переводы. Таким образом, труды Макиавелли были хорошо известны как в его родной стране, так и за ее пределами[1].

В Англии знакомство с ними состоялось в 1530 гг. и вызвало, как и повсюду в Европе, неоднозначную реакцию. Так, Реджинальд Пол, один из наиболее известных членов оксфордского кружка "молодых гуманистов", воспринял идеи Макиавелли резко отрицательно, объявив, что "Государь" написан рукой сатаны[2]. Для других же представителей придворной элиты Макиавелли стал авторитетом в области политики. Примером здесь могут

служить "A Remedy for Sedition" другого английского гуманиста, Ричарда Морисона (1536 г.), и "Hystorye of Italye", написанная клерком Тайного Совета Уильямом Томасом (1549 г.) Однако для этих трактатов характерно усвоение некоторых элементов политической теории Макиавелли, но не учения в целом[3].

Особняком в ряду английских макиавеллистов стоит Стефан Гарднер. Пожалуй, только он в полной мере заслуживает это наименование, о чем свидетельствуют его политические взгляды, а отчасти и биография.

О происхождении Стефана Гарднера известно немного. Он родился в Бери Сент-Эдмундс между 1483 и 1490 гг., предположительно в семье ткача Джона Гарднера. Согласно другой версии, он был побочным сыном Лайонела Вудвила, епископа Солсбери. Возможно, именно этим родством объясняется тот факт, что Гарднер сумел получить прекрасное образование в Кембридже и сделал ученую карьеру. В 1520-21 гг. он получил степени доктора гражданского и канонического права, стал университетским лектором. Позже, в середине 1520-х гг. Гарднер был тьютором сына герцога Норфолка и благодаря его протекции стал личным секретарем кардинала Вулси. Так началась его политическая карьера.

Гарднер был вовлечен в дипломатическую деятельность своего патрона, он участвовал в переговорах с Франциском I, бывал в Риме. Генрих ценил его как опытного дипломата; это, а также связи Гарднера с наиболее влиятельной в конце 1520-х гг. придворной партии, включавшей его старого покровителя герцога Норфолка, герцога Саффолка, графа Сассекса и др., позволило ему благополучно пережить падение Вулси в 1529 г. и даже укрепить свое положение. Партия Норфолка объединяла религиозных консерваторов, готовых в угоду монарху поддержать планы его развода с Екатериной Арагонской (не желая при этом разрыва с папой).

В начале 1529 г. Гарднер в Риме пытался добиться благоприятного решения; после провала этой попытки Генрих VIII решил получить развод в Англии. Поэтому деятельность Гарднера, стремившегося заставить университет Кембриджа высказаться в пользу расторжения брака, была оценена весьма высоко: в 1531 г. Гарднер стал епископом Винчестерским и королевским секретарем. Генрих VIII высоко ценил его как дипломата, однако отношения монарха и его секретаря складывались отнюдь не безоблачно. Так, в момент принятия парламентом в 1534 г. акта о супрематии Гарднер оставил свой пост и уехал в Винчестер. Вскоре он вновь оказался при дворе, но положение его сильно по-

шатнулось – после слишком благожелательной по отношению к монахам визитации монастырей своего диоцеза он попал в опалу, и король угрожал заключением в Тауэр.

В начале 1535 г. Гарднер подписал отказ от признания папской юрисдикции над английской церковью и опубликовал трактат De vera obedientia, где обосновывал королевскую супрематию. Позже он утверждал, что был вынужден его написать под угрозой казни. Трудно сказать, так ли это, но в любом случае Гарднер явно не желал следовать примеру Томаса Мора и становиться мучеником за веру.

После своей «капитуляции» Гарднер вернул себе королевский фавор. В конце 1530-х – начале 1540-х гг. он вновь представлял своего монарха во Франции и на переговорах с императором Карлом V. Однако считать епископа Винчестерского беспринципным политиком было бы неверно: его католические взгляды ни для кого не были тайной, что породило открытый конфликт с Томасом Кромвелем и архиепископом Кентерберийским Кранмером. В начале 1540-х гг. католическая группировка при дворе усилилась, отчасти благодаря политическим маневрам, отчасти играя на религиозных чувствах Генриха VIII, отнюдь не склонного к радикализму. Вместе с ней укрепилось и положение Гарднера, серьезно повлиявшего на временное свертывание Реформации в Англии: ему принадлежала формулировка знаменитых 6 статей, а во внешнеполитической сфере он всеми силами старался воспрепятствовать заключению союза с немецкими протестантами.

Положение Гарднера пошатнулось после женитьбы короля на Екатерине Парр в 1543 г., так как тон при дворе вновь стали задавать сторонники протестантов. В 1543 г. его племянник Джермэйн Гарднер был казнен по обвинению в отрицании королевской супрематии, что не могло не бросить тени на самого епископа. В 1546 г. Гарднер был выведен из состава Тайного Совета, а чуть позже его покровитель и союзник герцог Норфолк вместе с сыном были арестованы. Гарднер получил отсрочку, поскольку Генрих VIII умер в январе 1547 г.[4]

Но в самом начале нового царствования, в сентябре 1547 г., он был заключен в тюрьму Флит, а позже – в Тауэр, где он и провел большую часть правления Эдуарда VI. Причиной ареста послужил отказ Гарднера признать новый протестантский молитвенник и другие новшества в вопросах религии. Для него разрыв с Римом относился лишь к сфере юрисдикции, но не к вероучению, и когда речь заходила об изменениях в этой области, Гарднер, подчеркивавший свою верноподданность и теоретически

обосновывавший отсутствие у подданных права на сопротивление короне, считал для себя возможным не подчиняться требованию властей[5].

Пик карьеры Гарднера приходится на годы правления Марии Тюдор. Королева освободила его из тюрьмы, восстановила в сане епископа Винчестерского и сделала лордом-канцлером. В своем новом звании Гарднер активно содействовал воссоединению английской церкви с римской. Однако его отношения с королевой осложнились в связи с вопросом о ее браке. Гарднер считал, что ей следует вступить в брак с англичанином и предлагал кандидатуру Эдуарда Кортни, сына маркиза Эксетера, имевшего права на английский престол. Партия его противников – Фрэнсиса Пэджета и императорского посла Ренара – поддерживала кандидатуру Филиппа, сына Карла V. По мнению Гарднера, такой брак мог создать угрозу власти Марии Тюдор, усилив антиправительственные выступления протестантов, породив недовольство англичан с их традиционной нелюбовью к иностранцам, более того, мог поставить вопрос о законности наследников престола, поскольку Мария и Филипп находились в близком родстве. Но когда Мария Тюдор ясно высказала свою волю, Гарднеру пришлось согласиться. Вместе с тем его усилиями условия брачного договора создали преграду возможности растворения Англии среди прочих владений Габсбургов и утраты ею национальной независимости[6].

Таким образом, первоначально Гарднер отнесся к появлению Филиппа в Англии если не враждебно, то по крайней мере настороженно. Но позже в связи с изменением политической ситуации и обострения вопроса о престолонаследии его отношение к Филиппу претерпело трансформацию (об этом пойдет речь ниже). Свидетельством этому и служит трактат «Рассуждение о завоевании Британии англами и норманнами».

Текст трактата был опубликован в 1975 г. П.С. Доналдсоном и практически не привлекал к себе внимание исследователей (а Ф. Раабу, посвятившему свою монографию исследованию проблемы восприятия трудов Макиавелли в Англии, он и вовсе остался неизвестным)

Трактат был написан приблизительно между ноябрем 1553 и ноябрем 1554 гг., а в марте 1556 г., уже после смерти Гарднера Джордж Райнсфорд перевел его на итальянский язык (английский же оригинал утерян). По всей видимости, Райнсфорд получил текст трактата от самого Гарднера или от того, кто разбирал бумаги после смерти лорда-канцлера (вероятно, Джеймса Бассета)[7].

По мнению публикатора трактата П.С. Доналдсона, инициатива перевода исходила от Марии Тюдор или лиц из ее ближайшего окружения. Весной 1556 г. Филипп находился в Брюсселе и возвращаться в Англию не собирался, недовольный своей незначительной ролью в управлении страной. Королева стремилась убедить его вернуться, поэтому возможно, что отправленный ею с этой целью в апреле 1556 г. посол – Ф. Пэджет – вез с собой и трактат Гарднера в качестве одного из средств убеждения. Впоследствии другой экземпляр перевода был направлен кардиналу Гранвелле[8].

Трактат написан в форме диалога – беседы, якобы имевшей место при дворе короля Англии Филиппа (официально Филипп считался лишь соправителем Марии; Гарднер, однако, о королеве не упоминает вовсе). В одном из собеседников – англичанине-придворном Стефано – легко угадывается автор, второй же, Альфонсо, иностранец (вероятно, испанец или итальянец), желающий познакомиться с историей и обычаями Англии.

В труде Гарднера рассматриваются причины происходивших в Англии смен династий (исторические события автор описывает, опираясь на "Историю Англии" Полидора Вергилия) и действия новых правителей, пытавшихся закрепиться в новой для них стране. Фактически, основной темой трактата становится вопрос об идеальном правителе и его качествах.

Таковым, по мнению Гарднера, является сильный правитель, управляющий страной твердой рукой и не допускающий внутренних волнений, человек, способный противостоять превратностям судьбы. Мотив противостояния судьбе исходит несомненно от Макиавелли, о чем свидетельствует сам текст трактата (ср. Макиавелли: "Судьба являет свою власть там, где доблесть не служит ей препятствием" [Государь, 25] и Гарднер: "Там, где слаба доблесть, властвует судьба") Примечательно, однако, продолжение фразы Гарднера: "Напротив, там, где присутствует осторожность и самообладание, судьба имеет малое значение"[9]. Таким образом, для него понятия доблести (virtù) и осторожности и самообладания (prudentia et buone discipline) являются взаимозаменимыми и равноценными. Подобное понимание virtù в корне отличается от взглядов Макиавелли; оно напоминает, скорее, традиционную христианскую трактовку virtù, воспроизведенную в произведениях католиков – антимаккиавеллистов конца XVI в. (Дж. Ботеро, П. де Рибаденейры и др.). Для них virtù означало virtus (добродетель), и в нее входили те добродетели, которые на их взгляд, имели особое значение в политике (прежде всего, prudentia)[10].

Представление о главной задаче правителя – поддержании мира определяется резко негативным отношением Гарднера к войне. [Христианские государи]"должны вести лишь незначительные войны ради установления длительного мира, и им не следует стремиться к разрушению других государств или завоеванию мира, но нужно защищать свой собственный народ и управлять им в мире"[11]. Гарднер прославляет мир как "дитя Господа, кормилицу природы, хранителя рода человеческого, основу добродетели...", условие человеческого счастья[12].

Мир понимается им прежде всего как мир внутри христианского сообщества. Поэтому он приветствует Филиппа в качестве "арбитра мира и войны для всех Христиан"[13].

Миру в рамках христианского сообщества должен соответствовать мир в отдельных государствах, и каждый правитель обязан "как могучий лев смирять надменных тигров, бороться со злобными волками, карать нарушителей христианского согласия..., награждать добродетельных, защищать невинных и хранить своих подданных в мире"[14].

Подобное понимание основного долга государя вполне традиционно и восходит к Св. Августину. Но рассматривая конкретные средства поддержания мира, Гарднер непосредственно обращается к произведениям Макиавелли. Так, от внешних врагов страну должна защитить сильная армия, ибо "ни одно королевство или княжество, которое не имеет достаточно сил, чтобы защитить себя в случае необходимости, не находится в безопасности, но полностью подчиняется капризам фортуны"[15]. Здесь мы видим почти дословное заимствование у Макиавелли [Государь, 13]. Далее Гарднер говорит об обязанности государя готовить себя к возможной войне: последний должен обращаться к опыту прославленных полководцев, поддерживать свою физическую форму охотой, как наиболее приближенным к военным условиям занятием, знакомиться в природой своей страны, так как это может пригодиться во время военных действий[16]. Это также весьма точное изложение пассажа Макиавелли [Государь, 14].

Подобно Макиавелли, Гарднер считает, что армия должна представлять собой народное ополчение, а не отряды наемников, использование которых сопряжено с множеством опасностей. "Они [наемники] жадны, честолюбивы, надменны и непокорны. Некоторые из них знакомы с военной дисциплиной, но мало кто ее соблюдает. Они не имеют страха Господня и уважения к людям, ими движет страх перед наказанием, а не честь. Привязанность же их к тому, кому они служат, зависит от того

скудного жалования, что он им платит, а этого недостаточно, чтобы заставить их умирать"[17].

За подтверждением своего тезиса о предпочтительности народного ополчения Гарднер обращается и к истории своей страны, приводя в качестве примера действия Генриха VIII. Тот летом 1513 г., вмешавшись во франко-имперский конфликт на стороне Габсбургов, высадился с войском в Кале и одержал ряд побед над французами; несколько позже (осенью 1513 г.) английские войска в битве при Флоддене разгромили шотландцев – союзников Франции, а шотландский король Яков IV был убит[18].

Говоря о внутреннем мире, Гарднер подчеркивает, что раздоры гибельны для страны, разрушая ее изнутри и давая возможность внешнему врагу напасть на нее (как в случае вторжения Вильгельма Завоевателя)[19]. Главную опасность несут раздоры знати и народное недовольство. Поэтому государь "должен особенно заботиться о сохранении единства среди своих баронов и оказывать справедливость равно всем, не выделяя фаворитов"[20]. Отмечая важную роль отношения подданных к правителю для сохранения его власти, Гарднер, следуя Макиавелли [Государь, 17], считает наилучшим случаем их любовь в сочетании со страхом (который все же является предпочтительным) и советует избегать ненависти с их стороны[21]. Подчеркивает он и значение образа государя в глазах подданных. Средством завоевания хорошей репутации, по его мнению, являются добрая слава предков правителя, общение с мудрыми и добродетельными людьми, а также собственная доблесть[22].

Образ хорошего правителя подразумевает "величие, силу и спокойствие духа во всех поступках, постоянство мнений и суждений в отношениях с подданными..."[23]. "Государь должен казаться добрым, любезным, милостивым, щедрым, держащим слово... полным веры"[24]. Однако, как подчеркивает автор, этот добродетельный образ далеко не всегда соответствует действительности. На деле "достаточно, если государь осмотрителен и знает, как избежать позора, если вынужден прибегнуть ко злу, и не впадать в грехи, которые могут лишить его власти"[25].

Гарднер подразделяет все государства на две группы. К первой из них он относит Турецкую империю, в которой подданные султана являются его рабами, и он в своих действиях руководствуется лишь собственной волей; здесь власть держится на жестокости[26]. Вторую группу составляют христианские королевства, подобные Англии и Франции, где знать участвует в управлении страной и имеет возможность поднять народ на восстание

против монарха. В государствах этой группы наиболее действенным средством признается милостивое правление короля[27].

Однако и в этом случае жестокие действия государя бывают оправданы. Особенно часто прибегают к ним новые государи, только что подчинившие страну своей власти, нуждающейся в укреплении. "Новый государь тем более не может соблюдать все [предписания добродетели] ... Ради сохранения своего государства ему часто бывает необходимо поступать вопреки милосердию, вере и благочестию"[28].

Говоря о необходимой жестокости государя, Гарднер вновь опирается на Макиавелли [Государь, 18]. Но в отличие от последнего он проводит различие между двумя типами новых государей, выделяя завоевателей и тех, кто унаследовал новые владения от родственников. От принадлежности к той или иной группе зависит и выбор политики, которой государю следует придерживаться. "Тот, кто получил королевство или провинцию силой оружия, должен применять одни средства для их удержания, а тот, кто получил их благодаря помощи друзей, законам наследования или браку, должен действовать иным образом для сохранения своей власти. Основой его поступков должны быть милосердие, любезность и щедрость"[29].

Новый государь первого типа не может не прибегать к жестоким мерам. "Тем, кто подчиняют новые земли силой, не избежать жестоких действий, потому что во время завоевания необходимо убивать людей, опустошать страну, сжигать дома..."[30]. Примером такого правителя для Гарднера служит Вильгельм Завоеватель, применявший любые средства ради укрепления собственной власти в стране. "Сначала он принял меры предосторожности против всех представителей королевского рода. Прочих он лишил должностей и званий, отданных нормандцам. Он ежедневно притеснял народ новыми поборами и налогами, не уважал знать..."[31].

Гарднер прекрасно осознает, что подобные поступки не соответствуют христианскому идеалу государя. Его герой Стефано говорит: "Я не восхваляю их, напротив, я считаю, что для христианина лучше жить частной жизнью, нежели править так жестоко. Но подобные средства весьма действенны..."[32]. Однако, по мнению Гарднера, жестокость в политике неизбежна, хотя это и противоречит принципам христианской морали. "Наша цель состоит не в том, чтобы показать, что государю дозволено [божественным законом], а что нет, но лишь отметить, благодаря чему государь может сохранить или потерять свое государство"[33].

Нетрудно заметить, что признание неизбежности и необходимости жестокости в политике есть результат прямого влияния произведений Макиавелли – "Государя" (гл. 17-19) и "Рассуждений..." (I,26). Но, в отличие от Макиавелли, для которого жестокие меры правителя представляли собой одно из средств укрепления его власти наряду с прочими, а выбор политики определялся соображениями наибольшей эффективности, Гарднер подчеркивает момент вынужденности в действиях государя. "Я не осуждаю жестокость тогда, когда государь вынужден применить ее ради сохранения своего государства"[34].

Если государь-завоеватель не может избежать жестокости, то в случае с наследственным правителем дело обстоит сложнее. В принципе такой правитель должен править милосердно, но и ему невозможно совершенно обойтись без жестоких мер, "поскольку справедливость требует жестокости"[35] и "потому, что совершив несколько жестоких поступков, он окажется более милосердным, нежели те, кто, не предав смерти одного, позволяют начаться восстаниям и беспорядкам, порождающим убийства и грабежи"[36].

Таким образом, жестокость в политике оправдана лишь в крайних ситуациях, когда этого требуют интересы государства, и допускается в ограниченных пределах. Именно характер применения подобных мер отличает у Гарднера государя от тирана. Примером последнего служит Хенгист, "убивавший несчастных бриттов без жалости, сострадания и уважения к возрасту или полу, располагавший их домами и владениями по собственному желанию"[37]. Здесь жестокость не мотивирована государственной необходимостью, а следовательно, неразумна и должна быть осуждена, ибо вызывает ненависть подданных. Ненависть же создает постоянную угрозу восстаний и внутренних распрей.

Отношение к народным восстаниям у Гарднера неоднозначно. С одной стороны, он ясно заявляет: "Я настаиваю на том, что их следует осудить, так как он [государь] – орудие Господа, предназначенное управлять людьми, и возложил на себя это бремя не случайно, но по воле Божественного провидения"[38], и далее "в любых обстоятельствах недопустимо поднимать оружие против государя, даже если он – тиран"[39]. Эти рассуждения перекликаются с его ранним произведением De vera obedientia (1535 г.)[40].

Однако, как и в случае с жестокостью государя, Гарднер пишет о том, что люди делают, а не о том, что они должны делать. На практике же народные восстания случаются достаточно часто, поэтому он подробно рассматривает их причины. При этом он игнорирует посылку Макиавелли об изначальной испорченности

человека. У него народ хотя и совершает недозволенное, восставая против государя, всегда имеет на то серьезные основания.

По мнению Гарднера, все народные восстания вызываются действиями знати. В одних случаях это притеснения с ее стороны или же распри, борьба за места вокруг трона, месть за обиды, в других – протест против политики короны[41]. Но в любой ситуации восстание есть результат неверных шагов монарха, который, следовательно, и виновен более, чем подданные.

Гарднер анализирует ошибки, которые может совершить государь (особенно новый, ведь именно этот случай привлекает его внимание). Во-первых, опасность для королевской власти представляют дурные советники, пекущиеся не о государственных интересах, но о собственной выгоде. Здесь Гарднер апеллирует к английской истории, приводя в качестве примера Эдуарда II и его фаворитов Гавестона и Спенсеров, против которых восстали бароны королевства[42].

Второй серьезной ошибкой является предоставление иностранцам должностей при дворе, так как "величайшим несчастьем для людей любой нации является видеть чужаков, иностранцев, обладающих теми почестями и отличиями, которыми ранее владели их отцы и деды, видеть своих детей лишенными их без причины, словно недостойных"[43]. Гарднер особенно подробно останавливается на вопросе об иностранцах, используя пример Вортигерна и саксов, что объясняется направленностью трактата, его предназначенностью Филиппу.

Опасность влечет за собой и нарушение законов королевства. "Государи начинают утрачивать власть в стране в тот час, когда начинают нарушать законы и изменять древние обычаи, в согласии с которыми люди жили в течение долгого времени"[44]. (Последний пассаж почти дословно заимствован у Макиавелли [Рассуждения, III, 5]).

Наконец, государь не должен покушаться на собственность своих подданных, ибо "человек легко забывает несправедливость, совершенную по отношению к отцу или брату, так как не нуждается в них постоянно, но необходимость в собственности возникает каждый день, поэтому он постоянно помнит утраченное имущество, смертельно ненавидя того, кто его отнял, и готов отомстить, как только представится случай"[45]. Здесь мы вновь видим близость к высказыванию Макиавелли: "Люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества" (Государь, 17).

Особенно должен избегать упомянутых ошибок новый государь, чья власть еще непрочна. Вновь отталкиваясь от рассуж-

дений Макиавелли, Гарднер отмечает, что новому правителю следует жить в подчиненной стране, так как в этом случае легче пресечь начинающуюся смуту, ни в коем случае не нарушать ее законы, не угнетать подданных новыми налогами [см. Государь, 3][46].

В качестве примера такого идеального государя выступает король Стефан, француз по происхождению, мирно правивший унаследованной им страной. Восхваляя Стефана, Гарднер особенно акцентирует внимание на отсутствии в Англии в то время иностранцев. "Стефан обращался к совету англичан в делах, касавшихся управления Англией, и назначал только англичан на должности в королевстве... Стефан стремился, чтобы англичане оставались в Англии, а нормандцы – в Нормандии, и благодаря этому между англичанами и нормандцами сохранялась братская любовь, а сам он, будучи французом (имя коих англичане ненавидят) спокойно царствовал до своей смерти"[47].

Этот пример очерчивает программу, которой должен был следовать Филипп в качестве английского короля: сохранение Англии как независимого государства, с самостоятельным правительством, собственной армией, старыми законами и т.п., но при этом включение ее в более широкую систему государств, объединенных властью одной династии, что могло принести Англии мир и процветание.

Мы уже многократно отмечали многочисленные перефразировки Макиавелли в трактате Гарднера. Собственно, подобные заимствования встречаются не только у него, но и у У. Томаса, Р.Морисона и других, однако лишь у него они носят столь всеобъемлющий характер.

Заимствования из произведений Макиавелли затрагивают ряд тем. Во-первых, это вопрос о войне и армии, а также связанный с этим сюжет о наемниках. Страницы, посвященные причинам войн[48], почти буквально повторяют соответствующее место у Макиавелли [Рассуждения, II, 8]. То же самое можно сказать и о высказываниях Гарднера об обязанности государя готовить себя к войне [Государь, 14], необходимости иметь собственную армию, о наемниках [Государь, 12-13].

Другая серия заимствований связана с кругом тем, касающихся морального облика государя и укрепления его власти. Страницы, где Гарднер говорит о репутации государя и средствах, с помощью которых она создается, представляет собой несколько сокращенный пересказ текста Макиавелли [Рассуждения, III, 34]. Что касается вопроса о допустимости отклонения государя от моральных норм, то здесь мы не встретим высказываний, близких к тексту Макиавелли, хотя дух его сохраняется.

Затрагивая ошибки государей, стоившие им власти, Гарднер вновь опирается на текст Макиавелли, иногда почти дословно его цитирует[49], в других случаях сводит воедино несколько цитат из разных его произведений[50]. Однако, в отличие от Макиавелли, Гарднер подробно останавливается на этих вопросах, подтверждая свои выводы не только (и не столько) его тезисами, сколько примерами из английской истории (прежде всего, событиями, связанными со смещением короля Джона)[51].

Трудно сказать, следует ли отнести эти текстуальные совпадения на счет автора, или же переводчика; возможно, что Дж. Райнсфорд сознательно стремился приблизить изложение Гарднера к тексту самого Макиавелли. Такое предположение высказывает П.С. Доналдсон[52]. В его пользу говорит и выбор языка перевода – итальянского, а не испанского (хотя перевод и предназначался для Филиппа). Нам все же представляется, что Райнсфорд в основном следовал тексту Гарднера (хотя возможно сближение ряда оборотов при переводе): переводчик мог точно следовать тексту Макиавелли, однако он этого не сделал.

Характер заимствований из текста Макиавелли свидетельствует не только о хорошем знакомстве с его произведениями (что не было редкостью среди представителей английской придворной элиты середины XVI в.), но и о значительной степени усвоения его идей. Именно это и выделяет Гарднера из числа других английских "макиавеллистов" – У. Томаса, Р. Морисона. В отличие от них Гарднер принимает те идеи Макиавелли, за которые последний подвергался наибольшей критике – оправдание противоречащих христианской морали действий правителя государственной необходимостью. До Гарднера также ссылались на Макиавелли как на авторитет, но этого опасного сюжета не касались[53]; Гарднер представляет собой уникальный для Англии (и не только для нее) случай усвоения учения Макиавелли в его целостности.

Тем более интересным выглядит тот факт, что нигде в трактате Гарднера имя Макиавелли не упоминается. Это умолчание, вероятно, следует объяснить негативной реакцией, какую оно вызывало в то время в кругах, близких к папской курии и католических богословов. Трактат был написан до внесения произведений Макиавелли ("Государя" и "Рассуждений...") в Индекс запрещенных книг (это произошло уже после смерти Гарднера, в 1559 г.), однако отрицательное к ним отношение католической церкви проявилось ранее.

В 1542 г. в Лиссабоне вышло первое печатное опровержение Макиавелли "О христианской знати" Осорио, в 1552 г. за ним

последовал трактат А. Полити "О Книгах, проклинаемых христианами...". Даже если Гарднер и не был знаком с этими произведениями, он не мог не знать о резко отрицательном отношении к Макиавелли папского легата в Англии Р. Пола. В своей неизданной "Апологии Карла V" Пол впервые сформулировал основные обвинения, которые на протяжении столетия будут предъявлять Макиавелли его оппоненты: сохранение за религией только функции социального контроля, выделения критерия полезности в качестве единственного мерила, применяемого к действиям политиков и подмена Божественного провидения фортуной[54]. (55) Гарднер должен был знать о взглядах своего соперника при английском дворе. А поскольку Р. Пол пользовался большим влиянием на Марию Тюдор, Гарднеру вряд ли хотелось лишний раз раздражать его. Видимо поэтому в тексте трактата нет ни упоминаний самого Макиавелли, ни прямых цитат из его произведений; отчасти этим обстоятельством объясняется и то, что английский оригинал трактата остался практически неизвестен публике и, по-видимому, не предназначался для печати.

Почему Гарднер избрал учение Макиавелли основой собственных построений? На наш взгляд, ответ на данный вопрос кроется не только в личных пристрастиях епископа Винчестерского, но и в той политической ситуации, что сложилась на момент написания трактата и определила его цель. Мария Тюдор к 1554 г. окончательно утеряла надежду родить ребенка, и проблема наследования английского престола вновь обострилась. Гарднер вряд ли может быть назван активным деятелем католической реформы в Англии, однако для него делом первостепенной важности было сохранение в стране католицизма. По его мнению, гарантом религиозного мира и политической стабильности в Англии мог стать только католический наследник (отсюда и его резко негативное отношение к Елизавете, в чье искреннее обращение в католицизм он не верил). Единственной приемлемой кандидатурой с его точки зрения являлся муж Марии, принц Филипп. Гарднер отдавал себе отчет в тех сложностях, что неизбежно должны были возникнуть при смене династии, принимая во внимание как нелюбовь англичан к иностранцам, так и характер самого Филиппа и его слабое знакомство с английскими обычаями и традициями. Избрав для себя кандидатуру Филиппа, Гарднер пытался создать для него своего рода свод правил, придерживаясь которых, тот смог бы удержать власть в Англии после смерти жены и укрепить ее.

Такой попыткой и стал его трактат. При этом Гарднер стремился максимально учесть интересы своей страны; однако, зная

об абсолютистских претензиях Филиппа, он старался объяснить необходимость сохранения традиционной политической системы интересами самого правителя. Наиболее подходящей для его целей политической теорией оказалось учение Макиавелли, ибо оно дает ряд практических советов, оставляя простор для идеальных построений (теории божественного права монарха).

---

[1] Biriley R. The Counter-Reformation Prince: Anti-Machivellianism or Catholic Statecraft in Early Modern Europe. Chapel Hill, 1990, p.15.

[2] Ibid.

[3] Raab F. The English Face of Machiavelli. London, 1964.

[4] Muller J.A. Stephen Gardiner and the Tudor Reaction. New York,1970, p. 34-194.

[5] Ibid., p. 201-214.

[6] Ibid., p.236-242.

[7] Donaldson P.S. Introduction // S. Gardiner. A Machiavellian Treatise. London, 1975, p.10.

[8] Ibid., p.10.

[9] Ibid., p.52.

[10] Biriley R., op. cit., p.54.

[11] Gardiner S., op. cit., p.63

[12] Ibid., p.98.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid., p.61.

[16] Ibid., p.62.

[17] Ibid., p.54-55.

[18] Ibid., p.65.

[19] Ibid., p.70.

[20] Ibid., p.89.

[21] Ibid., p.54; ср. с Макиавелли (Рассуждения, III, 34).

[22] Ibid., p.96.

[23] Ibid.

[24] Ibid., p.96-97.

[25] Ibid., p.90.

[26] Ibid., p.91

[27] Ibid., p.97.

[28] Ibid., p.93.

[29] Ibid., p.84.

[30] Ibid.

[31] Ibid., p.87.

[32] Ibid., p.85.

[33] Ibid., p.87.

[34] Ibid., p.88.

[35] Ibid.
[36] Ibid., p.60.
[37] Ibid., p.69.
[38] Ibid., p.70.
[39] Ibid., p.69.
[40] Muller J.A., op.cit., p.61.
[41] Gardiner S., op. cit., p.68-69.
[42] Ibid., p.71-73.
[43] Ibid., p.78-79.
[44] Ibid., p.76.
[45] Ibid., p.76-77.
[46] Ibid., p.93.
[47] Ibid., p.79.
[48] Ibid., p.57-58.
[49] Ibid., p.76; ср. с Макиавелли (Рассуждения, III,5).
[50] Ibid., p.77; ср. с Макиавелли (Государь, 17 и Рассуждения, III, 23).
[51] Ibid., p.76.
[52] Ibid., p.15.
[53] Raab F., op. cit., p.51.
[54] Biriley R., op. cit., p.15.

Е.Е.БЕРГЕР

МИГЕЛЬ СЕРВЕТ: ОБРАЗ МЫСЛЕЙ, МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ

Шестнадцатый век в Европе породил личности такого масштаба, что на их фоне Сервет зачастую теряется, оставаясь в тени более ярких фигур. Не случайно в литературе так часто рассматривается Сервет не как мыслитель, но как эпизод биографии Кальвина, как предшественник Гарвея в физиологии[1], как юридический прецедент[2], как герой Вольтера или Цвейга. Происходит некоторое смещение акцентов: Сервет привлекает внимание не сам по себе, а постольку, поскольку его упоминает Вольтер, постольку, поскольку он полемизировал с Кальвином и т.д.

Анализируя его сложную биографию, можно прийти к парадоксальному выводу: жизнь Сервета, при всей контрастности и резкости поворотов, не была уникальна для XVI века. Переломный период европейской истории толкал людей на интеллектуальный поиск, выражавшийся то в религиозной форме, то в научной, то в сфере искусства и т.п. Многие люди его интеллектуального круга, и чаще добровольно, чем вынужденно, избирали формой жизни скитание; многие его современники по сходным причинам окончили жизнь на костре; если обратиться не к внешним событиям, а к внутреннему наполнению, то не только открытие Сервета, но и многие другие научные открытия не нашли своей аудитории. Но судьба Сервета (1511-1553) некоторым образом стала квинтэссенцией всего этого: учившийся в двух университетах – праву в Тулузе и медицине в Париже, - проведший большую часть жизни в странствиях, в юности секретарь духовника «самого католического из королей» Европы, теолог-антитринитарий, медик круга Везалия, впервые в Европе описавший малый круг кровообращения, сотрудник гуманистической типографии и личный врач епископа, уроженец Испании, страны, всегда считавшейся оплотом Контрреформации, погибший на костре в Женеве, городе – символе Реформационного движения[3]. Особый интерес представляет тот факт, что практически половину своей сорокалетней жизни Сервет провел под чужим именем. Многие авторы по разным причинам выбирали себе

псевдоним, но рассматриваемый случай – особый. Еретик Мигель Сервет исчез после написания ранних антитринитарных трудов (и возник вновь лишь перед женевскими судьями), а во Франции появился гуманист Мишель Вильнев, судьба которого, казалось бы, не имела ничего общего с судьбой разыскиваемого богослова. Итак, два имени, две биографии, два суда и два смертных приговора, оба приведенных в исполнение: Вилланованусу – заочно, Сервету – реально.

Вымышленная биография Михаила Виллановануса известна нам из протоколов допросов инквизиционного трибунала во Вьенне весной 1553 г[4]. Судьба этого персонажа до известной степени заурядна. Это человек хорошо образованный, в том смысле, который вкладывали в это понятие гуманисты, «добротный специалист», как сказали бы мы сейчас. (Весьма лестно о нем отзывался профессор Фернель, одно из медицинских светил Парижского университета[5]). Вилланованус, в отличие от Сервета, предпринимал достаточно удачные попытки войти в социум. В биографии его явственно прослеживается гуманистическая тенденция к «универсальности»: начав свою деятельность корректором в типографии, он вскоре становится географом, затем изучает медицину, пытается преподавать математику и астрологию, во всех этих областях оставляет научные труды, которые можно с полным правом причислить к гуманистическим сочинениям «среднего уровня», со знанием всей литературы, положенной хорошо образованному человеку. В медицине он идет следом за Везалием, причем не в первых рядах. Он только прикоснулся к опытному знанию, но не более того. У него нет разницы в подходе к самым различным сюжетам, будь то теология или ботаника, география или медицина. Разумеется, нет речи ни об эмпирических методах исследования, ни о специальной подготовке – все знание заключено в нескольких книгах, и Сервет, как и Вилланованус, спокойно и на равных полемизирует о ботанике с ботаником Фуксом, об астрологии – с Пико делла Мирандола и о теологии – с Кальвином и женевскими пасторами. Он пытался быть гуманистическим «универсальным человеком» в век начавшегося разделения наук и заплатил за это жестоким дилетантизмом. Во всех трудах гуманиста Виллановануса нет и следа того грандиозного хаоса, который представляют собой труды Сервета. Любопытно, что во Вьенне на вопрос, знал ли подозреваемый еретика Сервета, тот ответил, что в юности был с ним знаком и увлекался его трудами, но теперь сожалеет об этой ошибке. Это была попытка дистанциро-

ваться в глазах обвинителей от своего «второго Я», точнее – от «первого Я».

Сервет, личность куда более сложная, чем его двойник, так и не нашел своего круга общения. Все его теологические труды полемичны, причем, помимо общей полемической направленности, они, как правило, имеют конкретного адресата из числа современников. Таковы «Апология против Фукса», тридцать писем Кальвину, «Апология Меланхтону» (последние два – части «Восстановления христианства»). Его перманентное состояние contra mundum естественным образом доставило ему врагов как в католическом, так и в протестантском лагере.

Анализируя вопрос об отношениях Сервета с деятелями Реформации, логично было бы постараться понять, почему сам Сервет не стал лидером нового направления в протестантизме, имея для этого, казалось бы, все необходимые качества. Этот вопрос неоднократно поднимался в литературе, и причины находили в его тяжелом характере (С.Цвейг[6]) или в чрезмерно радикальном реформировании христианской религии, в отличие от Лютера, Цвингли и Кальвина, затрагивавших только внешние формы обрядности (Е.Будрин[7]). Это совершенно справедливо, но не менее важным фактором следует считать круг вопросов, которые его интересовали. В любом случае Сервет оставался в области чистой догматики, будучи теологом совершенно «кабинетного» типа. В вопросах сугубо теологических он сходится с анабаптистами, но, в отличие от них, у Сервета не вытекают из этого абсолютно никакие социальные программы. Средневековая «рецептурность» мышления здесь начисто отсутствует. Его программа преобразования мира ограничивается надеждой, что когда-нибудь все поверят в истинного Христа, и это произойдет без каких-либо конкретных действий с его стороны. Этим он резко отличается от лидеров Реформации, пребывая исключительно в сфере «чистого разума». Здесь уместен следующий пример. И Лютер, и Кальвин, подобно Сервету, получили в юности юридическое образование, и все трое не сочли юриспруденцию своим призванием. Но тем не менее Лютер оставил образцы великолепной юридической полемики, Кальвин всю жизнь чрезвычайно серьезно относился к праву, принимал участие в дискуссиях правоведов, проводил сравнительный анализ ветхозаветных и римских правовых норм в «Комментариях к Моисееву закону». Для Сервета наука права, изучающая отношения между людьми, не только неприемлема по моральным соображениям[8], но и просто неинтересна. Характерно, что в трудах Кальвина древний Рим предстает прежде всего как родина клас-

сического права, у Сервета – только как гнездо разврата, породившее впоследствии чудовище – католическую церковь.

Аналогично дело обстояло и с политикой. Все исследователи отмечают глубокий интерес, с каким Кальвин относился к политической жизни. При всей своей тяге к кабинетной науке он оставался вполне реалистом. В его трудах затрагиваются проблемы торговли, колоний, условий найма жилищ и т.п. Если даже верить Кальвину, что для него всегда было крайне тяжело участие в реальной политике и он постоянно желал остаться «теоретиком», то это была принципиально иная «теория», чем у Сервета, теория, применимая к политической, правовой, чисто бытовой практике, хотя и имеющая безусловно религиозную основу. Незаурядное политическое чутье Кальвина составляет резкий контраст позиции Сервета, который прикоснулся к политике единственный раз в жизни, пытаясь на основании указаний небесных светил сделать астрологический прогноз на 1536 г., в чем и потерпел решительную неудачу[9].

Кальвин часто подчеркивал, что занимается практической деятельностью против желания. Сервет и не предпринимал попытки сделать такое усилие. Его молчание по поводу повседневной жизни красноречиво. Никакой теории государства и права у него не существует. Более того, у него в принципе нет даже представлений о церкви как институте.

В историографии он постоянно меркнет на фоне более крупных фигур как человек с большими, но не реализованными возможностями. Он не реализовался ни как лидер нового направления в протестантизме, ни как основоположник физиологии Нового времени, ни даже как видный представитель позднего гуманизма. В своем стремлении к мировой гармонии он оказался не столько созидателем, сколько разрушителем. Сервет принадлежит к тому же «поколению преступивших», по выражению А.Н.Немилова, что Лютер и Кальвин. Он обладал всем могучим потенциалом личности XVI столетия, позволившим мыслителю-одиночке выступить с реформированием христианской религии и всего существующего миропорядка. Это реформирование затрагивает не внешнюю обрядность, а определяющие догматы. Ни его метод, ни теологическое знание не были новы. Он оперирует все теми же авторитетами, фактами, текстами, и с точки зрения системы доказательств он тоже вполне традиционен. Его антитринитарная доктрина – не первая и не последняя, но весьма радикальная попытка совместить fides и ratio. Использование рациональных методов для доказательства теологических истин характерно еще для Фомы Аквинского, но Аквинат использовал

это для доказательства общепринятого, Сервет – для доказательства фактически ереси. Это была попытка, обреченная не только на неудачу в формально-логическом смысле, но на полное непонимание, невосприятие современников.

В трудах Сервета, как ни парадоксально, полемический накал сосуществует со стремлением к компромиссу. Это особенно заметно в его медицинских трудах, имеющих всегда конкретного полемического адресата, но и в «Восстановлении христианства» присутствует робкая попытка примирить арианство с ортодоксальной религией. Такие мыслительные операции явно вытекают из поиска единства мира, общей стройной системы причин и следствий, некой «мировой гармонии», которая постоянно от него ускользала.

Характерологически Сервет и Вилльнев – люди, безусловно, разные. «Восстановление христианства»[10] вместило метод работы, мировоззрение и жизненный опыт обоих. Этот труд – попытка глобального синтеза, вобравший в себя все прочитанное и пережитое автором и в силу этого абсолютно лишенный какого-либо намека на системность и хаотический по структуре. «Восстановление христианства» и привело их обоих на костер.

Мировоззрение Сервета чрезвычайно точно выражает характер переходной эпохи, когда ломалась средневековая картина мира и на смену ей еще не пришла рационалистическая система Нового времени. Это вполне объясняет эклектичность его трудов, в которых нашли себе место самые разные, логически не совместимые идеи, все новые веяния, волновавшие его современников. Он находится на пересечении самых разнообразных культурных традиций, в его трудах получают отражение все «больные вопросы» его столетия: от происхождения сифилиса до открытия Нового Света и от сущности церковных таинств до проблемы веротерпимости. Все логические неувязки, бросающиеся в глаза при чтении его трудов, – это, в сущности, портрет эпохи, мучительно меняющей систему ценностей. Его попытки совместить несовмещающиеся системы: рационализм с христианским вероучением, античную медицину с арабской, теологию с астрологией – заранее обречены на неудачу, но тем интереснее. Он отразил все характерные черты эпохи, и возможно, именно этим в какой-то мере объясняется его трагическая судьба.

Но если не стоит преувеличивать его заслуги философа и естествоиспытателя, ибо талант его, безусловно, ограничен, то не надо впадать и в другую крайность, низводя его до среднестатистической единицы. Он посмел довести до логического конца линию рациональной теологии, предвосхитил тенденцию «ново-

го» естествознания, а главное – ступил на стезю рационализма Нового времени, к каким бы утратам тот ни вел. Этот неистовый пафос отрицания и вызвал ту реакцию, на которой сошлись миры Реформации и Контрреформации в своем единодушном осуждении Мигеля Сервета.

---

[1] Гутнер М.И. История открытия кровообращения. Гарвей и его значение. М., 1904; Willius F., Dry T. A History of the Blood and the circulation. Philadelphia, 1948

[2] Rilliet A. Rélation du procès criminel intenté à Génève en 1553 contre Michel Servet. Génève, 1875

[3] Лучшим биографическим трудом о Сервете остается: Bainton R. Hunted heretic. The life and Death of Michael Servetus. Boston, 1953

[4] Calvini opera quae supersunt omnia – V. 8

[5] «Моим первым помощником был Андреас Везалий, молодой человек, превосходно знающий анатомию и занимающийся чистой медициной. А после него Михаил Виллановианус занимался вместе со мной рассечением трупов. Он превосходно образован, а в знании Галена – непревзойден». Цит. по: Bainton R. Op. cit., p. 107

[6] Цвейг Ст. Совесть против насилия. Кастеллио против Кальвина. Киев, 1989

[7] Будрин Е.А. Антитринитарии XVI в. Казань, 1878. – Ч. 1. Михаил Сервет и его время.

[8] «Ты полагаешь, я хочу, чтобы все были разбойниками и чтобы никого за это не наказывали и не казнили; Бог свидетель, что я не придерживаюсь такого мнения, напротив, я всячески это отрицаю и говорю лишь то, что мне тяжело убивать людей» – из письма к Эколампадусу, Calvini opera v. 8, p. 814

[9] O'Malley Ch.D. Michael Servetus. A translation of his geographical, astrological and medical writings. Philadelphia, 1953

[10] Servetus M. Christianismi Restitutio. Vienne, 1553

И.Я.ЭЛЬФОНД

КАБИНЕТНЫЙ УЧЕНЫЙ И БУРИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН

Жизнь и судьба одного из крупнейших представителей эрудитской историографии Франции XVI в. Этьена Пакье почти не привлекали внимания исследователей[1]. Он как бы был затенен своими блистательными и более энергичными современниками, хотя и являлся признанным историком-эрудитом, был тесно связан с деятелями культуры и оставил достаточно большое количество широко популярных сочинений[2]. Его творчество интересно еще и тем, как мыслитель, первоначально далекий от политических катаклизмов своего времени, постепенно втягивается в эти проблемы.

Пакье прожил достаточно долгую для того времени жизнь (1529-1615), многое в ней осталось для нас неизвестным. Как большинство мыслителей той эпохи, он стал профессиональным юристом, изучал право сначала в Париже, а затем в Тулузе, где сложилась известная школа права. Его наставником стал известный юрист Ф.Кужа. Позднее Пакье завершил свое образование в университетах Павии и Болоньи – европейских центрах юриспруденции. По возвращении во Францию Пакье с 50-х гг. находится на государственной службе. Карьера его не была столь блестящей, как у большинства политических теоретиков: он лишь в 1585 г. становится адвокатом Счетной палаты. В политической жизни эпохи он почти не принимал участия: был избран депутатом Генеральных Штатов в 1588 г. и не проявлял особой общественной активности в дальнейшем. Правда, во времена Лиги он покинул Париж и одним из первых повернул к будущему Генриху IV.

Современники высоко ценили Пакье как эрудированнейшего гуманиста: он был одним из ведущих специалистов в сфере права, крупнейшим историком, писателем и поэтом и одним из наиболее пылких защитников французского языка, благодаря чему был тесно связан с «Плеядой» и вел переписку с Ронсаром. Авторитет Пакье, «гуманиста, друга Ронсара, советчика Плеяды, создателя французской прозы, предшественника Пас-

каля и Боссюэ»[3], стоял достаточно высоко, и его личность привлекала внимание современников, а творчество было широко известно. Но мы едва ли могли судить о его личности, если бы не переписка – во множестве писем (личных и рассчитанных на широкий круг), адресованных самым разным людям, отражается позиция автора и эволюция его позиций и взглядов. Часть этих писем посвящена современным делам и они рисуют облик гражданина, часть – проблемам цивилизации и культуры, и в них виден образ гуманиста. Для Франции прижизненная публикация писем была непривычна, и Пакье, готовя их к изданию, предварил его письмом 1586 г., из которого ясно, что он намеревался именно раскрыть свое «я», показать «общую картину моей жизни – весну, лето, осень и конечную зиму», а заодно и события эпохи. Нарушая традицию, он решился «опубликовать мои письма», поскольку не было «более случая сделать то, что и все современники», выразить «свободу моей мысли и чистоту языка»[4].

Но в этих письмах ученый выразил те же взгляды, что и в своих сочинениях, и невольно стал одним из ведущих пропагандистов партии политиков, вступив в полемику со своими оппонентами, а в дальнейшем защищая легитимизм против Лиги. Так историк и поэт вышел из замкнутого мирка на политическую арену. Все представления Пакье в конечном счете определяла пылкая, всепоглощающая, безраздельная любовь к родной стране. Патриот в самом высоком смысле слова, он обратился не только к прошлому Франции, но и ее культуре.

В важнейшем своем труде «Изыскания о Франции» Пакье поднял не только обычные для своего времени проблемы политической истории, но и вопросы развития народности, истории национальной церкви, культуры, традиций и обычаев; особое место занимает вопрос о развитии родного языка и литературы[5]. При столь широких исследовательских задачах он был вынужден сформулировать точку зрения на развитие французского государства и ответить на чужие суждения. Можно утверждать, что в основу его гуманистической концепции прежде всего легли взгляды на государство и закон. Пакье полагал, что государство возникает при наличии определенных условий[6], которые определяют время его существования: «государства сохраняют обязательные сроки бытия, существование их связано с последними, а после их исчезновения исчезают и государства.» Предметом изучения историка является «происхождение государств, их развитие и изменения в зависимости от времени и эпохи». (P. 699).

Пакье полагал, что государство возникает благодаря насилию (Р. 986), но предпосылкой для развития цивилизации является появление городов (Р. 986). По мере развития цивилизации, «сокращается использование насилия и влияние воинов, но возрастает роль словесности». Для понимания его взглядов важен тезис о прямой связи уровня общества и культуры; «во всех государствах при их зарождении довольствуются силой оружия, но когда они достигают почестей и величия, то обращаются к иному и приобретают еще изящество словесности». Пакье был едва ли не единственным, кто в условиях гражданских войн размышлял о связи государства и культуры, наивно прямо из связывая; «с расцветом государства поднимается словесность, с его упадком и она деградирует»[7]. Литература и язык – высшее проявление расцвета страны, признак свободы: «Я всегда за тех, кто стоит за родной язык. Мы ведь носим имя франков, вольных и свободных»[8]. Поэтому в историческом сочинении он целую главу посвятил истории литературы (современной и средневековой) и счел нужным информировать об этом поэта П.Ронсара.

И все же под влиянием внешних событий и для пылкого сторонника «Плеяды» на первый план выдвигаются проблемы политики и права. В основе их лежит всеобщее естественное право: «естественное право существует у всех народов» (Р. 909). Оно неизменно: «естественные законы постоянны и не могут быть отменены государством» (Р. 144). На основе естественного права каждое государство создает свои законы, регулирующие нравственные нормы общества. Они могут быть различны в отдельных государствах и изменяются в случае изменений в обществе (Р.349, 702).

Пакье, как и другим современникам, свойственна абсолютизация роли законов, «души государства, без которой оно не может существовать»[9]. Законы – главное средство управления и достижения гармонии и порядка, а значит и стабильности[10]. Закон – норматив, направленный не только на достижение порядка, но и на сохранение сложившегося баланса социальный сил.

В решении проблемы источника закона он разошелся и с легитимистами, и с тираноборцами. От решения этой проблемы зависело отношение к вопросу о том, кому принадлежит верховная власть – королю или народу. Пакье выдвинул идею компромисса, объявив источником закона власть государя, но полагая при этом, что законы имеют силу после утверждения их государственными учреждениями (а не сословиями)[11].

Такое решение требовало и иной концепции монархии. Пакье, как и все легитимисты, заявлял: «среди трех форм государства нет более достойного и совершенного, чем царственная монархия»[12], но решение им проблемы государя также отличалось своеобразием. Он отстаивал тезис об абсолютной власти государя: «Бог дал королям полную и абсолютную власть» (Р. 182), но полагал, что подлинный государь сам не станет пользоваться такой властью, а добровольно с ней расстанется: «мудрый государь передает свое абсолютное могущество под власть закона»[13]. Эта идея была очень дорога Пакье и была вполне оригинальной. Автор не раз возвращается к ней, объявляя подобное отречение во имя закона «делом, достойным величия короля».

Она служила вполне конкретным целям: Пакье полагал, что именно это и произошло во Франции и мог отстаивать положение о божественной власти монарха и в то же время проводить тезис об ограничении власти короля законами. Идея добровольности отказа королей от дарованных богом прав также служила Пакье и для обоснования нравственных обязательств народа в ответ на жертву со стороны государя.

Только такая власть одобряется, по мысли Пакье, богом, а в результате возникает порядок и гармония по формуле: «короли ограничены законами, народ подчиняется королям, король подчиняется закону» (Р.699). В основе «правильного государства», утверждает Пакье, лежит правильное понимание правителем своего долга: «цели, помыслы и предназначение и философия доброго государя должны быть направлены только на пользу своего народа»[14]. Проблема монархии у Пакье тем самым связывается с проблемой идеального государства. Он допускал возможность противоречий между властью и народом, считая наибольшей угрозой для общественного блага «грозное правление». Главный источник конфликта – это произвол монарха, его несправедливость «вызывает лишь всеобщее недовольство народа и постоянно приносит бедствия, гражданские войны, а в итоге ведет к гибели государства». (Р. 47). Неменьшую опасность представляет малолетство правителя, так как оно «открывает дорогу честолюбию высшей знати. Это – зародыш гражданских войн, от коих ведут начало гибель или потрясения» (Р. 559). Но жесточайшую конфронтацию власти и народа, по убеждению Пакье, вызывает подчинение общих интересов народа личным наклонностям государя, так как это обеспечивает рост раздоров и гражданских войн, а они порождают гибель государства. При любых причинах конфликта Пакье видит один резуль-

тат – раздоры, гражданские войны, гибель государства. Упорное возвращение к этой мысли свидетельствует о ее невероятной актуализации в современную ему эпоху, а возможно, и об осторожной критике политики французской короны.

Наглядно продемонстрировав отсутствие стабильности в безопасности даже в «правильно организованной» монархии, Пакье рассматривает ее противоположность – тиранию. По его твердому убеждению, «тирания создана Римом» (P. 10). В соответствии с гуманистической традицией, он утверждает неразрывную связь категории «свобода» с республикой и само возникновение ее связывает со свержением в Риме царской власти. Апологет монархии, Пакье считает вполне допустимым тираноборчество в случае узурпации власти: Брут «стремился сохранить свободу, когда убил Цезаря» (P. 406), а подлинной тиранией историк считал Римскую империю (P. 687).

Если античную тиранию Пакье связывал с узурпацией власти, то средневековая для него – это превращение государя в тирана. Облик средневековых государей (Манфреда, Брунгильды) рисуется с назидательной целью: «показать всем христианским государям, что им следует править государством в соответствии с иными принципами, чем те, которые Макиавелли пожелал показать без стыда в главе о подлости трактата «Государь» (P. 778).

Тирания для Пакье – противоестественна и аномальна, тиран «держит народ в рабстве», а «сама природа не может выносить ничего насильственного». Поэтому тирания обречена, а ее методы более пригодны для уничтожения государств[15]. При осуждении тирана (а из современных государей он считал таковым только Ивана Грозного), Пакье критиковал и пассивность и покорность подданных, признавая тем самым абстрактное право сопротивляться тирану для других стран, но исключая его для Франции. Пакье решительно осуждает тиранию, хотя и не признает крайностей в борьбе с ней.

Именно в этой связи он вступает в прямую полемику с тираноборцами, опровергая попытки их теоретиков доказать наличие народного суверенитета во Франции. Его оценки противоположны: Пакье объявляет политическую децентрализацию страны признаком упадка, феодальные мятежи (у Отмана бывшие проявлением борьбы народа за свои права) считает раздорами, а причиной их усиление знати за счет власти короны. Пакье прямо обвиняет знать в дестабилизации государства. Отход от принципа единовластия он считал нарушением, а не выражением закона. Особо он обрушивается на тезис о выборности го-

сударей: «Карл Великий управлял страной своей властью, а герцоги и графы были для него лишь управителями, которых он снимал по собственной воле.» (Р. 90). Именно с этой полемикой связано его отношение к Генеральным Штатам – Пакье был единственным теоретиком эпохи, упорно отрицавшим их политическое значение, прямо указывая на тираноборцев как на фальсификаторов истории: «некоторые считают..., что собрания сословий играли большую роль в истории Франции, имеют очень древнее происхождение, и видят в этих учреждениях воплощение свободы народа. Но все это не соответствует истине» (Р. 82). Пакье не только критически оценивает действия Штатов, но подчеркивает, что они служили короне, а не ограничивали ее власть (Р.82), опровергая в прямой полемике тезис тираноборцев об основополагающей роли сословного представительства.

Решение им проблемы сословий также не традиционно. Пакье исходил из того, что нормальный статус человека – свобода (в соответствии с естественным правом). Зависимое положение – нарушение высших законов и изобретение человеческого общества в эпоху Рима. Французский серваж он связывал с рецепцией римского права и полагал, что древнегалльское общество было ближе к французскому, так как и в нем можно выделить три сословия. Порядки Галлии и Франции Пакье полагал более соответствующими богу и законам природы. Общество должно быть свободно, но «в правильно организованном государстве сословия необходимы друг другу»[16]. Критериями для определения статуса и сословия Пакье полагал налогообложение (Р. 47) и характер труда (Р. 48). Он с уважением относится к дворянству, как и к остальным сословиям, но декларирует: «я твердо убежден, что всякой человек любого сословия, который служит добродетели и ведет безупречную жизнь, является благородным, и не бывает в этом исключений» (Р. 48), трактуя тем самым проблему в чисто гуманистическом духе. Но независимо от сословной принадлежности он считал все население страны подданными, обязанными повиноваться государю.

Он решительно восставал против идеи прав подданных, выдвинутой тираноборцами, не признавая никаких компромиссов. Максима: «подданные обязаны повиноваться своему государю»[17] постоянно проходит в его сочинениях. Он прямо выступал против мысли о законности сопротивления власти, опиравшейся на тезис о правах народа: «действия государя не должны подвергаться суду подданных»[18], отношения власти и подданных укладываются в примитивную формулу: «ваш король имеет

право повелевать. Вы должны повиноваться»[19]. Он полагал недопустимым, чтобы «подданные бросали вызов государю или же диктовали ему законы»[20].

Начиная с 60-х гг. творчество Пакье является в основном отражением политических бурь эпохи, но если в «Диалогах» и «Изысканиях о Франции» политические проблемы поднимаются для теоретического и научного их обоснования, то в письмах буквально прорывается вопль человека, отчаянно и безуспешно предупреждающего о грядущих бедствиях.

Гуманист пылко бросается на защиту государства и короны еще в ходе первых гражданских войн. Выступление против центральной власти он считал основой всех потрясений и величайшим бедствием: «ничего так не следует страшиться, как гражданских войн, а среди них тех, которые ставят целью смену религии»[21]. Гражданские войны – это подготовка гибели государства, кара бога: «когда бог желает погубить государство, то насылает гражданские войны», но при этом подчеркивал, что религиозные распри отражают социальное недовольство, полагая, что простой народ подталкивается к мятежу знатью: «народ не выступит сам, если его не подтолкнет знать»[22]. В силу этого он негативно относился к любому «брожению умов» как первопричине появления политических потрясений.

Гражданские войны (не вызванные тиранией), по убеждению гуманиста, неизменно приводят к уничтожению существующей формы государства и замене ее тиранией: «кому бы ни досталась победа, она не только обернется гибелью и разрушением государства, но и подготовит установление новой тирании»[23].

Но в его отношении к бедствиям родины можно заметить эволюцию; на раннем этапе он возмущался действиями всех партий без исключения и осуждал всех предводителей: «все это подлинный устрашающий суд бога, который идет против нас. И потому все вожди погибли насильственной смертью»[24]. Это не мешает ему отметить достоинства и Гиза и Колиньи (как бывших преданных слуг короны и Франции). Пакье понимал, что речь идет не только о религиозном конфликте, и гуманист (правоверный католик) сочувствовал инакомыслящим. Он бросает, комментируя мир в Сен-Жермене: «Я один среди всеобщей радости не отваживаюсь на нее. Я чувствую, как становлюсь гугенотом». Суть событий для гуманиста заключена не в религии, а в политической конфронтации, и он повторяет: «не ведаю, чем кончится эта трагедия. Бог не допустит торжества подданных над государем»[25].

Чем больше углубляется конфликт, тем резче суждения Пакье. В 80-е гг. он занял совершенно иную позицию – политическая ситуация определила категоричность и безоговорочность оценок. Исход событий для него уже ясен: «страшная, ужасная трагедия, которую пытаются поставить в нашей Франции», завершится тем, что «для финальной сцены государство окажется либо совершенно иным, либо просто погибнет»[26]. Он ощущает себя пророком, возвещающим беды, война, по его мнению, неизбежно перерастает в социальный переворот: «я могу судить, что грядет переворот в государстве» Страх Пакье перед будущим определяется прежде всего именно этим: «как добрый гражданин я просто в ужасе от государственного переворота»[27]. Он рисует картину страшной экономический и финансовой разрухи, подчеркивая трагическое положение крестьян. А потому в его представлении самое худшее – это продолжение гражданских войн, и кроткий и умеренный гуманист переходит к весьма решительным политическим рекомендациям. Его программа – мир любой ценой, а против противников мира необходимы радикальные меры: «разве не ясно, что следует подавить тех, кто хочет в дальнейшем идти к гибели или перевороту в государстве»[28].

Он называет двух виновников сложившейся ситуации: прежде всего высшая знать, а также городские низы. Главной заинтересованной силой в гражданских войнах он объявляет феодальную знать независимо от ее партийной и конфессиональной принадлежности. Религия лишь прикрывает их цели: «принцы и знатнейшие вельможи играют разные роли – одни действуют под именем святой Лиги, другие – под прикрытием своей религии». Для гуманиста все предельно ясно: религиозные лозунги прикрывали типичную усобицу с целью децентрализации государства. А иностранная агрессия лишь способствует упадку, что доказывается историческими примерами.

Наиболее категоричную позицию занял Пакье в отношении Парижской Лиги. Само ее возникновение доказывает справедливость опасений за судьбы страны, так как «Лига – это подлинная анархия». Пакье считал Лигу организацией простого народа, социальных низов, а «наиболее развращенные люди в Париже – низкого положения»[29]. В его оценках деятельности Лиги в полной мере проявился страх ученого перед грядущими выступлениями «черни, которая поддерживает мятежи»[30]. Именно поэтому, утверждает Пакье, «чернь очень любит лигеров». При оценке простого народа Пакье повторяет выражение Бодена: «зверь без узды», а поскольку Лига выражает интересы

этого «зверя», то Пакье делает вывод о том, что власть Лиги – это утверждение коллективной тирании, тирании черни. Свою позицию он высказывает предельно откровенно: «Я ненавижу тиранию. В Париже – новые тираны»[31]. Подобные резкие оценки относятся только к Парижской Лиге (Пакье весьма уважительно относится к предводителям Лиги принцев и Генриху Наваррскому), в ее деятельности он усмотрел наибольшую опасность для существующих порядков и квалифицировал действия парижской лиги как мятеж: «восстание подданных против своего государя, и это повлечет больше бедствий, чем любая тирания»[32].

Таким образом, в размышлениях Пакье вырисовывается некая политическая альтернатива, он приходит к страшному для него выводу – за установление порядка необходимо уплатить любую цену, пусть это и означает впадение в другую политическую крайность. Как крик души вырывается у него конечный вывод: «преданность, которую я питаю к моему королю, родине, принцам и вельможам, дворянству и всему французскому народу, заставляют меня высказаться: страшась увидеть то, чего не должен желать ни один добрый гражданин (то есть потрясений или изменений государства) я предпочту установление тирании при условии установлении мира тому, чтобы находиться в условиях гражданских войн»[33]. Трагедия ведет к ревизии взглядов: лучше тирания, чем гражданские войны.

В целом позиция Пакье значительно отличалась от других идеологов эпохи гражданских войн XVI века. Он не являлся сторонником партий, тем более не брал на себя функцию пропагандиста. Ученый – юрист, филолог, историк – весь свой авторитет обратил на то, чтобы предостеречь современников и сохранить существующий порядок. Он пытался как-то примирить враждующие учения тираноборцев и сторонников абсолютизма, найти особый подход, извлечь наиболее, с его точки зрения, рациональные идеи из обеих теорий. В открытую полемику он вступает лишь по центральному вопросу политики того времени: «кому принадлежит верховная власть?». И именно ему, историку-эрудиту, удалось опровергнуть генеральную идею тираноборчества об исторической роли сословного представительства как выразителя суверенной власти народа.

Как и большинство мыслителей своей эпохи, Пакье поставил проблему тирании. Судя по прекрасным историческим портретам Ивана Грозного, Манфреда Гогенштауфена, византийского императора Андроника, тираном для него \является государь, нарушающий свой долг. А потому он большое место в своих сочинениях уделяет морализированию и предупреждению госу-

дарей. В целом облик Пакье предстает довольно своеобразным: судя по всему, он был человеком очень сдержанным и неподверженным бурным порывам, крайне методичным и склонным к систематизации: ему мало присуща бурная страстность, прорывающаяся даже у Ж.Бодена. Он, разумеется, достаточно терпим, оценки его объективны и уравновешенны. Тем большее впечатление производит его позиция в отношении гражданских войн; вероятно, все данные ему эмоции прорываются в суждениях по этому поводу. Страх перед чернью, коллективной тиранией, возможностью установления анархии определил и определенную динамику в его творчестве.

Взгляды Пакье проделали существенную эволюцию: по мере углубления гражданских войн гуманист превращается из сторонника конституционализма в апологета сильной абсолютной власти, а от идеи ограничения власти законами переходит к проповеди абсолютной власти государя и необходимости слепого повиновения подданных этой власти.

---

[1] Творчество Пакье-историка рассматривалось в статье П.Бутийе: Boutiller P. Un historien du XVI siècle Estienne Pasquier// Bibliothèque d' humanisme et Renaissance. 1945 № 3. Д.Тикет рассматривала творчество и деятельность Э.Пакье в связи с формированием идей веротерпимости у политиков: Thicket D. Estienne Pasquier and his part in the struggle for tolerance// Aspects de la propagande religieuse. Genève, 1957.

[2] Важнейшим его сочинением являются «Изыскания о Франции», над которыми он работал всю жизнь. Первое издание вышло в 1561 г. и было посвящено кардиналу Лотарингскому, последнее (подготовленное самим автором) в 1621 г. Использовано издание: Pasquier E. Les recherches de la France. P. 1643. Далее ссылки на это сочинение даны в тексте в скобках. Кроме того, Пакье – автор ряда диалогов политического и морализирующего характера, двух сборников стихов: Le Pour-Parler du Prince (1560), Le Pour-Parler de la Loy. Le Pour-Parler d'Alexandre. Monophile (1554).

[3] Boutiller P. Op.cit. P.392.

[4] Pasquier E. Les lettres. P., 1619. V.I.L.I.Ep.I.P.3

[5] Он посвятил этой проблеме целую книгу: De naissance de la notre langue française populaire.

[6] Pasquier E. Les lettres historiques. Genève, 1966. P.306, 294

[7] Pasquier E. Les lettres. P., 1619. V.I.L.I.Ep.5.P.21

[8] Ibid. V.I.L.I.Ep. 2. P.6-7

[9] Ibid. V.I.L. XII. Ep.5. P.816

[10] Pasquier E. Le Pour-Parler du Prince// Pasquier E. Les recherches de la France. P.1643. P.998. Далее как: Pasquier E. Le Pour-Parler... P.

[11] Pasquier E. Les lettres...V.I.L.XII.Ep.5.P.816

[12] Ibid. V.I.L.VII.Ep.3.P.338

[13] Ibid. V.I.L.VII.Ep.5.P.82
[14] Pasquier E. Le Pour-Parler du Prince...P.998
[15] Ibid. P.885-996
[16] Ibid. P.999
[17] Pasquier E. Les lettres...V.II.L.XVII.Ep.3.P.353; V.I.L.XII.Ep.5.P.815
[18] Ibid. V.I.L.XII.Ep.65.Pp.807, 813
[19] Ibid. V.I.L.VII.Ep.4.P.344
[20] Ibid. V.II.L.XVII.Ep.3.P.353.
[21] Ibid. V.I.L.IV.Ep.15.P.224
[22] Ibid. V.II.L.XVII.Ep.3.P.353
[23] Pasquier E. Les lettres historiques... L.II.Ep.16.P.101
[24] Pasquier E. Les lettres... V.I.L.V.Ep.7.P.308
[25] Ibid. P.296.
[26] Пакье Э. Письмо 6, кн. X // Эльфонд И.Я. Политические учения эпохи Возрождения и Реформации (Франция). Саратов, 1991. С.26.
[27] Pasquier E. Les lettres... V.I.L.V.Ep.6.P.311
[28] Пакье Э. Письмо 6, кн.X // Там же. С.28.
[29] Pasquier E. Les lettres... V.II.L.XIII.Ep.3.P.58
[30] Pasquier E. Le catechisme des jésuits ou l'éxamen de leur doctrine. Villefranche, 1602. P.240r.
[31] Pasquier E. Les lettres... V.I.L.XII.Ep.8.P.822
[32] Pasquier E. Le catechisme des jésuits... Villefranche, 1602. P.232r-232v
[33] Пакье Э. Письмо 6, кн. X // Там же. С.30.

Т.В.СТРЫГИНА

ВЫСШЕЕ АРИСТОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ВО ФРАНЦИИ XVI В.:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ПРИДВОРНОМ В "ГЕПТАМЕРОНЕ" МАРГАРИТЫ ВАЛУА, КОРОЛЕВЫ НАВАРРСКОЙ

Несмотря на то, что "Гептамерон" Маргариты Наваррской является одним из наиболее значительных памятников французской ренессансной литературы, до сих пор ни отечественное, ни зарубежное литературоведение не уделяло должного внимания этому новеллистическому сборнику. Интересующая нас тема также не получила достаточного освещения в трудах литературоведов и историков.

XVI век во Франции часто называют веком Франциска I (годы правления 1515-1547), короля, создавшего блистательный двор по образцу небольших княжеских дворов в Италии. Кровопролитные войны на Апеннинах не принесли французам ничего, кроме открытия удивительного и изящного мира – искусства жить по-итальянски, основанного на высокой материальной и духовной культуре.

Полностью меняется атмосфера при дворе: его украшением становятся изысканные и рафинированные дамы, опорой – галантные и мужественные кавалеры Жизнь знати превращается в непрерывное театрализованное представление: маскарады, карнавалы, верховая езда, псовая и соколиная охота, музыка, поэзия, литературные кружки, светские игры в "суды чести", разнообразные пари, диспуты на этические, эстетические и философские темы. В центре этого бурного потока – Маргарита Наваррская (1492-1549), очаровательная женщина, эрудированная собеседница, умный и тонкий политик и, наконец, одаренная писательница.

Воспоминания и размышления уже зрелой Маргариты об эпохе царствования Франциска I предстают перед нами на страницах ее главной книги – "Гептамерона" (1540-1549) – важного ли-

тературного документа эпохи раннего Возрождения во Франции. Пусть остаются в тени исторические и политические события, пусть не всегда ясно определен географический топос и завуалированы имена, но сквозь художественную ткань произведения просматриваются черты материальной, социальной и нравственной жизни высшего света XVI века во Франции.

Королева пишет о тех, кого знает, и о том, что знает. Ее рассказчики из обрамляющей новеллы, как и большинство героев новелл, судя по образу мыслей и по манере их высказывать, по привычкам и вкусам, принадлежат к кругу Маргариты-королевы, кругу избранному и узкому. Тема ее новеллистического сборника – любовь, регламентированная и изощренная "метафизика" которой волновала придворное общество. Однако, несмотря на "узость" художественного мира "Гептамерона", мы можем составить представление и об идеальных устремлениях аристократии XVI века, и о характерном для того времени типе придворного.

Таким образом, "Гептамерон" дает материал и для понимания идеалов той эпохи, и для понимания реальности XVI века. В сборнике сталкиваются, борются и сосуществуют две точки зрения на придворного: таким, каким он должен быть, то есть идеализированный образ, и таким, каким он был, то есть реальный тип XVI века. Описывая узкий корпоративный класс, королева невольно, являясь представителем своей эпохи, раскрывает и два взгляда на природу человека в целом. С одной стороны, это – стремление к совершенству, возвышенным чувствам и мыслям, к познанию Бога, к благородным и добродетельным поступкам. С другой, подчинение грубым природным инстинктам, преклонение перед земными удовольствиями и наслаждениями, стремление достичь их любой ценой. Этот двойственный взгляд Маргариты подчинил себе художественную структуру "Гептамерона".

В "Гептамероне" противостоят, переплетаются и существуют параллельно и одновременно два художественных универсума. Первый, отражающий реальность и реальные человеческие отношения, дан в оживленных диспутах рассказчиков. Второй, идеальный, создается или в новеллах, или в умозрительных построениях отдельных дам и кавалеров. Естественно, что каждый из десяти рассказчиков по своим взглядам оказывается ближе тому или иному универсуму. Однако, если шесть человек из десяти находятся в неком "пограничном" состоянии и могут по своим взглядам быть отнесены и к универсуму реальному, и к универсуму идеальному, то четверо – Дагусен и Парламанта, Иркан и Сафредан – четко выражают своими взглядами нормы, законы и представления этих универсумов. Дагусен и Парламан-

та отстаивают возвышенные и идеализированные установки своего века, то есть связаны по своему мировоззрению с идеальным универсумом. Иркан и Сафредан, напротив, являют собой тип трезвых реалистов и практиков, видящих и принимающих мир и человека такими, каковы они есть, то есть их взгляд на мир связан с универсумом, отражающим реальную действительность XVI века.

Идеальный универсум "Гептамерона" строится на основе многовекового культурного наследия античности и средневековья. С одной стороны, это переосмысленный Марсилио Фичино античный неоплатонизм, с другой, – средневековые концепции любви. Опираясь на предшественников и многое "модернизируя" в них в соответствии с представлениями своей эпохи, Маргарита через реплики и рассуждения, а также новеллы Парламанты и Дагусена создает образ идеального кавалера-придворного и образ идеальных отношений между ним и его дамой. Для Маргариты идеальный придворный прежде всего – идеальный возлюбленный, что объясняется тематикой новеллистического сборника. Королева оценивает, насколько придворный идеален, по тому, насколько его любовь соответствует представлениям об "истинной" любви: "Настоящая, совершенная любовь ... приходит тогда, когда влюбленные ищут друг в друге совершенства, будь то красота, добронравие или искренность в обхождении, когда любовь стремится к добродетели и когда сердце столь благородно и столь высоко, что они готовы скорее умереть, чем дать волю низменным побуждениям, несовместимым ни с совестью, ни с честью"[1]. Таким образом, "истинная" любовь в "Гептамероне" предстает как сплав "утонченной" любви трубадуров и возвышенной, даже аскетической любви, восходящей к идеям неоплатонизма.

Как было указано выше, два рассказчика – Дагусен и Парламанта – отстаивают в "Гептамероне" концепцию "истинной" любви. Дагусен, кроме того, не просто теоретически защищает свои убеждения, но и следует им на практике, тем самым представляя собой образец идеального влюбленного, и, таким образом, идеального кавалера-придворного.

Взгляд Дагусена на взаимоотношения мужчины и женщины – переосмысление доктрины "утонченной" любви трубадуров в духе неоплатонизма Марсилио Фичино. С его точки зрения, влюбленный должен быть скромным, смиренным, обходительным, уметь ухаживать за дамами и, уважая всех женщин, хранить в тайне имя единственной и свою любовь к ней. Он должен быть верным и бескорыстным. Это любовь – болезнь, любовь

под знаком смерти. Это – любовь-очищение, возвышающая и облагораживающая влюбленного. Это – любовь-поклонение, ставящая любимую женщину, как и любовь к ней, на недосягаемую высоту. Эта любовь не знает взаимности, ибо должна оставаться тайной: "если открыть любовь, то она станет менее совершенной"[2]. Эта любовь – страдание, приносящее, тем не менее, наслаждение. Однако, и Дагусен, и Парламанта отвергают адюльтер. "Истинная" любовь может существовать вне брака, но это – любовь двух душ, двух сердец, исключающая физическое обладание. Идеальный влюбленный, согласно Дагусену, должен не только обладать необходимыми врожденными достоинствами (благородное происхождение само собой разумеется), но постоянно их совершенствовать, чтобы быть достойным предмета своей любви. Идеальный кавалер должен иметь все рыцарские качества, такие, как смелость, отвага, великодушие, умение постоять и за себя, и за свою любовь.

Парламанта, будучи единомышленницей Дагусена, ставит необходимым условием идеальности влюбленного веру в Бога и в человека, в частности, в женщину, как в отблеск божественной природы, воли и любви. В ее рассуждениях сквозит некая амбивалентность: то героиня, за которой легко угадывается автор, проповедует чистую аскетическую любовь двух душ, то, склоняясь к неоплатонизму Марсилио Фичино, видит в естественной любви отблеск благословения Бога. Устами Парламанты королева ставит ультиматум: "или не любите нас вовсе, или любите истинной любовью"[3].

Идеальный кавалер Маргариты Наваррской должен не только следовать кодексу "искусства любить" и соблюдать разработанное веками "искусство жить", то есть быть "куртуазным", но и согласовывать свой нравственный облик с общечеловеческими принципами, основанными на откровениях Священного Писания.

Дагусену и Парламанте противостоят Иркан и Сафредан, представляющие у Маргариты Наваррской реальный тип придворного и мужчины XVI века. В человеке XVI века перемешались грубые природные инстинкты, которые, как указывал Л.Февр, были феноменом "больше коллективной психологии, нежели индивидуальной"[4], средневековые представления о рыцаре, веяния нарождающейся эпохи и истинная глубокая религиозность. Таким образом, человек XVI века впадал в крайности. Иногда он давал волю глубинным инстинктам, что объясняло его склонность к силовым способам разрешения всех проблем. В то же время над ним довлел авторитет рыцарского, "куртуазного" и любовного кодекса, что вело к соблюдению внешних приличий и

этикета и что сдерживало животную природу человека. Однако, все вышеперечисленное человек XVI века относил в разряд условностей, которые теоретически воспринимал с пониманием, но практически пользовался ими лишь в узко сословном кругу. Не были чужды ему и простые земные радости и наслаждения, прославляющиеся в эпоху Возрождения, а также ловкость и находчивость, необходимые, чтобы скрывать свои мелкие и крупные прегрешения. И, наконец, предаваясь всевозможным удовольствиям, лицемеря и греша, человек XVI века искренно каялся перед Богом.

Придворный XVI века если не воевал, то большую часть времени посвящал охоте. Женщина и любовь к женщине, тем более, высокая платоническая любовь, не играли большой роли в жизни мужчины того времени.

Придворный XVI века вел внешне активную жизнь. Он воевал, участвовал в поединках и турнирах, постоянно испытывая колоссальные физические нагрузки. Если его лишали этих маленьких радостей, он тосковал, скучал и впадал в уныние. Внешне насыщенная жизнь при дворе подменяла собой жизнь внутреннюю, мешала развиваться человеку как личности, имеющей богатый духовный мир. Для осознания и выражения чувств не было времени, они мельчали, эмоции вызывались лишь реалиями окружающего мира. Именно поэтому посредственность придворных вела к посредственности во взаимоотношениях мужчины и женщины и к посредственности в любви.

Официально в XVI веке адюльтер отвергался, реально – он был узаконен. Официально – браки свершались на небесах, реально – было дурным тоном говорить о любви в браке. Любовь и брак в XVI веке в высшем сословии две вещи несовместимые. Напомним, что брак совершался по расчету: политическому, экономическому или династическому. В браке думали не о любви, а о долге перед семьей и родом, о будущих наследниках, о возвеличивании и укреплении своей фамилии. В браке нет и речи о женщине-повелительнице, которая дарует или лишает своих милостей. В браке нет обожаемой женщины. В браке есть мужчина-повелитель, чьи приказы и желания выполняет жена, лишенная права голоса и собственной воли. Таким образом, разрушается идеальный союз земного и небесного, телесного и духовного, который отстаивают Дагусен и Парламанта.

В реальности любовь существует вне брака и параллельно с ним, но это не возвышенная любовь, а любовь приравненная к сексу. В придворном обществе XVI века еще считалось необходимым скрывать внебрачные связи, используя дам-"ширм". При-

дворные были согласны соблюдать внешние приличия поведения и политес по отношению к дамам на людях, прекрасно осознавая условность этой игры. В "Гептамероне" Сафредан говорит: "Когда возлюбленные наши наподобие судей сидят в какой-либо гостиной или зале, мы преклоняем перед ними наши колена, мы боязливо приглашаем их на танцы, бережно ухаживаем за ними, мы стараемся предвосхитить каждое их желание, мы так боимся чем-либо их огорчить и так хотим всем, чем можем, служить им, что те, кто видит нас со стороны, преисполняются жалости к нам и нередко считают, что мы совсем обезумели и себя не помним и воздают должное нашим дамам, которые выглядят такими смелыми и с таким достоинством разговаривают с нами, что одним видом своим внушают мужчинам страх, почтение и любовь. Но стоит нам остаться с ними наедине, когда все решает только любовь, как мы видим, что они – женщины, мы – мужчины. И тогда возлюбленная – подруга, а кавалер – друг"[5].

Если, как было указано выше, Дагусен являет собой пример идеального придворного, то Иркан и Сафредан – реальные типы времени правления Франциска I. Они относятся к жизни потребительски, ожидая от нее только наслаждений, по их разумению, дарованных самим Богом. Они высмеивают взгляды Дагусена и Парламанты: "...может ли быть что-нибудь добродетельнее любви, ведь любить нам велит сам господь бог. И ...уж лучше любить одну женщину, чем поклоняться нескольким иконам"[6]. Любовь для Иркана и Сафредана – удовлетворение чисто плотских инстинктов. Они не стесняются говорить о своих интрижках. Им непонятно, как можно преклоняться перед женщиной: "...не надо бояться женщин, надо внушать им страх"[7]. Выше их понимания и смерть от любви: абсурдно умирать от любви, если ею можно наслаждаться. Иркан и Сафредан – циники. Все женщины для них одинаковы. Они – существа изначально порочные и тщеславные. Существа, которые прикрываются честью и добродетелью, но которые не в силах устоять перед соблазнами. Иркан и Сафредан дают классификацию женщин: одних можно купить, главное назвать нужную цену, других можно обмануть и обворожить напускной "куртуазностью", с третьими достаточно лицемерить. Если же не помогает ни одно из этих средств, надо прибегать к насилию, чтобы не пострадали мужское самолюбие и доблесть, которая еще не имела морального аспекта, а рассматривалась как атрибут воина, соприкасаясь с напористостью, презрением к опасности и т.д.

Образы Иркана и Сафредана лишены совершенной законченности и целостности образа идеального придворного-кава-

лера. Они ярко отражают противоречивую натуру человека XVI века: начиная день с чтения Священного Писания и молитв, позже они с наслаждением повествуют о скандальных историях; отказывая всем женщинам в добродетели и постоянстве, они желают видеть эти качества у своих жен и т.д.

В реальности мир распадался на мир мужчин и мир женщин. В мире мужчин существовал и прославлялся приоритет принципа действия, достижения цели, для которого все средства хороши. В мире мужчин женщины должны были молчать и выполнять приказы. В мире женщин царили куртуазия и ее идеалы, с помощью которых они старались укротить и приручить мужчин, если не установить, то создать видимость порядка и регламентировать взаимоотношения мужчины и женщины. Оставляя право за отцами церкви и дамами отстаивать высокие нравственные идеалы и создавать искусственный совершенный мир, основанный на них, в реальности придворный XVI века являл собой тип праздного гедониста, живущего в свое удовольствие.

Таким образом, универсум, отражающий реальную действительность, разрушает идеальный универсум "Гептамерона", в котором Маргарита Наваррская пыталась создать модель идеализированного придворного, чей образ складывался из "искусства любить", опирающегося на переработанную в духе неоплатонизма Марсилио Фичино доктрину трубадуров, и "искусства жить", проповедующего религиозные добродетели и следование им. Однако, жизнь оказывается шире и многообразнее самых совершенных концепций, и реальный придворный, как правило, далек от идеальной модели.

---

[1] Маргарита Наваррская, Гептамерон. Л.: Наука, 1967. С.134

[2] Маргарита Наваррская. С.47

[3] Маргарита Наваррская. С. 154

[4] Febvre L. Amour sacré, amour profane: Autour de l'Héptameron. P.: Gallimard, 1971. P. 271.

[5] Маргарита Наваррская. С. 11

[6] Маргарита Наваррская. С. 87.

[7] Маргарита Наваррская. С. 47

КАРЬЕРЫ И СУДЬБЫ

Т. П. ГУСАРОВА

ПУТЬ НАВЕРХ: СУДЬБА ВЕНГЕРСКОГО ДВОРЯНИНА В XVI ВЕКЕ

Родовое имя Тёкёли пользовалось в Венгрии XVII века известностью и имело большой общественный вес: крупнейшие землевладельцы, обладатели огромного состояния, аристократы из первой десятки венгерской знати, графы, наследственные ишпаны. Самую громкую славу (или позор, по мнению многих современников) семье принес Имре, который в 70-е годы XVII века возглавил антигабсбургское восстание, провозгласил себя князем Венгрии и на короткое время занял трансильванский престол. Дипломатическая переписка и другие документы той эпохи, сохранившиеся в венских и будапештских архивах, пестрят упоминаниями об этом человеке.

Чтобы подняться на такие высоты, уверенно чувствовать себя там и быть признанным среди первых, по тем временам была нужна по крайней мере хорошая и давняя родословная. Между тем аристократический род Тёкёли не был ни древним, ни благородным по происхождению. К тому времени, когда Имре Тёкёли занимал помыслы венгров и нервировал венский двор, его род мог отмечать лишь столетие получения дворянства. Ведь еще прадед Имре – Шебештьен Тёкёли, основатель рода – перегонял скотину из Дебрецена в Вену. Но уже он, Шебештьен Тёкёли, кого жители купленных им местечек презрительно называли маклаком и барышником, смог подняться на вершину величия. В 1606 году, за год до своей смерти, уже будучи бароном, он поставил свою подпись под условиями судьбоносного для венгров Венского мира, подытожившего первый этап антигабсбургских выступлений в Венгрии.

Кто же был этот Шебештьен Тёкёли? Каким образом он смог так быстро выдвинуться в первый ряд феодальной элиты? Следует ли рассматривать его случай как исключительный? Или подобная судьба выпадала многим его современникам?

Процесс аноблирования, принявший массовые масштабы в Европе в XVI-XVII веках, не обошел стороной и Венгрию. В конце XVI-XVII веке венгерское дворянство стало более многочисленным, чем в первой половине XVI века[1]. В своем большинстве оно было представлено титулярным дворянством (армалистами), которое заняло место старого домохачского поместного дворянства, сильно поредевшего в ходе войн с турками. Среди армалистов оказалось много бывших поместных или куриальных дворян, утративших в пожаре войн не только свои земли, но и документы, подтверждавшие их дворянство. Они могли снова получить дворянство, но уже без земли.

Дворянские привилегии, в число которых входили личная свобода и неприкосновенность, подвластность королевскому суду и освобождение от уплаты налогов и пошлин, право владеть землей, занимать должности и т.д., привлекали и простолюдинов. Их стремились получить как горожане, так и крестьяне, а также жители частномагнатских торговых местечек, приравнивавшиеся по статусу к крестьянам. Для последних дворянская грамота означала в первую очередь освобождение от статуса личной зависимости.

Возможности для аноблирования предоставляли вступление в королевскую армию, военная или гражданская служба в качестве фамилиария какого-нибудь могущественного магната. Образованность, в первую очередь, знание латинского языка, основ нотариального дела и юриспруденции, высоко ценившиеся в обществе, где остро испытывался недостаток элементарно грамотных людей, также открывали перед их обладателями перспективы аноблирования. Однако далеко не часто встречались в Венгрии такие выходцы из народа, которые приобретали дворянство благодаря предпринимательству. И уж мало кому из таких "новых" дворян удавалось подняться на высшие ступени общественной лестницы. Именно так началось и увенчалось редким блестящим успехом возвышение Шебештьена Тёкёли[2].

* * *

Шебештьен Тёкёли сколотил свой начальный капитал, занимаясь торговлей: в первую очередь, он продавал в Австрию, Моравию и Германию живой скот, перегоняя его из Трансильвании и венгерской глубинки.

В 1569 году Тёкёли упоминается в источниках как житель Надьсомбата (Совр. Трнава в Словакии)[3]. Он поселился в этом городе незадолго до упомянутой выше даты, и выбрал его, по всей видимости, не случайно. Надьсомбат в то время являлся

крупнейшим торговым центром, расположенным вблизи австрийской границы на пути из Венгрии в Западную Европу. В то время, как в условиях чрезвычайно благоприятной рыночной конъюнктуры во второй половине XVI века на западных рынках резко возрос спрос на венгерский скот, Надьсомбат держал в своих руках половину экспортной торговли этим товаром. Именно в то время, когда Тёкёли сменил свое местожительство, надьсомбатцы добивались от австрийского правительства разрешения вести беспошлинную торговлю и получили это право в 1573 году[4].

Не ясно, где проживал Тёкёли до того, как стал жителем Надьсомьбата. В документах 60-х гг. о нем упоминается как о торговце то из Дебрецена, то из Тура[5]. Ясно одно: его семья жила или на занятых турками венгерских землях, или где-то вблизи турецкой границы. Во всяком случае сам он в одном из прошений, поданном на имя Рудольфа II в 1578 г., упоминает о том, что ему пришлось перевезти из-за турецкой границы своих старых больных родителей, бросив при этом все имущество[6].

В 60-70 гг. имя Шебештьена Тёкёли было широко известно и пользовалось большим авторитетом в деловых кругах от Вены до Трансильвании. Он сам или через своих агентов закупал в Трансильвании или подвластных туркам венгерских землях быков и коров, переправлял их в Вену, где продавал австрийским и немецким купцам. В Вене Тёкёли грузил на суда или телеги купленные в Вене ремесленные товары, и отправлял их по Дунаю или по суше в Венгрию и Трансильванию. Богатейшие венские купцы предоставляли ему кредиты, покупали его товар, при необходимости поручительствовали за него. Многие венгерские купцы торговали на его деньги или от его имени[7]. Подписи Тёкёли доверяли так, как если бы он платил наличными.

Такие люди, как Тёкёли, были полезны и опасны для австрийцев. Именно на них держалось восточное направление торговли подвластных Габсбургам земель. Дело в том, что австрийские купцы боялись идти в Венгрию и Трансильванию, не говоря уже о турецких землях. Турецких же купцов (ими могли быть и евреи, и греки, и армяне, и османы) не пускали в габсбургские владения, опасаясь их как шпионов. Таким образом, венгерские торговцы были посредниками в этой торговле, чрезвычайно важной как для австрийских и немецких купцов, так и для самой австрийской казны. Так, ни контрабандная торговля и уклонение от уплаты таможенных пошлин (в чем обвинили и за что арестовали Шебештьена Тёкёли в 1569 году в Вене)[8], ни подозрение в том, что он занимается шпионажем в пользу турок (на основании

чего сам Тёкёли и его товары подверглись аресту в Вене в 1575 году)[9] не привели к ликвидации предприятия Тёкёли и серьезному наказанию его самого. Несколько самых именитых венских купцов поручились за своего венгерского партнера, ходатайствуя об его освобождении из-под ареста. Они мотивировали необходимость отпустить Тёкёли на свободу тем, что он может потерять за время ареста кредит, а это в свою очередь принесет большие убытки здешним именитым купцам[10]. Более того, за Тёкёли вступились также Венгерское казначейство, венский бургомистр, члены городского совета, охарактеризовав его как уважаемого купца[11]. Официальные власти боялись того, что преследования отпугнут венгерских купцов, вынудят их прекратить торговлю, что принесет казне огромные убытки из-за пресечения торговых связей в восточном направлении.

Итак, в 70-е годы Шебештьен Тёкёли числился среди крупнейших венгерских торговцев. По налоговым описям Надьсомбата от 1579 года он был самым богатым человеком в городе, причем намного опережал своих сограждан[12]. Он неоднократно предоставлял займы Венгерскому казначейству. О размахе торговой и финансовой деятельности Тёкёли, о его состоянии может свидетельствовать и тот факт, что он субсидировал также и австрийскую казну и лично эрцгерцога Эрнста[13]. Сам Тёкёли намекал на эти услуги австрийскому дому в своем прошении на имя Рудольфа, поданном в ноябре 1578 года[14].

Принимая во внимание такие успехи предпринимательской деятельности Шебештьена Тёкёли в 60-е – 70-е гг., не приходится удивляться тому, что в 1572 году он получил дворянство для себя, своего сына Габора и брата Винце. Из безродного "торговца Шебештьена" он превращается в "благородного Шебештьена из Тёкёли" (nobilis et egregius Thökölhazai Thököly Sebestyén), приняв в качестве родового имени некую деревню Тёкёль, откуда, якобы вел свое начало этот род. Несколько лет спустя, обращаясь к королю, Шебештьен уже утверждал, что он дворянин по происхождению (von adelichen Eltern gedoren)[15], хотя в его армальной грамоте как дворянка была упомянута лишь мать[16].

Несомненно, помимо престижных соображений при достижении дворянства Шебештьен руководствовался выгодой: дворяне имели привилегию беспошлинной торговли. И хотя это право касалось только товаров, принадлежащих самому дворянину, или продуктов, произведенных на его землях, многие (в том числе и сам Тёкёли) злоупотребляли им, ибо на самом деле

таможенным службам было весьма затруднительно определить происхождение проходящих через таможню товаров.

Подведя базу под свое солидное состояние получением дворянства, этот предприимчивый человек не оставил своих выгодных занятий торговлей. Однако он нацеливается на большее и поэтому меняет тактику. Со второй половины 70-х гг. в торговых сделках Тёкёли все большее место стали занимать поставки пограничным гарнизонам продовольствия, сукна и т.п., а также займы казне на военные нужды, в частности, на выплату жалованья войскам. Шимон Форгач, капитан пограничной крепости Эршекуйвар (Нове Замки в совр. Словакии), в 1578 году писал королю о Тёкёли как об одном из "могущественных в торговых делах людей во внутренних землях королевства" и отмечал его заслуги в снабжении пограничных гарнизонов[17]. Рудольф II получил в это время много подобных отзывов о Тёкёли.

Другой важной особенностью торговой деятельности Тёкёли после приобретения им дворянского титула становится большая осторожность в торговле на занятых турками землях. Новый дворянин, состоятельный купец и банкир, имеющий депо с казной и венским двором, очень дорожит своей репутацией, поэтому старается очистить и оградить себя от всяких подозрений в связях с турками и тем более шпионаже в их пользу. Между тем об этом ходили упорные слухи. Граф Никлас Шальм, высокопоставленный военный чин, отвечая Его Величеству Рудольфу II в ноябре 1578 года на его запрос по поводу личности венгерского купца в связи с желанием последнего приобрести у Фуггеров крепость и поместье Вёрёшкё близ польской границы, советовал не доверять Шебештьену Тёкёли. Он сравнивал Тёкёли со скандально известным в то время, разоблаченным шпионом Яношем Тромбиташем, и, ссылаясь на достоверные источники, сообщал о доверительных отношениях Тёкёли с будайским пашой. Более того, граф Шальм был уверен в том, что Тёкёли под видом подручных торговцев держит целый штат шпионов. Далее Шальм обвинял Тёкёли во вредных для австрийского дома контактах с трансильванским воеводой Криштофом Батори, польским королем Стефаном Баторием (бывшим трансильванским князем). В качестве аргумента в этом серьезном обвинении выдвигалось то, что Тёкёли поддерживает тесные связи со многими венгерскими семьями в Трансильвании, а через них со многими землями[18]. Австрийский генерал даже высказывал предположение и о подозрительно внезапном, на его взгляд, появлении у этого человека, который еще вчера был "слугой торговца", огромной денежной суммы, достаточной для приобретения такого до-

рогого поместья с крепостью, как Вёрёшкё. Покупка, писал Шальм, оплачена теми же турками (или же Трансильванией, или Польшей) в виду стратегически важного положения крепости Вёрёшкё[19]. Таким образом, подвергались сомнению происхождение и самого Тёкёли, и его капиталов. В обществе о Тёкёли ходили слухи еще более фантастические, чем этот. Карой Вагнер, составивший в XVIII веке, историю Сепешского края, приводит дошедший до его времени рассказ о том, что Шебештьен Тёкёли составил свое состояние обманом. Он будто бы вошел в доверие к одному турецкому паше, пожелавшему тайно бежать на венгерскую территорию и там перейти в христианство. Перед побегом он передал на хранение Тёкёли свои сокровища. Коварный торговец предал пашу туркам, а сокровища оставил себе[20].

Тёкёли знал об этих обвинениях и категорически отвергал их в своих письменных обращениях к Рудольфу и различным высокопоставленным лицам. Напротив, он подчеркивал, что как купец с молодых лет разъезжает по турецким и венгерским землям, поэтому прекрасно изучил все дороги и переправы, те места, где обычно разбивают свои военные лагеря татары и турки, а также их "методы и особенности". Он полагал, что этими знаниями и опытом может быть более полезным Его Величеству и христианству, чем любой другой человек, услуги которого обходятся в миллионы, связаны с большей опасностью и требуют больше времени[21]. Возможно, тогда же Тёкёли, болезненно относившийся к своему дворянству, заказывает себе родословную, по которой его предок доблестно служил еще королю Матяшу. Это также должно было возвысить его в глазах двора[22].

Тем не менее Тёкёли сделал выводы из этих подозрений и прекратил лично выезжать в деловые поездки в Трансильванию через занятые турками земли. Об этом обстоятельстве он также сообщает королю, жалуясь при этом, что такой поворот дел принес ему колоссальные убытки, так как вынужден ограничить свою торговую деятельность только военными поставками на королевской территории[23]. Эти ламентации, безусловно, имели под собой почву. Однако Тёкёли явно преувеличивал, говоря, что прекратил торговые операции за пределами королевства. Известно, что в эти годы он поддерживал тесный деловой контакт с одним из самых известных венгерских купцов, торговавших на турецких землях и в Трансильвании, Иштваном Таром из Дебрецена. Их сделки с Венгерским казначейством оценивались в 10-30 тыс. форинтов[24]. Дела велись от имени Тара, но деньги всегда возвращались к Тёкёли.

Итак, крупное состояние было сколочено, база в виде дворянства под него подведена, связи с официальными кругами налажены. Но этого было мало для предприимчивого и дальновидного дельца. В то время, когда Тёкёли купил дворянство, так поступали и другие его соотечественники. Но таких дворян – армалистов, которые получали дворянскую грамоту с гербом без подтверждения королевским земельным пожалованием, как это делалось до второй четверти XVI века, появилось в послемохачской Венгрии довольно много. Они владели в лучшем случае одним или несколькими крестьянскими наделами или вовсе ничего не имели. Дворянское достоинство, давая привилегии, в то же время в известной мере обесценивалось из-за многочисленности бедных дворян. В Венгрии получило распространение даже коллективное дворянство, предоставлявшееся целым поселениям, отдельным социальным или профессиональным группам, как, например, протестантским проповедникам в Трансильвании или хайдукам в специально выделенных для них поселениях[25].

Тёкёли имел возможность пойти дальше, укрепляясь в новом дворянском статусе. Он поставил перед собой две цели: во-первых, строить выгодные родственные связи; во-вторых, во что бы то ни стало приобрести не просто дворянскую землю, а "родовое гнездо", достойное его богатства.

В 1578 году Тёкёли договорился с братьями Кристофом и Антоном Фуггерами о покупке у них за 100000 талеров крепости Вёрёшкё с прилегающими к ней поместьями и владениями. Однако Рудольф II не утвердил эту покупку. Именно тогда Тёкёли обрушил на короля и эрцгерцога Эрнста поток прошений и жалоб, стараясь все же добиться одобрения своей сделки. Бросается в глаза смелость Тёкёли в отстаивании своих прав перед королем. Он подчеркивает свои заслуги перед короной, настаивает на своей привилегии как дворянина в соответствии с законами и обычаями страны приобретать в королевстве поместья. Более того, Тёкёли без обиняков намекает на нарушение этих законов со стороны властей, разрешающих за деньги покупать поместья в Венгерском королевстве иностранцам: чехам, немцам, силезцам, полякам; и заявляет, что у него, несмотря на то, что он не принадлежит к числу могущественных, не меньше на то прав, в осуществлении которых ему никто не может воспрепятствовать[26]. В этих словах новоиспеченного дворянина уже проскальзывают настроения, характерные для венгерской элиты конца XVI - начала XVII века, крайне недовольной засилием в Венгрии поддерживаемых Габсбургами иностранцев.

Рудольф II в свою очередь запросил мнение разных людей о Тёкёли и получил самые противоречивые сведения как о происхождении, так и о деятельности венгерского "фуггера". В итоге король прислушался к мнению генерала Шальма и ему подобных и отклонил просьбу Тёкёли, однако туманно пообещав поспособствовать в приобретении любого другого владения[27].

Уже в 1578 году, добиваясь Вёрёшкё, Тёкёли упоминал в прошении к королю о том, что он собирается заключить аристократический брак в Венгрии, единственным препятствием для чего, по его словам, является отсутствие согласия короля утвердить покупку Вёпёшкё. Отказать ему, честному человеку в законном праве, несмотря на ходатайства венгерских советников, по мнению Тёкёли, равносильно тому, что "заживо похоронить его". Ведь это будет его стыдом и унижением до конца дней[28]. Эти заявления и жалобы Тёкёли ясно показывают, какое значение он придавал утверждению своих позиций в высшем свете.

В 1580 году, так и не получив Вёрёшкё, Тёкёли всё же обручился с Жужанной Доци, дочерью одного из крупнейших верхневенгерских магнатов. Благодаря этому союзу торговец скотом породнился с самыми аристократическими фамилиями Венгерского королевства: Надашди, Баттяни, Турзо, Ньяри и др.[29], в лице которых он приобретал весомую поддержку для своих начинаний перед королем и королевскими чиновниками в Вене и Венгрии.

Вскоре (в 1580 г.) Шебештьен Тёкёли предпринял новую попытку стать хозяином крупных владений. Теперь, по его собственным словам, ему было необходимо приличествующее высокому рангу его супруги, "родовое гнездо", где новому хозяину будет не стыдно принимать аристократическую родню. Он договорился о покупке несколько раз перезаложенного владения Кешмарк (крепости-замка, городка и большого поместья), а также соседней с Кешмарком крепости Шавник с ее владениями. Кешмарк, как и Вёрёшкё, находился в Сепеше, поблизости от польской границы. Получение разрешения на их приобретение стоило Тёкёли огромных усилий и средств и нескольких лет борьбы с короной, а также с хозяевами этих владений, то соглашавшимися, то отступавшими от сделки. Значительно дольше ему пришлось ломать сопротивление жителей местечка Кешмарк, категорически отказывавшихся признать нового хозяина.

В истории с покупкой Кешмарка Тёкёли снова пришлось доказывать "чистоту" своего происхождения, преданность короне, готовность идти ради нее на жертвы. Но в это время, после

удачной женитьбы, его общественное положение заметно укрепилось. У Тёкёли складываются блестящие связи внутри страны и при венском дворе. Среди его защитников и покровителей в деле о Кешмарке, обращавшихся с ходатайствами к Рудольфу, были архиепископ калочайский, епископы эгерский, веспремский, вацский[30]. В дело оказался замешан даже эрцгерцог Эрнст, пользовавшийся финансовыми услугами Тёкёли, и volens-nolens вынужденный занять его сторону. В одном из писем к царствующему брату в разгар споров о Кешмарке в 1581 году эрцгерцог пишет о том, что своими проволочками в решении дела Рудольф восстанавливает против себя и австрийского дома сторонников Тёкёли, которые воспользуются этим случаем, чтобы поднять шум на ближайшем государственном собрании. Кроме того, эрцгерцог, рассчитывая на передачу в его руки управления Венгрией, небезосновательно боялся того, что этот скандал нанесет большой вред его личному авторитету среди венгерских сословий[31]. Опасения Вены еще раз подчеркивают общественный вес Тёкёли в политических кругах Венгрии.

Как и в истории с Вёрёшкё, позицию Вены в последнем случае определяла стратегическая важность Кешмарка. Рудольф предпочитал, чтобы граничащая с Польшей крепость оставалась в руках немецкого генерала Руэбера, каковой был последним владельцем крепости и принадлежащих ей поместий. Именно он купил в залог эти владения у разорившегося венгерского аристократа Альберта Ласки. И уже этот залог перекупил предприимчивый Тёкёли, справедливо полагавший, что ни легкомысленный Ласки, ни, напротив, серьезный, но обремененный неразрешимими проблемами снабжения кешмаркского гарнизона боевой генерал, в положенный срок не внесут стоимость заложенного имущества. Но в то время, как с Ласки Тёкёли на первых порах еще как-то мог договориться, откупившись от его требований большей, чем требовалось, суммой, то с Руэбером, за спиной которого стоял венский двор с его боязнью венгерской аристократии, дело обстояло значительно сложнее.

Эрцгерцог Эрнст предлагал брату поступить мудро, удовлетворив обе стороны, а именно: заплатить долг Руэбера в части, касающейся самой крепости Кешмарк, а поместья оставить за Тёкёли. Однако Тёкёли такое решение не удовлетворяло. Он добивался в первую очередь именно крепости-замка. Более того, Шебештьен именно там задумал справить долгожданную свадьбу. Однако когда осенью 1582 года он с невестой, ее родовитой родней и именитыми гостями прибыл в Кешмарк, то крепость оказалась захваченной Руэбером и его людьми. Тёкёли с

гостями пришлось расположиться в ратуше местечка Кешмарк и там же отпраздновать свадьбу. Поскольку Руэбер не собирался покидать захваченную силой крепость, Тёкёли с молодой женой после некоторого ожидания пришлось удалиться в Шавник[32].

После этого инцидента оскорбленный и возмущенный Тёкёли обратился к Рудольфу с резким письмом, позволяя себе такие тон и выражения, которые не только шокировали привычный к чопорному испанскому этикету венский двор, но казались вообще малопозволительными в обращении подданного к монарху. Этот мужлан из "новых венгров" писал своему королю: "...Мое дело правое, и тем не менее я не слышу ответа на него..." "...Прошу Ваше Величество милостиво принять во внимание мое долготерпение и мои многочисленные услуги и пользу королевской казны... Не думаю, чтобы я совершил какое-нибудь преступление против родины или Вашего Величества, из-за которого я должен лишиться своего имущества и терпеть несправедливость. Если я не получу свои владения, пусть мне вернут деньги. И хотя мне не в радость, но я буду искать и найду такое место, которое подходит мне и достойно меня. Моя жена происходит из старой знатной семьи, и ей не пристало, чтобы я возил ее с места на место и селил в чужих домах. Мне нужен такой очаг, который я мог бы назвать своим. И если я не найду такого во владениях Вашего Величества, то буду вынужден искать его в других краях. ...Большое неуважение по отношению ко мне вынудило меня говорить от сердца. Я не могу скрывать: если меня не услышат, я буду вынужден обо всё открыто рассказать сословиям на ближайшем государственном собрании..."[33]. Таким образом, опасения эрцгерцога Эрнста в связи с возможным обращением Тёкёли к государственному собранию не были напрасными.

Бросается в глаза уверенность в себе, высокая самооценка и самосознание этого вчерашнего безродного торговца. Несколько позже он искренне или притворно смиряется с потерей Кешмарка, но снова просит у короля взамен Вёрёшкё. При этом он самонадеянно заявляет, что если король пойдет навстречу этой просьбе, то он, Тёкёли будет сопровождать Рудольфа на государственное собрание, чтобы "усилить блеск двора своими хорошо снаряженными слугами"[34]. С типичной для нувориша психологией Тёкёли мечтал о том, как он выступит в сиянии и блеске своего богатства среди сильных мира сего.

В конце концов Тёкёли получил Кешмарк в 1584 году, что по времени совпало со смертью Руэбера. Гражданин Надьсомбата, купец, распространил свою власть, власть феодального сеньора, на город Кешмарк, который потерял статус свободного

королевского и превратился в частнофеодальный. Население города было обложено податями и повинностями и подчинено суду и администрации нового хозяина. Горожане не могли смириться ни с потерей свободы, ни с новым хозяином. Они начали борьбу с Тёкёли, соединив свои силы с возобновившим свои притязания на Кешмарк Альбертом Ласки. Город трижды поднимался против Тёкёли и трижды проигрывал. На горожан был наложен большой штраф, их заставили сдать оружие, повиниться перед Тёкёли и признать его власть, присягнув на верность. Власти на сей раз поддержали нового хозяина, однако без всякой симпатии к нему. Капитан Кашши (совр.Кошице) Ногаролли, который привел войска для подавления восстания, отпустил Ласки, а в Вену послал сообщение с весьма нелестным отзывом о Тёкёли: он очень деспотичный и спесивый человек, слишком много мнит о себе, бесчинный самодур, которого повсеместно ненавидят как в городе, так и за его пределами, в то время как Ласки обожают[35]. На самом деле, кешмаркцы терпеть не могли своего нового сеньора и немилосердно злословили о нем. Рассказывают, когда в 1591 году у Тёкёли родился сын и он отметил это событие пушечным салютом, будто бы один из горожан заметил: "Родился спаситель". На это замечание последовал ответ его собеседника: "Так оно и есть. Только отец спасителя дьявол"[36].

Так начинает Шебештьен Тёкёли новую страницу своей жизни, уже как сеньор. Подчиняя своей власти Кешмарк, лишая его население былых свобод, он уже забыл, что совсем недавно сам был горожанином и мог почувствовать на себе тяготы сословного неравноправия. Вскоре Тёкёли стал крупнейшим земельным собственником Верхней Венгрии. Однако до конца жизни он не оставляет торговли. Во время 15-летней войны (1596-1607) он стал поставщиком королевской армии и, можно предполагать, действовал не в ущерб себе, активно используя дворянскую привилегию беспошлинной торговли в условиях растущего экспорта и нужд армии, торгуя вином, зерном, скотом и т.д.

Шебештьен Тёкёли был, несомненно, чрезвычайно одаренным человеком. Он проявил свои таланты не только в сфере торговли и финансов, но также в политической и военной области. Он неоднократно выбирался депутатом государственного собрания и активно работал в разных его комиссиях. Во время 15-летней войны он сражался в составе императорских войск уже во главе собственного отряда и отличился в 1598 году в битве под Дьёром. Право иметь бандерии являлось привилегией лишь высшей аристократии. Но Шебештьен Тёкёли достиг

уже и этого. Грамотой, датированной 20 августа 1593 года, Рудольф II возводит его в бароны за заслуги перед королем и отечеством[37]. Важно отметить, что Тёкёли получил баронство до того, как геройски отличился на войне. Сыграли роль его военные поставки, займы двору и – не в последнюю очередь – его родственные связи. О большем уже, наверное, нельзя было и мечтать: в течение одного поколения подняться из самых низов в ряды высшей знати.

* * *

В Венгрии принадлежность к высшей светской аристократии определялась обладанием баронского титула. В отличие от дворян бароны получали от короля личное приглашение на государственное собрание. Число венгерских баронов на протяжении XV-XVII столетий мало менялось, составляя в 1583 году 49, а в 1608 – 54 человека[38]. Среди равных по статусу баронов различались бароны по титулу и по должности, то есть, те, которые, обладая титулом, занимали высокие государственные должности. Тёкёли располагал лишь титулом, но уже его сын – Иштван – и должностью.

Как уже говорилось, расчет Тёкёли на то, что, породнившись со знатью, он облегчит свое продвижение наверх, оказался правильным. Позиция Тёкёли объяснима. Но почему аристократическое семейство Надьлучеи Доци, находившееся в то время в зените могущества, согласилось на этот мезальянс и выдало 15-летнюю дочь за 40-летнего, пусть богатого, но все же, судя по всему, грубого и неотесанного, незнатного скототорговца с сомнительной репутацией? Очевидно, деньги и деловые качества заменили Шебештьену родовитость и воспитание. По-видимому, это вполне устраивало Доци, которые сами в недавнем прошлом приобрели не только баронство, но и дворянство, поднявшись наверх, подобно Тёкёли, из городского сословия. Что же касается торговой деятельности зятя, то она также не отталкивала Доци. В XVI-XVII веке, не только венгерское дворянство, но и аристократия (например, Зрини, Ракоци, Эстерхази, Баттяни), в условиях растущего экспорта и нужд армии не гнушались этих занятий и использовали себе во благо дворянские привилегии беспошлинной торговли[39].

Судьба Тёкёли показательна и с точки зрения его взаимоотношений с королевской властью. Несмотря на благосклонность двора, трения с ним все же имели место, и по мере своего возвышения Шебештьен позволял себе открыто выражать свое мнение. В трусости его нельзя уличить даже на первых шагах его карьеры. Помимо уже известных историй, связанных с при-

обретений поместий, в этой связи уместно вспомнить и общественную активность Тёкёли в Надьсомбате. В 1576 году он был делегирован своим городом к королю в Вену для улаживания религиозного конфликта. Протестанты города добивались отмены запрета держать в Надьсомбате лютеранского проповедника. Тёкёли отказался подчиниться решению канцлера, предполагая, что оно было принято без ведома Его Величества[40]. На протяжении всей жизни Шебештьен оставался убежденным, причем весьма "левым" лютеранином, и передал свою приверженность протестантизму потомкам. Тёкёли – одна из немногих магнатских семей, остававшаяся в лоне лютеранства в течение всего XVII века. Религиозная политика Габсбургов, к концу XVI века отказавшихся от лояльности по отношению к протестантам, которая отличала Максимилиана II, породила среди венгерских подданных глубокое неудовольствие. Среди таких недовольных оказался и барон Тёкёли.

Другой причиной неудовлетворенности Шебештьена Тёкёли – как многих других представителей венгерских сословий – была неспособность Габсбургов противостоять натиску турок и защитить страну от турок. Со всей очевидностью это проявилось в 15-летнюю войну, в которой отличился Тёкёли. Он показал себя незаурядным стратегом, обратившись к Рудольфу с планом антитурецкой военной кампании. Однако его голос не был услышан. Надежды венгров на победоносную войну с турками не оправдались.

Все это привело новоявленного барона, наверное, еще не забывшего старые обиды, под знамена Иштвана Бочкаи, поднявшего в 1604 году первое антигабсбургское движение в Венгрии и Трансильвании. В отличие от проводившего от имени Бочкаи переговоры с Габсбургами Иштвана Иллешхази Тёкёли занимал более решительную позицию, особенно в религиозных вопросах, что отвечало интересам большей части венгерского протестантского дворянства. Поэтому венгерские сословия включили его в состав возглавляемой Иллешхази венгерской делегации, отправившейся в Вену для подписания условий мирного договора. Так под условиями Венского мира, надолго определившего характер взаимоотношений между Габсбургами и венгерскими сословиями, появилась подпись Шебештьена Тёкёли, барона, вчерашнего скототорговца.

Итак, исключительность самого Шебештьена Тёкёли несомненна. Но исключительна ли ситуация, в которой он оказался? Пожалуй, нет. В XVI веке, когда после мохачской катастрофы осталось мало представителей старой знати, шло ее пополне-

ние из других общественных слоев. На короткий период общество стало довольно мобильным. И именно во второй половине XVI века, когда династия Габсбургов еще только утверждалась на венгерском троне, да еще при перманентном наступлении турок, на какое-то время невозможное стало возможным. На вершину социальной пирамиды поднялись выходцы из городских и даже крестьянских семей. Их было 5 (из 50) в XVI веке: Турзо, Эрдеди, Доци, Листи и, наконец, Тёкёли. Процесс аноблирования продолжался. Множилось число армалистов. В XVII веке возможность возвышения из непривилегированных сословий существовала – но лишь в пределах дворянского сословия. Пополнение же аристократии шло исключительно за счет старого дворянства.

---

[1] См.об этом: Maksay F. "A sok nemes országa". // Mályusz Elemér emlékkönyv./Szerk.H. Balázs É., Fügedi E., Maksay F. Budapest (Далее – Bp.), 1984. 292-294.old

[2] Я глубоко признательна генеральному директору Венгерского Национального Архива д-ру Лайошу Гечени за любезно предоставленные мне ксерокопии документов из австрийских архивов, касающихся истории Шебештьена Тёкёли.

[3] Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA) Finanz- und Hofkammerarchiv (FHKA) Gedenkbücher (GB) Bd. 336. fol. 44r.

[4] Gecsényi L. Bécs és a hódoltság kereskedelmi összeköttesei a 16. században.//Századok. 129.évf. 1995.4.szám.777.old.

[5] Debrecen város magistrátusának jegyzökönyvei 1568/69. Szerk. Rácz l. Debrecen.1988.58. old.297/3 reg. Уже в 1548-49 гг. некий Шебештьен Тёкёли вместе с несколькими другими известными венгерскими торговцами из захваченных турками венгерских земель проходил в Вене по скандальному делу Эдласперга, связанному с контрабандной торговлей скотом и взятничеством таможенных чиновников. Не исключено, что это был герой моего очерка (Gecsényi L. Az Edlasperg-ügy. A magyar kereskedök bécsi kapcsolatai a 16. század elsö felében// Történelmi Szemle (TSz). XXXV. évf. 1993.3-4.sz.289-293.old.).

[6] HHStA Hungarica (Hung.) Fasc.112. Conv.C (Bibersburg) fol.24r, 26r.

[7] Zimányi V. Adalékok Thököly Sebestyén partnerei kereskedelmi tevékenységének történetéhez//Agrartörténeti Szemle. 1984.1-2.sz. 62-63.old.

[8] J.Újváry Zs. A ponyvásszekertöl a közjó szolgálatáig. Thököly Sebestyén pályafutása. //Hadtörténelmi közlemények. 105.evf. 1992. 3.sz. 75.old.

[9] Gecsényi L. Bécs és a hódoltság... 779.old.

[10] ÖStA Kriegsarchiv Hofkriegsratakten. Reg.1575. Aug.276. На самом деле, турецкая сторона тут же отреагировала на события в Вене, и в Буде арестовала принадлежащие Тёкёли товары на сумму в 30000 форинтов, что сразу отразилось на земляках Тёкёли в Надьсомбате, которые по этому поводу обратились с жалобой к Венгерскому казначейству. (Zimányi V. Op.cit. 63.old.).

[11] Zimányi V. Op.cit. 63.old.

[12] J.Újváry Zs. Katolikus papot vagy predikátort? (Nagyszombat város küzdelme a protestáns hitért az 1570-es években. //A Ráday gyűjtemény évkönyve. VII.köt. Budapest, 1994.102.old.

[13] Zimányi V. Op.cit. 61.old.

[14] ÖStA HHStA Hung. Fasc.112. Konv.C (Bibersburg) fol.26.

[15] Ibid. fol.23.

[16] Gecsényi L. Bécs és a hódoltság... 778. old.

[17] HHStA. Ungarische Akten.112. fasc. 3. Konv.

[18] Ibid. fol.

[19] Ibidem.

[20] Wagner C. Analecta Scepuscii sacri et profani pars IV. Complectens scriptores rerum Scepusiascarum.Viennae, 1774. P. 157-159.

[21] HHStA Hung. Fasc. 112. fol.23.

[22] Отголоски этой версии происхождения рода Тёкёли встречаются труде венгерского энциклопедиста начала XVIII века Матяша Бела, а также в уже упоминавшемся труде по истории Сепеша Кароя Вагнера (Károlyi Á. Thököly Sebestyén megszerzi Késmárkot //Századok.1878. l.sz. l.közl. 69.old; Nagy J. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 14. köt. Pest, 1865. 284-285. old.)

[23] Ibid. fol.25.

[24] Gecsényi L. Bécs és a hódoltság...782-783.old.

[25] См.: Гусарова Т.П. Хайдуки в Венгрии// Вопросы истории. 1991. № 1. С.226-231; ее же. Дворянство в Венгрии в XVI-XVII вв.// Европейское дворянство XVI-XVII вв.: границы сословия. Отв. ред. В.А.Ведюшкин. М., 1997. С.171-192.

[26] HHStA. Hung. Fasc.112.fol.24.

[27] Károlyi Á. Op.cit. 72.old.

[28] HHStA Hung. Fasc.112. fol.26.

[29] Károlyi Á . Op.cit. 1. sz. 1. közl. 75.old.

[30] Ibid. 177.old.

[31] Károlyi Á. Op.cit. 1. sz. 2. közl. 175.old.

[32] Wagner C. Op.cit. Pars II. P.300.

[33] Цит. по: Károlyi Á. Op.cit. 2.közl. 177.old.

[34] Ibid. 181-182.old.

[35] Ibid. S.közl. 272-273.old.

[36] Angyal D. Késmarki Thököly lmre. Budapest. 1888. 9.old.

[37] HKA D 45. Familienakten. Fol.3.

[38] Magyarország története 1526-1686. Budapest. 1985. old.

[39] Zimányi V. A Rohonc Szalonaki uradalom és jobbágysága a XVI-XVII. században. Budapest. 1968.42-52.old.; Пах Ж.П. Возникновение и развитие помещичьей торговли и товарного производства в Венгрии в XVI веке// Средние века. 1968. Вып. 31.

[40] J.Újváry Zs.Katolikus papot vagy prédikátort? 103-105.old.

М.Е.БЫЧКОВА

КНЯЗЬ МИХАИЛ ГЛИНСКИЙ НА СЛУЖБЕ В ЛИТВЕ И РОССИИ

Гремевший в Варшаве, Литве и России
Бесславьем и славой свершенных им дел –

эти строки К.Рылеева[1] как бы подводят итог спорам о личности князя Михаила Львовича Глинского, которые вели дипломаты, публицисты, хронисты России и Литвы на протяжении нескольких столетий,

К сожалению, состояние источников таково, что до наших дней не сохранилось ни эпистолярных материалов самого М. Глинского, ни рассказов о его деятельности, составленных в период расцвета этой неординарной личности. Большинство записей сделано уже после того, как он с родственниками переехал на службу в Москву, и исходят они от враждебно настроенных польских и литовских авторов. Русские записи сделаны преимущественно в то время, когда Михаил Львович был в немилости у великого князя и сидел в заключении.

Самой полной является характеристика Михаила Глинского, помещенная в Записках Сигизмунда Герберштейна, чьи сведения в основном почерпнуты из хроник литовских авторов и воспоминаний, сохранившихся о "пане Михаиле" при дворе императора Максимилиана. "Он отличался крепким телосложением и изворотливым умом, умел подать надежный совет, был равно способен и на серьезное дело, и на шутку и положительно был, как говорится, человек на всякий час". "Он усвоил изящные манеры и рыцарские обычаи, был проворен в воинских упражнениях: скачках, фехтовании, борьбе, прыжках, а также и в развлечениях, вроде танцев и всевозможной куртуазии, чем снискал себе особую, более прочих, известность"[2]. В русских источниках есть два прозвища Михаила Глинского – Дородный, говорящее о его внешности, и Немец, подчеркивающее его воспитание и нрав.

По родословной легенде XVI в. родоначальником князей Глинских был внук хана Мамая Алекса, который перешел на службу великому литовскому князю Витовту[3]. Алекса вместе с сыном Иваном перешел в православие, и по основанному на

реке Ворскле городу Глинску их потомки стали называться Глинскими.

Князь Иван Александрович Глинский отличился в битве на р. Ворскле (1399 г.): по преданию, он вывел отряд потерпевшего поражение князя Витовта на литовские земли. Великий князь обещал Ивану Глинскому отдать во владение те волости, к которым их выведут проводники князя Ивана[4].

В дальнейшем за годы службы в Литве Глинские обеднели, и положение в сословной структуре литовского общества той ветви рода, к которой принадлежал отец Михаила, было незавидным: Лев Борисович служил мстиславскому князю, женился на вдове одного из представителей гродненского боярского рода[5].

В последней четверти XV в. благодаря удачным бракам княжен Глинских семья стала постепенно возвышаться по службе при великокняжеском дворе; один из таких браков повлиял и на судьбу Михаила Львовича. Его родная сестра Федка Львовна вышла замуж за Мартина Хребтовича, родного брата одного из ведущих политических деятелей Литвы – Яна Литавора Хребтовича. Отправляясь с посольством в Италию, Литавор взял с собой младшего брата жены, Михаила Глинского, тогда еще подростка[6]. Михаил остался в Италии "на ученье"; очевидно, там же он перешел в католичество. Далее были двенадцать лет учебы и военной службы в Италии и Германии, преимущественно саксонскому герцогу Альберту и императору Максимилиану. С этого времени император хорошо относился к Михаилу; в особой инструкции Сигизмунду Герберштейну,который от имени императора просил московского князя Василия Ивановича освободить Глинского из тюрьмы, было сказано: "так как мы воспитывали названного герцога Михаила Глинского с юных лет при нашем дворе и он оказал себя честным и исправным на нашей службе у нашего любезного дяди и князя, герцога Альбрехта Саксонского, мы особенно расположены к нему"[7].

После возвращения в Литву во второй половине 90-х гг. XV в. начинается самый яркий период в жизни Михаила Львовича – десять лет славы. Очевидно, ему около тридцати лет. В 1495 г. он вместе с братьями был среди дворян, встречавших невесту великого литовского князя Александра Елену Ивановну; посольство, договорившееся об этом браке в Москве, возглавлял Ян Литавор Хребтович.

В 1498 г. Михаил Глинский уже наместник утенский, а в конце 1500 г. он стал маршалком дворным – высшая придворная должность в Литве. В дальнейшем следуют новые назначения на службу, кроме того Глинский часто ездит с посольствами в со-

седние страны[8]. Он часто бывал при венгерском дворе, во время одной поездки познакомился и подружился с младшим братом Александра – Сигизмундом (1501 г.) и даже в какой-то мере протежировал ему в Литве. Возможно, в одну из таких поездок он сосватал своего старшего брата Василия Львовича за дочь сербского воеводы Стефана Якшича Анну[9].

Михаил Львович активно помогал своей родне делать карьеру: по его протекции они получали должности при дворе, земельные владения; в результате вокруг Глинского формируется мощный клан православной шляхты. В этой деятельности Михаилу Глинскому помогало то, что, принадлежа к православной семье, сам он стал католиком. А в конце XV в. в Литве великий князь ограничивал возможности занимать высшие должности для православных князей и шляхты[10].

Активное продвижение по службе и при дворе великого князя Александра, которое совершал Михаил Глинский в окружении родных и друзей, не могло не вызывать недовольства у придворных. После того, как Михаил стал маршалком дворным, все больше неудовольствия стал проявлять один из самых могущественных магнатов Ян Заберзинский, занимавший высшую должность – маршалок земский.

Вокруг Михаила постоянно возникали интриги и заговоры придворных. В 1501 г., вскоре после того, как он стал маршалком дворным, у его слуги Андрея Станкевича украли ларец с великокняжескими документами. Тогда же один из соратников Михаила Глинского Михаил Гагин был обвинен в том, что взял взятку у московского купца и помог ему пройти с товарами через таможню (позднее Михаил Гагин был оправдан судом). Особенно страсти накалились в 1504 г., когда король отнял должность наместника лидского у зятя Яна Заберзинского и передал ее двоюродному брату Михаила Львовича, Андрею Дрожджу. О скандале, который вызвало это назначение, писали все историки, начиная с Н.М. Карамзина: магнаты не пустили А. Дрожджа в Лиду, и король лично заступался за него на сейме[11]. В исторической литературе именно этот случай расценивался как самое яркое свидетельство влияния М.Л. Глинского на политическую жизнь страны.

Незадолго до этого назначения слуга Михаила Львовича случайно подслушал разговор, в котором обсуждался план убийства Глинского: заговорщики, среди которых был Ян Заберзинский, предлагали убийце двести злотых за то, что он отрежет Михаилу голову.

Эти страсти были вызваны не только тем, что окружение Михаила Глинского своим продвижением по службе ломало при-

вычную структуру, когда должности передавались в кругу определенных семей, как правило связанных друг с другом родством. К 1505 г. стало ясно, что Александр тяжело болен и его дни сочтены. У литовских магнатов, очевидно, были основания бояться, что после смерти короля Михаил попытается захватить престол. Кроме того, в эти же годы усилились набеги крымских татар на пограничные литовские города. Гарнизоны были не в состоянии отражать такие набеги, владения разорялись, каждый раз войско крымцев уходило с большим полоном.

Летом 1506 г., когда король был совсем слаб и не мог выехать к войску, он поручил командование Михаилу Глинскому, и тот в битве под Клецком разбил татарские отряды. После такой победы он стал народным героем, все города, через которые проходило войско, устраивали ему торжественный прием.

Гонец Глинского буквально незадолго до смерти государя сумел рассказать о победе королю.

В момент смерти Александра армия была в руках Михаила Глинского, и города, через которые она проходила, встречали воинов, как героев-освободителей. Все это вызывало боязнь и недовольство среди литовских магнатов, которые боялись влияния Глинского. Строились фантастические предположения о его дальнейших действиях, о его намерениях занять литовский престол. Вдову Александра (сестру московского великого князя Василия Ивановича) Елену Ивановну, которая поддерживала планы православной шляхты, отправили в отдаленный замок. Еще при жизни Александра в Вильнюс срочно был вызван наследник престола Сигизмунд.

Младший брат Александра в определенные сроки регулярно приезжал навещать государя; он был знаком и с Михаилом Глинским, к которому относился дружески. Узнав о болезни брата, Сигизмунд быстро собрался и поехал в Вильнюс[12].

Приезд Сигизмунда был неожиданным для Михаила Глинского, но, подчеркивая свою преданность государю, он первым поехал его встречать; у Глинского был отряд из 700 всадников, а у Сигизмунда в момент встречи – 200. Чтобы избежать неожиданностей литовские магнаты настояли, чтобы Сигизмунд сначала короновался как великий князь в Вильнюсе, а лишь потом ехал на коронацию в Краков. Михаил Глинский присутствовал на обеих коронациях, и как маршалок дворный во время церемонии вручал государю меч[13].

В январе 1507 г. вскоре после коронации в Кракове литовский магнат Ян Заберзинский, участник недавнего заговора против Михаила Львовича, публично обвинил его в оскорблении вели-

чества. Михаил потребовал королевского суда, но Сигизмунд не торопился разбирать это дело. После неудачных обращений к королю Глинский в марте поехал за поддержкой в Венгрию к королю Владиславу, которого он хорошо знал, поскольку неоднократно приезжал с поручениями от Александра. Но Владислав уклонился от заступничества перед новым королем Польши[14]. Сигизмунд прислал Михаилу письмо, в котором уверял, что отсутствие решения в его споре с Заберзинским ничем Михаилу не вредит, однако оскорбленный Глинский, "видячи, же кроль справу между ими звлокает з умыслу або снат противной стороне болшей фаворизует, гневом великим побуженый, королеве повидел: «Покушуся, кролю, о такую речь, которая тобе и мине напотом будет жалосная»"[15].

После всех этих событий Михаил покинул двор, уехал в свои литовские владения и стал готовить восстание против короля. Были использованы связи семьи с православной шляхтой, которая опасалась усиления католиков, тем более, что глава православных феодалов князь Константин Острожский в это время находился в плену в Москве. Уже позднее в судебные документы попал красочный рассказ, как на одном пиру Федор Коллонтай, упав "крыжем на полу", уверял, что на очередном сейме "всих нас, русь, мают хрестити в лядскую веру" и умолял Михаила Глинского заступиться за шляхту[16].

Действиями Глинских заинтересовался и великий князь Василий Иванович; он писал о новых притеснениях православных в Литве своей сестре Елене Ивановне и даже послал на литовскую границу войско, которое смогло бы поддержать Глинских[17].

Но в рядах соратников Михаила Глинского произошел заговор. Ивашка Немирич, находившийся на службе у брата Михаила, Ивана Глинского, послал гонца к Константину Острожскому в Москву с известием о планах Глинских. Константин Острожский приказал шляхте ждать, как развернутся события, и сообщать обо всем ему[18].

Событиями в Литве заинтересовался на только великий князь Василий Иванович, который послал для переговоров с Глинскими дьяка Губу Моклокова; с предложениями перейти на службу приезжали гонцы от крымского хана, волошского воеводы Стефана. Глинские решили перейти на службу в Москву, тем более, что Василий Иванович обещал "от короля их (Глинских – *М.Б.*) беречь и с вотчинами", "и которые литовские городы возмут, и на тех городех сидети князю Ивану (Глинскому – *М.Б.*) з братьею, а великому князю в те городы не вступатися"[19], то есть

Василий Иванович, воспользовавшись случаем, попытался расширить территорию страны, как это сделал не так давно Иван III.

В декабре 1507 г. король Сигизмунд уезжает на сейм в Краков, и вскоре начинается война Глинских с королем.

Начало выступлений связано со старинным недругом Глинских - Яном Заберзинским. "Збунтовавши старых жолнеров и помочников своих в семисот ездных избранных... и просто до Гродна въехал, маючи през шпиги ведомость, же там Ян Заберзинский... его головной неприятель в тои час во дворе своем в Гродне мешкал"[20]. Напав 2 февраля 1508 г. на двор Заберзинского, Михаил приказал своему слуге-турку отрезать Заберзинскому голову, то есть сделал то, что не так давно хотели сделать с ним самим заговорщики. Это нападение потрясло магнатов и шляхту. Войско Глинского вело военные действия вблизи границы с Россией, и сам Михаил послал своего слугу к великому князю с просьбой о военной помощи. Первые месяцы военные действия шли успешно для Глинских, хотя московское войско активного участия в них не принимало.

Военные действия были успешными для Глинских, пока в мае король Сигизмунд не выехал из Кракова в Литву, после чего войско восставших стало редеть. Когда королевское войско подошло к Орше, московское отошло за Днепр, не принимая сражения. Михаил Глинский снова начал вести переговоры о переходе на русскую службу; великий князь Василий Иванович обещал ему с братьями два города – Медынь и Ярославец. Одновременно велись переговоры Василия Ивановича с Сигизмундом об условиях перехода Глинских на службу в Москву. Владения Глинских в Литве не отошли к России, их статус в России определялся как служилые князья на землях, пожалованных великим князем, а не в родовых владениях[21]. Окончательно Михаил Львович с братьями и ближайшими соратниками переехали в Москву в конце 1508 г., после того, как было подписано мирное соглашение между Василием Ивановичем и Сигизмундом. Литовские хроники сохранили сведения, что многие соратники Михаила и их семьи покидали Литву с "невыразимой жалостью" и слезами. В ближайшие два-три года некоторые из них вернулись обратно: сохранилось много судебных дел, связанных с возвращением земельных владений участникам выступления Глинских князей в связи с их переходом обратно в Литву[22].

Очевидно, Михаил Львович предполагал повторить в Москве "путь наверх", который он прошел при короле Александре; великий князь Василий Иванович, сравнительно недавно вступивший на московский престол, не отличался решительностью, к тому же

за Михаила просила вдова Александра Елена Ивановна. Сначала казалось, что Глинскому обеспечена блестящая карьера. Великий князь посылает его во главе посольства к императору Максимилиану, есть глухие упоминания, что Глинскому было обещано княжение в Смоленске, если он завоюет это княжество для России.

Действительно, Михаил участвовал в двух походах к Смоленску, в результате чего город был завоеван. Но положение Михаила Глинского не изменилось, очевидно, в это время он окончательно решил вернуться в Литву и снова прибег к посредничеству короля Владислава, которого просил помирить его с Сигизмундом. Владислав выступил посредником, но Сигизмунд поделился содержанием письма от Михаила Львовича со своими советниками, после чего о переговорах стало известно Василию Ивановичу. Михаила Глинского арестовали в войске под Смоленском: "и нача князь Михаило Глиньскои перевет держати, и человека его изымаша с переветными грамоты х королю, и великого князя воеводы, изымав князя Михаила Глиньского, и послаша его к великому князю"[23]. У Глинского нашли письма Сигизмунда, одновременно был арестован посланник от короля Владислава, у которого также были письма его короля ко князю Михаилу.

Михаил Глинский был арестован летом 1514 г. незадолго до битвы русских и польско-литовских войск под Оршей. Битва была проиграна, польские хронисты писали, что под Оршей у русских войск было все, кроме главного руководителя – Михаила Глинского, которого арестовали.

В тюрьме Михаил Глинский провел более 12 лет, пока вторая жена Василия Ивановича Елена Васильевна Глинская не уговорила мужа освободить ее дядю. Положение Михаила Глинского при дворе было восстановлено, но развивавшаяся система местничества не позволяла ему занимать должности более высокие, чем у князей Гедиминовичей, также выехавших в Россию из Литвы. Его назначения в войско иногда приводили к спорам о старшинстве воевод[24].

В своем завещании Василий Иванович назвал Михаила Глинского одним из опекунов малолетнего сына Ивана Васильевича; после смерти Василия среди московских бояр опять начались интрига вокруг Михаила: боялись, что как ближайший родственник великой княгини он захватит власть. Однако вскоре после смерти мужа Елена снова посадила Михаила в тюрьму: он выговаривал племяннице, что она ведет образ жизни, недостойный

государыни. В 1536 г. Михаил Львович Глинский скончался в заточении.

Судьба М.Л. Глинского долгое время привлекала публицистов России и Литвы: часто она служила предлогом для сравнения двух государственных строев. Польские и литовские авторы писали иногда, что Михаил, "человек вольный, свободно воспитанный", не смог освоиться в русском обществе, забывая, что и в литовском обществе ему было совсем не просто делать карьеру. Скорее на судьбе М.Л. Глинского сказались две различные тенденции формирования сословных структур в России и Литве. В Литве конца XV в. занятие служебной должности уже позволяло продвигаться по сословной лестнице, иногда даже приводило к значительному возвышению семьи. В России должность сама по себе еще не играла существенной роли; гораздо важнее было принадлежать к определенной семье. А семья Глинских ни в России, ни в Литве не входила в число наиболее знатных и привилегированных.

Поэтому, вероятно, способности и энергия, несомненно присущие Глинскому, позволили ему сделать блестящую карьеру при дворе великого литовского князя и привели к возвышению всей семьи, а в России даже замужество Елены Васильевны не способствовало служебным успехам Глинских.

Очевидно, сам Михаил Глинский был талантливым полководцем и кроме того любил военное дело. В 1501 г., впервые побывав с посольством в Венгрии, он стал организовывать в Литве гусарский полк на манер венгерского. Его родственники, позднее приехавшие в Россию, также уже здесь проявили себя хорошими воинами, в частности один из них долго ведал русской артиллерией. Сам Михаил в 1513 г. формировал уже в России наемный немецкий полк[25].

Но особым даром, связанным с умением плести придворные интриги, Глинский не отличался, во всяком случае известные факты его жизни скорее свидетельствуют о его отваге и импульсивности, а не хитрости. Это отметил и К.Рылеев:

Так Глинский – муж Думы и пламенный воин
Погиб на чужбине, как гнусный злодей,
Хвалы бы он вечной был в мире достоин,
Когда бы не буря страстей[26].

---

[1] Рылеев К.Ф. Думы. М. 1975. С.48

[2] Герберштейн С. Записки о Московии. М. 1988. С. 188,191

[3] Wolff J. Kniasiowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warszawa. 1895. S. 77-78; Бычкова М.Е. Родословие Глинских из Румянцев-

ского собрания// Записки Отдела рукописей. Кн.38. М.1977; Она же. Родословие князей Глинских// Историческая генеалогия. Вып. 3. Екатеринбург-Париж. 1994

[4] Wolff J. Kniasiowie litewsko-ruscy... S.78

[5] Бычкова М.Е. Родословие Глинских из Румянцевского собрания. С.113. Благодаря этому браку у Ивана Грозного появились предки из белорусской шляхты. См.: Бычкова М.Е. Белорусские предки Ивана Грозного// Наш радавод. Кн.3. Ч.III. Гродно. 1991. С.468-470

[6] Бычкова М.Е. Родословие Глинских из Румянцевского собрания. С.112-113

[7] Герберштейн С. Записки о Московии. С.261

[8] Бычкова М.Е. Указ. соч. С.123

[9] Тихомиров М.Н. Иван Грозный и Сербия. // Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М. 1969. С.86-87. Очевидно, этот брак имел в виду С.Герберштейн, когда писал, что Елена Глинская принадлежала к известному венгерскому роду Петрович. См.: Герберштейн С. Записки о Московии. С.87.

[10] Старостина И.П. Судебник Казимира 1468 г. // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1988-1989 гг. М.1991. С. 240-243

[11] Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. М. 1986. С. 62-63

[12] Delaweaux L. Kniaż Michal Gliński. Lwow. 1881. S.13-14

[13] Ibid. S.14

[14] Ibid. S.17-18

[15] ПСРЛ. Т.32. М.1975. С.102

[16] Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. С.67

[17] Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М.1972. С.86-87

[18] Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. С.67.

[19] Зимин А.А Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 г.// Советские архивы. 1970. № 5. С.72.

[20] ПСРЛ.Т.32.С.102.

[21] Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV- первой трети XVI в. М.1988. С.142 -146.

[22] Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. С.66-69.

[23] Псковские летописи. В. 1. М. Л., 1941. С. 98.

[24] Эскин Ю.М. Местничество в России XVI-XVII вв. Хронологический реестр. М.1994. С.42.

[25] Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. С.67-68.

[26] Рылеев К.Ф. Думы. С. 53.

Е.И.КОЛЫЧЕВА

СУДЬБА КНЯЖЕСКОГО РОДА ВОРОТЫНСКИХ В XVI В.

Конец XV – начало XVI в. – судьбоносный этап в истории России, который знаменуется завершением объединения земель вокруг Москвы и созданием могущественного Русского единого государства, окончательно сбросившего татаро-монгольское иго. Именно в этот период к Москве были присоединены великие княжества Тверское и Рязанское, Новгородская, затем Псковская земли. Тогда же на службу к московским государям перешли со своими владениями верховские князья, чьи княжества располагались в верховьях Оки. Одним из наиболее крупных местных объединений являлось Новосильское княжество, правители которого являлись потомками одного из Рюриковичей – черниговского князя Михаила Всеволодовича. В XIV в. Новосильско-Одоевское княжество (Одоев был вторым после Новосили престольным городом) имело титул великого княжения (факт неизвестный историкам). В письме великого литовского князя Ольгерда 1371 г. патриарху Филофею Новосиль упомянут среди центров великих княжений. В западнорусских летописях помещен очерк о Витовте, где в одном случае говорится о "великих Одоевских", в другом – о "великом Одоевском". Спустя почти 200 лет один из потомков новосильских князей вспоминал, что их род был равен "великих князей московских"[1]. Княжество страдало от жесточайшей татарской экспансии и вскоре утратило гордое название "великого" и превратилось в удельное, находящееся в зависимости от Литвы. Уже в XV в. Новосильско-Одоевская корпорация распалась на три самостоятельных княжеских рода, получивших свое наименование по престольным городам: Воротынские, Одоевские, Белевские. К концу XV в. все они перешли на службу московского великого князя[2].

Вполне вероятно, что при переходе к Москве, потомки Новосильских князей заключили докончание с Иваном III, возможно, в форме крестоцеловальной записи, в чем были заинтересованы обе стороны. Могущественные Воротынские за свою преданность могли потребовать неприкосновенности своих владений,

поддержки Москвы в случае нападения на их земли недругов и права служить невдалеке от своих "дедин". Иван III первоначально не посягал на их широкие иммунитетные права, что объяснялось достаточно напряженными русско-литовскими отношениями. Они сохранили за собой право сбора податей в своих владениях, неподсудность населения великому князю. Их боевые отряды не были вписаны в жесткую войсковую структуру: князья Воротынские, Одоевские, Белевские могли со своими полками быть "на правой стороне или на левой, где похотят"[3]. В 1496 г. состоялся последний совместный поход Воротынских. Вскоре после этого умирают Дмитрий и Семен Федоровичи. Положение их племянника Ивана Михайловича после смерти "больших" Воротынских ухудшилось: могучая генеалогическо-территориальная корпорация князей-родственников исчезла. При этом вотчины князей не перешли полностью к племяннику, а были частично конфискованы. По духовной грамоте Ивана III 1504 г. престольный город Воротынск вместе с волостями Крайшино и Логинск были завещаны Василию III "со всем тем, как было за Воротынскими". Ряд волостей (Демена, Ковыльна, Ужперет), пожалованные литовским правителем в наследственное владение Воротынским, по перемирию 1494 г. отошли Литве, но по новому договору XVI в. числились за Россией. Их Иван III передавал в удел сыну Юрию. Наследственная волость Кцынь отходила к удельному Семену Ивановичу[4].

Земельные утраты понесли и Одоевские. В 1500 г. в Крым от имени Ивана III сообщается, что "Одоевских князей больших не стало". "А иных Одоевских жеребьи за нами"[5]. Данные земельные изъятия в пользу великого князя были произведены, вероятно, в соответствии с существующим законодательством ("уложением") Ивана III, согласно которому все земли бездетного князя переходили в собственность московской правящей династии. (Об "уложении" Ивана III известно лишь по упоминанию 1551 г.) Однако, судя по источникам, г. Воротынск очень скоро был возвращен Ивану Михайловичу. Первоначально в конце XV в. он в качестве престольного города имел г. Перемышль, именуясь часто в документах князем Перемышльским. Однако в XVI в. он не назывался иначе, чем Воротынский. Есть и еще одно свидетельство в пользу того, что г. Воротынск был возвращен во владение Ивана Михайловича: этот город не упоминался в разрядных книгах в качестве пункта дислокации воевод с войсками, что объяснимо только тем, что он обладал иммунитетными правами удельного владения. Нет сведений в разрядах и о г. Новосиль, которым он владел, вероятно, совместно с Одоевскими. В самом

г. Одоеве он имел несколько долей наряду с владениями Одоевских и самого великого князя. Упомянуты его села на р. Зене. В Подмосковье у него было село близ великокняжеского Воробьева. И конечно фигура такого масштаба должна была иметь двор в самой Москве[6].

После 1500 г. Иван Михайлович утратил воинскую автономию и вписан в воеводскую структуру. В разрядах он именуется "служилым князем"[7]. Иван Воротынский и Одоевские Семен, Роман, Федор прошли примерно одинаковый служебно-войсковой путь. В 1492 г. Иван Воротынский назначен вторым воеводой в передовом полку[8]. Эта должность за редким исключением сохранится за ним на долгие годы. Первоначально, по сравнению с Одоевскими, которые принадлежали к тому же XIX родословному колену (от Рюрика), но были его моложе, Иван Воротынский занимал более значительное положение. Иначе обстояло дело со старшими Одоевскими, которые приходились троюродными братьями его отцу и неоднократно возглавляли полки[9]. Менее удачно складывалась судьба князей Белевских, род которых угас во второй половине XVI в. Их престольный город занимал одно из самых южных местоположений и поэтому редкий набег крымцев обходился без грабежа белевских окрестностей.

В 1521 г. Россию постигло нашествие крымского хана такой силы, что Карамзин назвал это событие "самым несчастнейшим случаем" правления Василия III, а А.А.Зимин – "крымским смерчем", подчеркнув, что впервые за всю историю вооруженных столкновений с Россией крымские войска прорвались в глубинные районы Русского государства[10]. Вместе с крымцами пришли польского "короля воеводы". Около двух недель продолжалась осада Москвы, были разграблены многие уезды. Василий III с семьей и братьями скрывались в Волоке. 12 августа крымские татары повернули назад, и правительство начало искать виновных. Опале подверглись ряд вельмож, в том числе и И.М.Воротынский, который перед нападением татар был приписан вторым воеводой к Тарусе. Опальные предстали перед Василием III 17 января 1522 г.[11]. Иван Воротынский вместе с семьей был отправлен на 3 года в ссылку. Там умерла его первая жена. Вероятно, земли удела были конфискованы. В феврале 1525 г. под поручительство митрополита Даниила он был освобожден. На него была составлена крестоцеловальная запись, согласно которой ему и его детям было запрещено отъезжать в Литву и к братьям московского государя, но ни слова о возможных отношениях с крымским ханом[12]. Бездетный брак Василия III с Соломонией, длившийся почти два десятилетия, казалось, автомати-

чески открывал путь к престолу его братьям, что не могло не влиять на настроения служилой знати.

После окончания опалы Иван Воротынский был послан в Одоев с целью укрепить город деревянными стенами. Из его челобитной явствует, что в тот момент Василий III вернул его старый жеребей в Одоеве со своими двумя государевыми жеребьями, а также передал ему часть, ранее принадлежащую Петру Одоевскому, умершему в 1523 г. Одоевские не желали отдавать Ивану Воротынскому его доли в посаде. В челобитной князь жалостливо плачется, что "князь Василий Семенович с братаничами не дадут мне ничего, все велит ведати на себя", Одоевский говорит всем, "что мне в старом Одоеве нет ничего, ни одного загона земли, опричь одной стены города". Иван Воротынский прямо ставит в зависимость продолжение своей службы от получения положенных ему "долей" в Одоеве, мотивируя тем, что при сложившейся ситуации к нему на службу "никаков человек нейдет, а меня никаков человек не слушает"[13]. Перед нами конкретная картина, когда положение служилого князя, несмотря на его высокий чин, почти полностью зависело от благорасположения государя.

В феврале 1531 г. последовала новая, правда, кратковременная опала. 3 декабря 1533 г. умер Василий III, оставив после себя трехлетнего Ивана и кроху Юрия. В августе 1534 г. "с службы ис Серпухова побежали кн. С.Ф.Бельский и окольничий И.В. Ляцкий с сыном" в Литву. Тут же были арестованы брат Бельского и кн. И.М.Воротынский с детьми, так как И.В.Ляцкий был ему по первой жене родственником (возможно, даже тестем). Его сына Владимира Воротынского "по торгу водячи пугами били", обвиняя, что вместе с отцом хотели "до Литвы ехати"[14]. Вся семья была сослана в Белоозеро, где по мнению Г.А.Власьева, и умер Иван Михайлович Воротынский 21 июня 1535 г. (но не 21 июля, как считают некоторые историки)[15].

И.М.Воротынский имел родственные связи со знатнейшими фамилиями того времени. Он приходился двоюродным братом Семену Ивановичу Можайскому. Его первая жена Анастасия из рода Захарьина. Во второй раз он женился на Анне Васильевне, урожденной княжне Шастуновых Ярославских.

У И.М.Воротынского от брака с Захарьиной было три сына: Владимир, Михаил, Александр, которые вместе с отцом отбывали ссылку. Лишь смерть Елены Глинской в апреле 1538 г., видимо, принесла им освобождение, и они, продолжая службу своего отца, встали на охрану южных рубежей. В отличие от отца, который использовался только на воинских должностях, охраняя

"подбрюшье" России, его сыновья, помимо походной службы, исполняли административные функции. Михаил Воротынский в 1543/44гг. стал наместником Калуги, затем Костромы (1550 г.). Владимир исполнял такую же должность в Вологде (1546 г.), а Александр – в Кашире (1542 г.), Рязани и, возможно, в Пскове, так как в 1552 г. именно оттуда Александр вывозил непрерывно всевозможные ценности, чать который (колокола, золотые сосуды, книги, священные облачения и т.п.) поступили вкладом в Шаровский монастырь[16]. Вторая особенность их службы заключалась в том, что она переместилась в восточные регионы. Третья – братья со временем получили чин боярина и входили в правительство России.

Первоначально братья занимали довольно скромное место в военно-служебной иерархии. Сохранились известия о ряде их местнических дел в 40-х годах XVI в.[17]. Возвышение Воротынских связано с женитьбой 1547г. Ивана IV на Анастасии Захарьиной. В Кормовой книге Новоспасского монастыря есть "описание царских прародителей" Романовых. Среди них, помимо царицы Анастасии, записана "княгиня Анастасия княж Иванова княгиня Михайловича Воротынского", умершая в ссылке 27 марта 1522 г. Здесь же упомянут и ее старший сын Владимир (о двух других ничего не сказано, вероятно, из-за опалы)[18]. Уже в декабре 1547 г. Владимир – первый воевода большого полка, который шел из Мещеры на Казань. Михаил возглавлял полк правой руки[19]. Оба похода 1547/48 и 1549/50 гг. на Казань кончились для России неудачей. Но престиж Владимира Воротынского стремительно растет. По мнению А.А.Зимина, высший думный чин – боярина Владимир получил примерно в октябре 1550 г. В 1552 г. он первый воевода царского полка и именуется "дворовым воеводой". В этом чине он принимал участие во взятии Казани, но в отличие от своего брата Михаила особой доблести не проявил[20]. В марте 1553 г. во время болезни Ивана Грозного, Владимиру Воротынскому, "боярину ближайшему", принадлежит ключевая роль как родственнику царя. Он одним из первых присягнул младенцу Дмитрию и принуждал к этому других бояр. Он же вместе с дьяком Иваном Висковатым принимал крестное целование ("у креста стоял Владимир Иванович Воротынский"). Сохранилась миниатюра, на которой Владимир с дьяком принимают присягу вельмож.

Его брат Михаил славился своей храбростью. Это о нем писал кн. Курбский: "Муж крепкий и мужественный, в полкоустроении зело искусный". При взятии Казани он проявил военную хитрость и незаурядную личную храбрость, находясь непрерывно у

стен осажденного города[21]. С 1554 г. Михаил пробыл около двух лет в Свияжске и воевал против восставших “черемисов”. С 1556 г. он вновь несет службу на южных границах России, неоднократно возглавлял большой полк, имел звание “дворцового воеводы”. Впоследствии, видимо, получил чин боярина.

Александр, третий брат, во взятии Казани, по всей вероятности, не участвовал, но в мае 1553 г. был послан туда вторым воеводой. В том же году командовал передовым полком в походе на Нижний Новгород. В 1557/58 г. он уже первый воевода в Казани. С конца 50-х годов он, как и его брат Михаил, вновь охранял южные береговые рубежи. Быстрое возвышение Воротынских вызвало ряд местнических дел[22].

Судя по духовной грамоте Ивана IV, княжество Воротынских, по сравнению с уделом их отца, было расширено, в первую очередь, за счет бывших владений Одоевских. К началу 60-х гг. XVI в. в княжество входили следующие города: Перемышль, Одоев Старый, Новосиль, острог Чернь, 1/3 Воротынска (возможно, при жизни всех трех братьев – весь Воротынск). После смерти последнего кн. Белевского они получили некоторые его земли во владение, в частности, в Погорельском стану с. Стромок. Кроме того, Александр имел поместье в Углицком уезде, а вотчину в Коломенском уезде, Михаил в Коломне – поместье. У Владимира была вотчина в Московском уезде Горетовском стану[23]. Это было не просто княжество, а удел, с присущими ему чертами иммунитета. Князья сохранили право суда по всем делам, имели в распоряжении крупные воинские соединения, держали своих наместников в Одоеве, Перемышле, назначали волостелей-вассалов. Они обладали финансовой полнотой власти. В их казну шли собранные с населения удела платежи и подати, в том числе дань, ямские деньги, земские разметы, тамга, деньги за пятнание лошадей, пищальный хлеб и т.п. Судебно-податной суверенитет позволял Воротынским выдавать монастырям удела тарханно-несудимые грамоты, освобождавшие население церковных вотчин от поборов в пользу удельного князя и суда его наместников. В ведении князей было описание земель (без государственных писцов), установление межей[24].

27 сентября 1553 г. умер Владимир и был похоронен в Кирилло-Белозерском монастыре. Его жена из рода князей Немых-Оболенских построила над могилой церковь Св.Владимира, которая стала усыпальницей для ряда представителей Воротынских, что впоследствии вызвало гнев Ивана IV: церковь не над святым, а над Воротынским. В монастырь был сделан крупный

вклад "с царева вел. князя доклада" с.Теребунь и с.Рычково с деревнями в Бежецком Верхе[25].

В 1560 г. умерла жена Грозного – Анастасия Захарьина. Через год царь женился вторично. Фавор братьев Воротынских кончился. Ситуация могла обостриться и крайне настороженным отношением царя к своему двоюродному брату Владимиру Андреевичу Старицкому, который вторым браком был женат на дочери Романа Одоевского, родственника Воротынских.

15 сентября 1562 г. "положил ... (царь) опалу на кн. Михаила да на кн.Александра Воротынских за их изменные дела и вотчину их Новосиль и Одоев и Перемышль их доли велел взяти на себя". Михаила с семьей заключил в тюрьму на Белоозере, а Алесандра с женой велено было посадить "в тыне в Галич за сторожи". Удел Воротынских прекратил свое существование в 1562 г.[26] С.Б.Веселовский считал Воротынских последними удельными князьями[27].

Александр пробыл в ссылке около полугода, в апреле 1563 г. бояре (примерно пятая часть Думы) выручили его под залог 15 тыс. рублей. Ему возвращено звание боярина и, вероятно, часть Воротынского княжества. Но через год, в июле 1564 г., возникло местническое дело между ним и И.Н.Пронским. Несмотря на челобитную царю, от последнего последовал окрик: "И ты б, князь Александр, знал себе меру и на нашей службе был по нашему наказу". Александр, не желая покориться бесчестью, уходит в монастырь, где постригся под именем Арсений. Вскоре последовала его смерть. Как и его брат Владимир, он не оставил наследников мужского пола[28].

Михаил Воротынский был прощен значительно позже, в начале апреля 1566 г.[29] Земли, возвращенные Михаилу, составляли лишь южную часть прежнего удела: Одоев, Новосиль, острог на Черни. Перемышль и треть Воротынского уезда остались за царем. Конфискация земель соответствовала указу 1562 г., по которому бездетный князь мог передать свое владение брату лишь при наличии санкции царя. Правда, потеря северной части удела была частично компенсирована за счет неотобранных земель брата в южной части удела. Так, из сотной 1565 г. следует, что Одоевым Михаил и Александр владели по половинам. В своем завещании Михаил подчеркивал, что владеет землей лишь по "милости" царя. Недаром в посольских делах он назван не князем Новосильским, а лишь ее держателем: "державец Новосильский". В феврале 1569 г. правительство в связи с проводимой опричной политикой, стремясь оторвать Воротынского от привычной местной служебно-воинской корпорации, отбирает у него

все земли в верховьях Оки, предоставив взамен Стародуб Ряполовский с уездом, а также земли в Нижегородском уезде. Лишь в 1572 г. ему был возвращен титул "слуги" и отдан Перемышль вместо Стародуба[30].

В 1573 г. последовала новая опала и по дороге в ссылку Михаил Воротынский скончался. Первоначально он был похоронен в Кашине. 21 января 1606 г. его прах был перенесен в родовую усыпальницу Кирилло-Белозерского монастыря.

Михаил был трижды женат. Первая жена Ксения умерла около 1557 г., Стефанида - в мае 1571 г. 30 сентября 1571 г. он женился на Елене, дочери кн. Ф.И.Татева, которая скончалась в мае 1573 г., вероятно, также как и муж, в результате пыток в период "розыска"[31].

У Михаила от второго брака осталось двое сыновей – Иван и Дмитрий, которые первоначально владели г. Перемышлем, но не на правах удельных князей, а как землевладельцы. Вопреки существующему в литературе мнению, нет никаких данных, позволяющих считать их вкладную грамоту – иммунитетной. В 1584-85 гг. в правление Федора Иоанновича они выступили против засилья Годуновых. Вероятно, именно тогда у них окончательно изъяли г. Перемышль. Отныне они владельцы земель только в Поволжье. В духовной грамоте Ивана Михайловича начала XVII в. (Дмитрий умер раньше) нет никаких упоминаний о родовых княжеских владениях в верховьях Оки. Сохранился черновосковой оттиск печати Ивана Михайловича, которой он пользовался будучи воеводой в Нижнем Новгороде[32]. На ней изображен мужчина в шляпе с небольшими полями и в камзоле – явно не традиционной одежде русских бояр того времени. Это позволяет отнести ее к разряду родовой печати, возникшей в XV в., когда Воротынские служили Литве. Таков путь потомков великих князей, превратившихся из удельных князей, вассалов в непривилегированных землевладельцев.

---

[1] Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). М. 1980. Т. 35. С.108; Сборник русского исторического общества (далее Сб.РИО). СПб.1892. т.71. с.507; Русская историческая библиотека. СПб. 1880. № 51

[2] Подробнее см.: Колычева Е.И. Новосильско-Одоевская корпорация и судьбы ее представителей в XV в. // Сословия и государственная власть в России XV – середины XIX вв. Чтения памяти Л.В.Черепнина. М. 1994. Ч. I. С.200-212; Кром М.М. Меж Русью и Литвой. М. 1995

[3] Сб.РИО. СПб. 1880 т. 35. С.120, 230, 231; Милюков П.Н. Древнейшая разрядная книга. М. 1901 (далее – Древ. РК). С.17

[4] Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. (далее – ДДГ). М.-Л. 1950. С.355, 359, 360.

[5] Сб.РИО. СПб. 1884. Т.41. С.306.

[6] Древ. РК. С.17, 16; Сб.РИО. т.35. с.565, 596.

[7] Прост.РК. Т.I. С.98.

[8] Прост.РК. Т.I. С.31.

[9] Там же. С.31, 54, 79, 94.

[10] Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.8. с.68; Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М. 1972. С.240, 242.

[11] Разрядная книга 1475-1605 гг. М. 1977. Т.I (далее – Прост.РК). С.175, 177; ПСРЛ. Т.24. С.221.

[12] Собрание государственных грамот и договоров . М. 1813 (далее – СГГД) Ч.I. №154; ПСРЛ. Т.24. С.222.

[13] Назаров В.Д. Тайна челобитной Ивана Воротынского // Вопросы истории. 1969. № 1. С.210-218.

[14] Прост.РК. Т.1. С.244-247, 252; ПСРЛ. Т.13. С.79, 83; Там же. СПб. 1859. Т.8. С.287; Акты Западной России. СПб. Т.2. №179. С.333.

[15] Власьев Г.А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий князей Черниговских. СПб. 1906. Т.1. Ч.I. С.53; Леонид (Каверин). Надписи Троицкой Сергиевой Лавры. СПб., 1881. С.42; Список погребенных в Троицкой Сергиевой Лавре. М. 1880. С.2.

[16] Прост.РК. Т.1. С.307, 309, 315, 316, 386; Древ.РК. С.117, 121; Археографический ежегодник за 1960 г. М. 1961. №1-257; Чтения в Обществе истории и древностей российских (далее Чтения ОИДР) М. 1863. Кн.I. С.36.

[17] Эскин Ю.М. Местничество в России XVI-XVII вв. М. 1994. № 62, 66, 82.

[18] Снегирев И.М. Новоспасский монастырь. М. 1903.

[19] Прост.РК. Т.1. С.342, 344, 349, 365.

[20] Там же. С.419, 429; ПСРЛ. т.13. В.2. С.482, 485, 511.

[21] ПСРЛ. Т.13. С.205, 208, 212-215, 217. Русская историческая библиотека (далее – РИБ). СПб. 1914. Т.31. С.287.

[22] Эскин Ю.М. Местничество. №96, 97, 108.

[23] ДДГ. №104; Чтения ОИДР. М., 1863. Кн.1. С.16; Писцовые книги Московского государства. СПб. 1877. Отд.1. С.122, 377, 474; Рос. Госуд. Архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. Поместный приказ. Кн. 7785. Л. 144.

[24] Подробнее см. об этом: Колычева Е.И. Огосударствление земель в России во второй половине XVI в.// Система государственного феодализма в России. М.1993. С.99-105; РГАДА. ГКЭ. №9552.

[25] Федотов-Чеховский А.А. Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней Руси. Киев. 1884.т.1. №71. С.165, 166; Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь. СПб. 1897. В.2. С.54. Приложение. Шумаков С. Обзор грамот Коллегии экономик. М. 1899. Вып.1. С.25; Варлаам. Описание историко-археологических древностей и редких вещей, находящихся в Кирилло-Белозерском монастыре// Чтение ОИДР. М.1859. Кн.3. С.86.

[26] ПСРЛ. Т.13. В.2. С.343, 344; см. также: Беликов В.Ю., Колычева Е.И. Документы и землевладение князей Воротынских во второй половине XVI – начале XVII в.// Архив русской истории. М.1992. №2. С.93-121; Акты исторические. СПб.1841. Т.1. №174.

[27] Веселовский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси// Исторические записки. М.1947. т.22.

[28] СГГД. Ч.I. №178, 179; Чтения ОИДР. 1863. Кн.1. С.32, 33.

[29] СГГД. Ч.I. №189-191.

[30] Архив русской истории №2. С.93-121. Сб.РИО. т.71. с.498, 500, 507.

[31] Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М. 1987. С.48.

[32] Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб. 1992. С.34,35; Мордовина С.П. Служилые князья в конце XVI в. // Труды историко-Архивного ин-та. М. 1970. Т.28. С.328-329; Архив русской истории. С.119-121; РГАДА. Ф.281. №7979

М.К.ПОПОВА

АВАНТЮРИСТЫ В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ АНГЛИИ: ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА

Царствование (1558-1603) королевы Елизаветы (1533-1603), признанное уже современниками и ближайшими потомками "золотым веком", знаменовало собой вершину английского Ренессанса. Фраза об авантюрном духе эпохи давно стала общим местом всех научных трудов, посвященных Возрождению. Задачи данной работы, которые можно определить как уточняющие и систематизирующие, достаточно скромны и сводятся к следующему:

1) проследить, как авантюрный дух эпохи воплощался в судьбах конкретных елизаветинцев;

2) показать, насколько английским авантюристам удалось выразить этот дух в произведениях деловых, публицистических и художественных жанров;

3) проанализировать, как образ авантюриста отражен в литературе эпохи.

Слово "авантюрист", как известно, имеет два значения. Одно из них, считающееся в современном языке устаревшим, передается фразой "искатель приключений". Во втором смысле интересующее нас слово применяется для обозначения беспринципных дельцов, готовых в целях наживы использовать любые средства. Для характеристики многих выдающихся елизаветинцев необходимы оба значения слова "авантюрист". И Френсис Дрейк (1540?-1596), и Уолтер Рейли (1552?-1618), и Филипп Сидни (1554-1586), чьи судьбы будут в центре нашего внимания, были одновременно и искателями приключений, и людьми, страстно стремившимися разбогатеть.

Елизаветинские авантюристы происходили из разных социальных слоев. Семья Ф.Дрейка не принадлежала к дворянству и по всей видимости была издавна связана с морем. Слово "Дрейк", как указывает Ж.Блон, "имеет в своей основе скандинавский корень, от которого произошло слово драккар, т.е. дра-

кон (так назывались суда викингов)"[1]. Отец Дрейка служил пастором на военном судне. У.Рейли происходил из семьи деревенского джентльмена-помещика, семьи почтенной, но не входившей в круг высшей знати. Филипп Сидни родился в семье аристократической и стоявшей близко ко двору; его дядьями по матери были знатнейшие люди королевства – Роберт Дадли, граф Лейстер и герцог Уоррик; когда в 1585 г. у Сидни родилась дочь, сама королева стала ее крестной матерью.

Различие в происхождении Дрейка, Рейли и Сидни представляется нам знаменательным фактом, который подтверждает, что авантюрному духу эпохи были подвластны люди всех сословий и общественных групп. Жажда приключений и богатства наряду с ренессансной разносторонностью личности были причиной активной деятельности елизаветинцев в самых разных сферах жизни.

Все они были одержимы идеей географических открытий, организовывали и возглавляли морские путешествия. В этой области высшим достижением Дрейка было совершенное им в 1577-1580 гг. на корабле "Золотая лань" кругосветное плавание. Рейли организовал несколько экспедиций в Америку (в 1584, 1585, 1586, 1588 и 1617 годах), две из них – в 1585 г. и трагически окончившуюся последнюю – он возглавлял лично. Сидни также интересовался заморскими странами и был пайщиком заморских экспедиций. По мнению Ф.Боаса, который считает Сидни "репрезентативным елизаветинцем", только ранняя смерть помешала Сидни прославиться в качестве исследователя новых земель[2].

Все авантюристы елизаветинской эпохи были храбрыми солдатами и военачальниками. Дрейк являлся вице-адмиралом флота, разгромившего Непобедимую Армаду. Рейли сыграл важную роль в морском бою при Кадисе (1596). Сидни умер в результате ранения, полученного им во Фландрии в бою под Зутпеном.

Возможно, наиболее ярко авантюризм елизаветинцев воплотился в пиратстве. В этой сфере особенно прославились Дрейк, который пиратствовал лично, и Рейли, который организовывал пиратские рейды. Строго говоря, и Дрейк, и Рейли занимались не столько пиратством, сколько корсарством или каперством. Напомним, что различие между пиратом и капером заключалось в том, что первый разбойничал на морях, не подчиняясь никаким законам, а второй "получал от своего государя жалованную грамоту, или поручительство (выделено автором – *М.П.*), разрешавшие ему "добывать" торговые суда противника"[3]. Во второй

половине XVI в. разница между пиратом и капером почти стирается, для королевы главным в военных морских экспедициях была не их законность, а доходность. Об этом свидетельствует такой, например, факт. У.Рейли, обсуждая с Ф.Бэконом экспедицию в Гвиану, упомянул о возможности ограбить испанский торговый флот. Бэкон высказался против, считая подобные действия пиратскими. На что Рейли ответил: "Вы слышали когда-нибудь о пиратах, награбивших миллионы? Пиратами называют только тех, кто занимается мелочами". И действительно, Дрейк, награбивший во время кругосветного путешествия в испанских колониях добра на сумму, превышающую миллион фунтов стерлингов, был не наказан, а щедро вознагражден. Королева возвела его в рыцарское достоинство и пожаловала адмиральским званием. Каперство, сочетавшее приключения и возможность разбогатеть, позволяло елизаветинцам полностью реализовать их авантюристические наклонности.

Вероятно, не меньшие возможности для их реализации представляла придворная жизнь. В этом отношении наиболее примечательна судьба У. Рейли. Он провел молодые годы, сражаясь с католиками во Франции и восставшими ирландцами. Придворная карьера Рейли началась около 1582 г. Как выразительно пишет Э.Лэтем, "он явился из грязи малоизвестных военных кампаний обыкновенным капитаном к самому блестящему в Европе двору, и в течение десяти лет при этом дворе не было более блестящей фигуры, чем он"[4]. Успехи Рейли при дворе стали возможны благодаря силе и обаянию его личности, которые покорили королеву, сделавшую его своим фаворитом. Это позволило Рейли приобрести власть и известность, а также разбогатеть.

Кроме морских путешествий, пиратства, придворной карьеры интересующие нас елизаветинцы занимались созданием Британской империи, парламентской деятельностью, дипломатией, строительством кораблей, литературой. Любопытно, что они осознавали свою деятельность, как направленную на благо родной страны и свое собственное. Ф. Сидни писал младшему брату Роберту: "Цель твоя как прирожденного джентльмена – обогатить себя такими знаниями, которые сослужат службу твоему отечеству и будут соответствовать твоему предназначению в жизни"[5].

Литературное наследие авантюристов можно подразделить на две части. Это деловая проза (а иногда и поэзия) и художественная литература. Елизаветинцы понимали силу воздействия слова и использовали его в своих целях, часто авантюристических. Так, после смерти Хэмфри Джильберта, который в 1583 г.

возглавил успешную экспедицию в Северную Америку, основал там первую английскую колонию и стал ее губернатором, его правопреемники Филипп Сидни и Джордж Пэкем попытались организовать новое плавание. Пэкем написал и опубликовал отчет о плавании Джильберта с целью привлечь к начинанию пайщиков. В качестве приманки Пэкем использовал десять стихотворений, предпосланных отчету. Среди авторов стихов были такие знаменитые мореплаватели, как Фробишер и Дрейк. Последний воспевал американские экспедиции как возможность добиться славы:

"Тот, кто стремится добиться известности достойными делами,
Тот, чье сердце, руки и кошелек готовы помочь выполнить это желание.
Если есть здесь те, кто жаждет известности,
Слушайте, вот способ завоевать вечную славу"[6].

Если Дрейк, пытаясь привлечь внимание современников к своим авантюрным начинаниям, обратился к стихам, то Рейли в таких случаях прибегал к прозе. Сохранились три его прозаических произведения, посвященные событиям авантюрного плана. Это памфлет "Последний бой "Мести", отчеты об открытии Гвианы и битве при Кадисе. Все они носят публицистический характер.

Полное название памфлета гласит: "Отчет, содержащий истину о битве, имевшей место прошлым летом у Азорских островов между "Местью", одним из кораблей ее величества, и военным флотом короля Испании". Памфлет посвящен конкретному событию. В 1591 г. английский военный флот под командованием лорда Томаса Хауэрда поджидал у Азорских островов испанский торговый караван, чтобы напасть на него. Но вместо каравана появился испанский военный флот. Произошло сражение, в ходе которого кузен Рейли сэр Ричард Гренвилль повел себя смело, но безрассудно. Он погиб сам и погубил самый большой английский корабль "Месть", которым командовал. Рейли, разумеется, оправдывает в своем памфлете Гренвилля, но главная его цель другая – прославить Англию и ее моряков и доказать необходимость войны на море.

В отчете о битве при Кадисе, опубликованном внуком мореплавателя в 1700 г., Рейли сухим, деловым стилем описывает ход сражения, дает список кораблей, которые ему подчинялись, подчеркивает свои заслуги[7]. Отчет об открытии Гвианы был опубликован в 1596 г. Главная цель этого прозаического сочинения, так же, как и в трактате о "Мести", была пропагандистской.

Рейли обосновывал здесь необходимость создания Британской империи через колонизацию Америки. Интересы государственные, как почти всегда у этого человека, совпадали с личными, авантюристическими интересами. 13 ноября 1595 г., отправляя Сесилу экземпляр отчета о путешествии в Гвиану, Рейли писал: "Я надеюсь, что меня сочтут достойным... управлять этой страной, которую я открыл и которую я надеюсь завоевать для королевы без затрат с ее стороны"[8]. "Открытие Гвианы" стало популярным сочинением, выдержало много изданий и было переведено на латинский, голландский и французский языки.

Разносторонняя одаренность елизаветинцев проявлялась и в сфере художественного творчества. Рейли и Сидни вошли в историю английской литературы как значительные поэты. Однако при жизни они свои произведения не публиковали. Творческое наследие Сидни собрала его сестра, графиня Пемброк, через три года после его смерти. Поэзия Рейли сохранилась только в виде фрагментов и отдельных стихотворений, разбросанных по различным антологиям и личным архивам современников.

Авантюристические стремления в стихах елизаветинцев в непосредственном виде, как правило, не отражены. И Сидни, и Рейли пишут во многом традиционные любовные сонеты. Сидни адресовал свою лирику Пенелопе Девере, сестре графа Эссекса, воспевая ее под именем Стеллы. Он первым из английских поэтов создал в честь возлюбленной цикл сонетов. Любовная лирика Сидни испытала влияние Петрарки и поэтов французской Плеяды. Вслед за предшественниками Сидни понимает любовь в духе неоплатонизма: "Вот истина: Краса живет в Добре!"

У.Рейли посвящал свои стихи королеве Елизавете, воспевая ее под именем Синтии. Его любовная лирика отличается обилием риторических и стилистических красот. Синтия – фигура во многом условная:

"Эти глаза превосходят яркостью звезды,
Эти волосы затмевают блеск солнца,
Эти руки белее слоновой кости,
Этот ум, слава о котором достигла даже небес»[9].

Существует предположение, что именно с этими строками Рейли полемизировал Шекспир в знаменитом 130 сонете.

Следует, однако, иметь в виду, что любовь сына девонширского помещика к королеве Англии была одной из самых опасных авантюр этого выдающегося любителя приключений. Любой неверный шаг мог вызвать гнев всевластной возлюбленной. Так, женитьба Рейли на королевской фрейлине Елизавете Трогмортон привела его в 1592 г. на несколько месяцев в Тауэр. Вспоми-

ная о своей прошлой близости к королеве, он писал оттуда сэру Роберту Сесилу: "Я, который имел возможность видать, как она скачет верхом, подобно Александру, охотится, как Диана, ступает, как Венера, напоминая нимфу, когда слабый ветерок играет ее белокурыми волосами у нежных щек; слышал, как она поет, как ангел, и играет, как Орфей..."[10].

С похожими образами мы встречаемся в балладе Рейли "Уолсингем", написанной в то же время. Описывая героиню этого стихотворения, поэт упоминает ее небесную красоту, божественную фигуру, ангельское лицо, походку и грацию, которой может обладать только нимфа или королева. Женские портреты такого рода были общим местом средневековой и ренессансной любовной лирики.

Английский исследователь Оукшотт справедливо отмечает, что стихи, в которых поэт говорит о своих собственных переживаниях, написаны с большей силой и выразительностью, чем те, которые посвящены Синтии. С точки зрения ученого, "Одиннадцатая и последняя книга Океана к Синтии" предвосхищает поэзию XVII в., ибо запечатлела "индивидуальную страсть" и "индивидуальный крик о милосердии"[11].

Все историки и литературоведы, которые исследовали их жизнь, деятельность и творчество, подчеркивают, что Дрейк, Рейли и Сидни были разносторонними и блестящими личностями, которые обладали большой притягательностью и обаянием, а также нередко вызывали большую зависть[12]. Неудивительно, поэтому, что их деяния весьма интересовали современников.

Произведения, посвященные знаменитым авантюристам елизаветинской поры, появляются еще при их жизни. Они принадлежат авторам с дарованиями разного масштаба и часто представляют собой отклики на конкретные события. Как правило, современники восхищаются авантюристами. Так, в 1585 г. некий Генри Робертс написал поэму "Прощание с сэром Френсисом Дрейком", приветствуя мореплавателя накануне его отбытия в Вест-Индию. Чарльз Фитцджеффри (1575?-1638), воспел удачливого капера в поэме под названием "Сэр Френсис Дрейк", где, говоря о набегах пирата на испанские колонии, назвал его "отважным воином божественной Элизы"[13].

В 1588 г. появляется "Краткий и правдивый отчет о недавно открытой земле Виргиния". Он принадлежал Томасу Хэриоту, известному математику и близкому другу Рейли. "Отчет" являлся своего рода рекламой новой территории и самого Рейли, которого королева назначила губернатором Виргинии.

Драматическая история любви Рейли и Елизаветы заинтересовала Эдмунда Спенсера, который отразил ее в Третьей книге "Королевы фей", где рассказывает о любви Тимиаса к девственной охотнице Бельфебе.

Многочисленные отклики современников вызвала безвременная кончина Филиппа Сидни.

Судьба елизаветинских авантюристов была часто столь богата приключениями, что кажется придуманной. Э.Лэтем писала о Рейли: "Он мог бы выйти из елизаветинской пьесы, плод ренессансного воображения, сочетание неординарных пороков и добродетелей, предназначенный для необычных свершений"[14]. Однако на самом деле великая литература эпохи редко изображала события из жизни современных авантюристов. Ни Шекспир, ни Марло, ни "университетские умы" не создали больших произведений о Дрейке, Рейли или Сидни. Лишь иногда они использовали отдельные факты. Кроме уже упомянутой 3-ей книги "Королевы фей" здесь можно назвать шекспировскую комедию "Бесплодные усилия любви", создавая которую драматург, возможно, вспоминал историю впавшего в немилость королевского фаворита Рейли, хотя прямых аналогий здесь немного.

Великие писатели английского Возрождения отражали не конкретные судьбы, а воплотившийся в них дух эпохи, создавая на его основе образы сильных и разносторонних личностей. Авантюристом титанического масштаба предстает у К.Марло Тамерлан. В жизнерадостно-оптимистическом мире комедии Шекспира действует веселый авантюрист Петруччо, для которого женитьба на Катарине – еще одно увлекательное жизненное приключение.

Подводя итоги, можно сказать, что многие елизаветинцы были авантюристами в обоих смыслах этого слова. Свойственная им жажда приключений и наживы отразилась в созданных ими стихах и прозе пропагандистского характера. Современные им поэты и писатели, создавшие произведения "на случай", не обошли вниманием знаменитых искателей приключений. Великая же английская ренессансная литература, отвлекаясь от судеб конкретных авантюристов и обобщая их, стремилась передать авантюрный дух эпохи.

---

[1] Блон Ж. Великий час океанов. Т.2. М., 1993. С.57.
[2] Boas F. Sir Philip Sidney: Representative Elizabethan. L.,1955. P. 200.
[3] Блон Ж. Указ. Соч. Т.1. С.27.

[4] Latham A.M.C. Introduction // Raleigh W . The poems of. L., 1962, P. xv.

[5] Цит. по: Boas F. Op.cit., P. 165.

[6] Цит. по: McCann F. English Discovery of America to 1585. N. Y., 1952. P. 197.

[7] См.: A Relation of Cadiz Action in the Year 1585 // Oakenshotte W. The Queen and the Poet. L., 1960. P. 210-216.

[8] Цит. по: Oakenshotte W. Op. cit. P.63.

[9] Ibid. P. 124.

[10] Ibid. P. 47.

[11] Ibid. P. 127, 125.

[12] См., например: Блон Ж. Указ. Соч. Т.2. С.57, 60; Latham A.M.C. Op. cit. P. XIII; Thompson E. Sir Walter Raleigh. New Haven, 1936. P. v; Latham A.M.C. Sir Walter Raleigh. L., 1964. P. 7-8; Boas F. Op.cit. P. 199; Connell D. Sir Walter Raleigh. Oxford, 1977. P. I.

[13] Цит. по: Nicoll A. The Elizabethans. Cambridge, 1957. P.148.

[14] Latham A.M.C. Introduction… P. XIII.

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЧИСЕЛ И АЛЛЕГОРИЙ

Л.С.ЧИКОЛИНИ

АНТОН ФРАНЧЕСКО ДОНИ И ЕГО "ЧИСЛА"

Благодаря заботам итальянской исследовательницы Алессандры Дель Фанте в 1981 г. было опубликовано до того практически неизвестное сочинение А.Ф.Дони "Числа"[1]. Оно воспроизведено по манускрипту, которым владеет (в единственном экземпляре) Национальная библиотека Вены. Дель Фанте предложила читателям факсимильное издание редкой рукописи (богато иллюстрированной, как многие книги Дони), а также текст произведения в современной транскрипции, предпослав им краткое, но обстоятельное введение, дополненное ценными примечаниями.

"Числа" справедливо относят к второстепенным произведениям итальянского писателя XVI в., они менее интересны, чем вышедшие раньше "Мраморы", "Миры", "Тыквы", "Письма", "Библиотеки", в которых автор выступал как талантливый бытописатель, новеллист, балагур и насмешник и, вместе с тем, острый критик пороков общества, оставивший описание фантастического города-государства, хранящее отпечаток влияния Платона и Томаса Мора.

В "Числах" Дони предстает в новой роли – сторонника оккультных наук, магии цифр, астрологии и кабалы, к которым прежде не раз высказывал скептическое отношение. И хотя этот труд не столь занимателен, он заслуживает определенного внимания, поскольку не только проливает дополнительный свет на фигуру самого писателя – человека противоречивого, склонного к экстравагантности, но дает также материал для характеристики общей атмосферы, царившей в Италии второй половины Чинквеченто.

Пятидесятые и начало шестидесятых годов XVI столетия, на которое пришелся расцвет творчества Дони, были сложным периодом в истории итальянских государств. Изнурительные итальянские войны, развязанные в конце XV в., закончились только в 1559 г. Но мир в Като Камбрези не принес стране желаемого успокоения. На Апеннинском полуострове продолжались внут-

ренние междоусобицы, в итальянские дела по-прежнему вмешивались иноземцы. Под влиянием сложных экономических, социальных, политических процессов происходили и резкие перемены в сфере духовной. Религиозно-философские искания, характерные для ренессансной культуры, не ослабли в период позднего Возрождения, хронологически совпавшего с наступлением Контрреформации. Особенностью духовной жизни Италии Чинквеченто было противоборство, а вместе с тем сосуществование и взаимопроникновение разнородных противоречивых, даже враждебных друг другу идейных течений. Несмотря на победоносное шествие Контрреформации и углублявшийся кризис гуманизма, гуманистические идеалы продолжали играть важную роль. Во второй половине XVI в. развивались натурфилософские учения, что нередко сочеталось с реформационными и еретическими настроениями. В Италии не иссяк интерес к учениям Лютера и Кальвина, к радикальным ересям, в том числе древним – Оригена, Пелагия, и особенно ереси Ария, способствовавшей распространению антитринитаризма, который нередко смыкался с анабаптизмом. В горных районах Северной Италии оказались живучими реликты языческих верований, поклонения силам природы, аграрного культа. В народе утверждалась вера в колдунов и ведьм (не только творящих зло, но также и добро)[2]. Жестокие преследования инквизиции не искореняли эту веру, а скорее укрепляли ее, способствуя распространению суеверий[3].

В то же время развитие естественных наук вносило в сознание людей новые представления о мироздании. Ослабевало антропоцентричное видение Вселенной, все более уступая место пониманию природы и космоса как живущих по своим, независимым от человека законам. В Италии постепенно начинала формироваться механико-математическая модель мира, нашедшая позднее обоснование в трудах Декарта. Но задолго до него итальянские ученые, начиная с Луки Пачоли и Леонардо да Винчи, придавали огромное значение математическим расчетам в познании мира. Отсюда повышенное внимание в Италии к античным концепциям, в том числе пифагорейству.

Вместе с великими открытиями в области естественных наук менялся взгляд на чудеса. Их стали рассматривать как природные явления, еще не познанные человеком. В отличие от черной магии возникали учения о магии "белой", магии "естественной" – новой науке, цель которой – проникновение в тайны Вселенной[4]. Представление о единстве вещей в мире, включение в природу человека как одну из ее составных частиц пробуждали повышенное внимание к астрономии и астрологии, герметическому искус-

ству – алхимии, мистике цифр. В XVI в. обострился интерес к нехристианским конфессиям и религиозным учениям, прежде всего к мусульманству и иудаизму, с приверженцами которых итальянцы сталкивались в повседневной жизни (особенно после переселения в Италию некоторой части евреев и мусульман, гонимых из Испании). Религиозно-мистическая догма иудеев – кабала становится предметом изучения ряда итальянских мыслителей. Общественное сознание Чинквеченто, таким образом, было соткано из множества противоречивых представлений о человеке, природе и обществе, в которых своеобразно переплетались гениальные догадки и открытия с суевериями и предрассудками. Подобное брожение умов находило естественный отзвук в итальянской литературе.

Творчество Антона Франческо Дони весьма показательно в этом отношении. Писатель-полиграф, предтеча журналистов нового времени, Дони считал своим долгом ежедневно писать (и печатать) один – полтора листа для простых людей, откликаясь на актуальные проблемы своего времени. В его произведениях постоянно слышатся отголоски философских и религиозных споров той эпохи, нередко звучат мотивы вольнодумные, еретические. Персонажи книг Дони хотят постичь тайны мироздания, узнать, что находится выше Луны; они рассуждают о микрокосмосе (человеке), мегакосмосе (видимом мире) и макрокосмосе (беспредельной Вселенной) как о едином и неделимом целом. Природа для них существует вечно, живет по своим законам. Дони откликался на открытие Коперника, передавая представления простолюдинов о вращении Земли. Негодование церковной цензуры вызывали многие пассажи его книг. Дони не очень верил в бессмертие души и потустороннюю жизнь, скептически относился к таинствам, к обрядам крещения и погребения, к целибату и культу святых, презрительно отзывался о невеждах-монахах, сравнивая их с баранами, которые только не блеют, и, сам бывший монах, радовался, что избавился от "противной тонзуры", обязанности "лаять хором" (петь молитвы) и клянчить милостыню во имя св.Георгия или св.Лазаря. Он проявлял интерес к разным течениям реформации, поддерживал связь с лютеранами, подхватывал суждения сторонников народных ересей, воспроизводил демонологические представления, бытовавшие среди сектантов – "спиритуалов", о бесконечной череде духов, витающих среди людей, злых и добрых, разрушающих и созидающих[5].

Так в творениях Дони мы находим весьма своеобычное сплетение разнородных представлений о Вселенной и человеческом

обществе. Взгляды писателя нередко явно расходились с официальной доктриной католической церкви. Не случайно его творчество постоянно привлекало внимание церковной цензуры. "Письма" Дони, в достатке содержащие крамольные мысли, в 1559 г. были включены в Индекс запрещенных книг, запрет на них повторялся вплоть до 1930 г.[6] Все остальные сочинения флорентийца уже после его смерти тоже попали в Индекс, опубликованный в Парме (1580 г.), но затем их дозволяли печатать после соответствующих исправлений, переделок и купюр.

В свете вышесказанного интерес Дони к оккультным наукам, магии чисел, кабале, пифагорейству не вызывает особого удивления. Правда, его отношение к этим предметам не одинаково, порой оно бывало ироническим, Дони присоединял свой голос к тем, кто считал недостойной деятельность предсказателей-шарлатанов. Однако, под влиянием контрреформации и осложнившейся общей атмосферы в Венеции, настроение Дони меняется. Он стремится доказать свою преданность римской церкви и в 1562 г. публикует "Декларацию о XIII главе Апокалипсиса" сначала в Падуе, а затем в Венеции у Габриеле Джолито деи Феррари[7]. Небольшое сочинение дополнено письмами Дони на ту же тему[8]. "Декларация" направлена против еретиков и Лютера, имя которого, переведенное на язык цифр, обозначено числом 666 – числом страшного зверя Апокалипсиса.

Но более развернутое представление писателя о магии чисел и связи ее с другими оккультными науками дают его "Числа", написанные в том же 1562 г. и посвященные Георгу Фуггеру (Giorgio Fuccari), одному из отпрысков рода знаменитых немецких банкиров.

Сочинение о числах подается как лекция, прочитанная в академии Пилигримов, и делится на три части. Первая, озаглавленная "Фатальные числа", содержит теоретические положения, раскрывающие способы выявления судьбоносных чисел. Магия чисел для Дони – наука о "божественных тайнах", неведомых людям. Он выступал сторонником свободного и инициативного поиска истины.. "Верю, – писал Дони Георгу Фуггеру, – что нашлось бы много новых наук..., если бы люди не старались всегда двигаться по стопам других, и тогда мы имели бы поразительные познания [о вещах], которые остаются скрытыми из-за нерадивости большой части умов, объятых сном" (р. 26; 113). Слова Дони вполне соотносились с суждениями передовых мыслителей той эпохи.

Используя предшествующий опыт и ссылаясь на "метод кабалы", Дони обещал не только раскрыть многие тайны, но и преду-

гадать грядущие события, узнать "почему государства претерпевают бедствия, осаду городов, восстания, грабежи, голод, убытки". Прекрасная вещь знать все о делах, происходящих в мире, о других государствах и государях, замечал Дони, дабы, узнав о неблагоприятных предзнаменованиях, найти способ избежать опасности. Последнее и является его целью. Все это "в моей душе", заявлял писатель. Он "мог бы разбогатеть", если бы злоупотреблял своими способностями, но Дони считал нечестным превращать важную науку в предмет торговли; он хотел бы раскрывать тайны мира "достойно" (р. 87; 140).

Стремясь быть более убедительным, Дони ссылался на авторитеты. Среди них Корнелий Агриппа – знаток кабалы, Дж.Пико делла Мирандола, писавший об оккультных науках и "ars numerandi", менее известные соотечественники Дони – Джулио Камилло Дельмино, развивавший учение о душе, Франческо Джорджо Венето. В сочинении фигурирует имя Пьера Франческо Джамбуллари – члена флорентийской академии, которого Дони знал лично, так как в течение 1545-1547 гг. был секретарем флорентийской академии, а в 1547 г. издал книгу Джамбуллари о Данте. Среди авторитетов и древние философы Платон, Пимандр, другие "смелые умы", которые, убежден Дони, предвидели, что свершится в будущем. Дони называл мыслителей, живших в раннее средневековье – Боэция, Беду Достопочтенного, прибегавших к аллегории цифр. Не забыта и XIII глава Апокалипсиса, в которой упоминается страшный зверь под числом 666[9].

Дони исходил из представлений, достаточно распространенных в его время, о том, что все вещи в мире имеют свое число. В каждом человеке число образует телесную оболочку; последняя становится инструментом речи. Речь так связана с массой тела, что тело получает способность изъявлять свои мысли. А слово – это число божественной тайны, (р. 28; 115). Вот почему необходимо понимание мистического значения чисел и букв. "Поистине великая вещь заключена в числе, – писал Дони. – Не удивляюсь теперь... мнению Платона, который утверждал, что Небеса состоят из чисел; и мудрец Соломон говорил, что божественное провидение создало все в числе, весе и мере" (р. 48-49; 122).

Свое число имеет и Бог; наука о числах помогает лучше понять его поучения и дела, расшифровать аллегории, содержащиеся в св.Писании. Дони предлагал ряд примеров; приведем один из них, разъясняющий смысл притчи о 153 рыбах, пойманных св.Петром, когда сеть забросили с правого борта его корабля. Согласно кабале, рассуждал Дони, семерка – сакральная

цифра, а єдиница – число Бога. Поставленные рядом единица и семерка образуют число 17. Дважды 17 дает 34. Христос жил на Земле 33 года; прибавив к этому числу единицу (число бога-отца), получим 34 – сакральное число, выражающее единство Бога – отца и сына. Три раза по 17 дает 51 – число, выражающее единство бога-отца, сына и духа святого, т.е. св.Троицу. Умножив 51 на три получим 153. Именно столько рыб и было поймано. Притча о ловле рыбы имеет, по Дони, глубокий смысл; это аллегория: корабль св.Петра – символ "святой римской церкви", правый борт корабля – христианской доктрины (в "Декларации о XIII главе Апокалипсиса" правый борт корабля символизирует духовенство, левый борт – светских людей); место св.Петра занимает римский понтифик, рыболовная сеть – поучения Христа, а рыбы – спасение в вере.

Сакральное значение, по Дони, имеют не только сами числа, но также их сочетания с геометрическими фигурами. Так квадрат, разделенный на девять равных частей, образует девять малых квадратов, "комнат". В них располагаются девять первых чисел таким образом, что в каждой строке их сумма образует магическое число 15. Важной является пятерка, занимающая центр фигуры, помноженная на 9, она дает магическое число 45 (равное сумме первых 9 чисел). Магическим является и производное от 45 число 450. Дони делил цифры на мужские – нечетные и женские – четные. Ноль он называл двуполым, гермафродитом, в сочетании с остальными цифрами он образует десятки и сотни (р. 30-31; 116).

Стремясь выявить магическое значение чисел и расшифровать иносказание, Дони переводил слова на язык цифр. Сочетая буквы итальянского или латинского алфавитов с арабскими цифрами и привлекая астрологический материал, он говорил о так называемых "домах" – "Доме Звезд", "Доме Солнца", "Доме Луны", "Доме Милосердия", "Доме Скорпиона", "Доме Разрушения", "Доме Оракула" и т.п. Каждому из них соответствуют свои числа. Так, к примеру, число "Дома Луны" – 30 (равное количеству дней обращения Луны вокруг Земли). Оно выведено в результате сложения числа букв итальянского алфавита (их 20) и цифры 10 (9 первых арабских цифр + ноль) (р. 41; 119-120). "Дому Солнца" соответствует число 180; оно образовано следующим образом: к двадцати буквам алфавита, расположенным по вертикали, пристраиваются в девяти рядах цифры по порядку; последним числом, напротив буквы Z, оказывается 180 (р. 42; 120).

Дони привлекает внимание к фигуре, которую «граф Пико делла Мирандола назвал "Домом элементов"». Это тоже квад-

рат, разделенный на 9 "комнат", семь из них занимают абстрактные понятия – символы элементов, из которых состоит "наше тело" (число, равномерность, признак, четкость или ясность) и три, олицетворяющие состояние души (разумное, гневливое и вожделенное); две комнаты отведены Случаю (в центре фигуры) и Времени, имеющим отношение как к телу, так и к душе. Подчеркивается важность знания этих элементов при раскрытии божественных тайн.

В сочинении большое место отводится методам определения фатальных чисел. Это может быть "суммирование имен", иначе говоря исходным материалом могут служить "имена, фамилии и титулы", буквы, составляющие их, переводятся на язык цифр. Но исходным материалом могут быть и числа, за которыми скрываются имена, ибо "числа – это люди". Дони подчеркивал обязательность составления таблиц: "Не вздумай фантазировать без таблиц," – предупреждал он, отмечая при этом трудность поставленной задачи – необходимость учитывать "божественное значение" цифр и букв, расположение звезд и небесных сфер, соответствие разных "домов". Все это связано со сложными расчетами. Не случайно, замечал Дони, Платон на двери своего дома написал: "Не входи сюда, если ты не математик" (р. 90, 142).

Знакомя читателя с возможными сочетаниями букв и цифр, Дони не был оригинален, он излагал построения своих предшественников и добавлял к ним свои. При этом одни и те же буквы получали разное цифровое обозначение (р. 40-41; 44).

Теоретические положения Дони подкреплял конкретными примерами. Заметим, что все они толкуют о событиях прошедших. Так, роковым для Юлия Цезаря объявляется "особое" число 69 (перевернутое оно не меняет значения). За ним скрываются фразы, соответствующие трем "Домам" ("Империи", "Власти" и "Разрушения"), которые гласят: "Юлий Цезарь – первый император Рима", "Императором будет Гай Юлий Цезарь" и "Убит в Сенате". В цифровом выражении каждое дает число 69 (р. 55-56; 124-125). Сакральным числом Александра Македонского оказывается 509, ибо слова "Александр Великий был господином мира" в переводе на язык цифр образуют это число (р. 124-125).

Вариантам "исчислять, суммировать и извлекать секреты" из таблиц целиком посвящена вторая часть "Чисел". Дони старается найти цифровое выражение начала и конца итальянских войн, определить фатальные числа "первых четырех людей", способствовавших развитию "тосканского языка" – Франческо Петрарки, Данте Алигьери, Ариосто и Джованни Боккаччо. На вопрос, где

они умрут, ответ, подкрепленный цифрами, гласит: "первый умрет вдали от родины, второй умрет в Равенне, третий будет похоронен в Ферраре, четвертый умрет в Чертальдо". Дони "предсказывал" трагическую судьбу Сиены, утрату ею независимости, в результате чего "герцог Козимо Медичи станет первым сеньором", – события уже произошедшие. Пользуясь случаем, Дони напоминал о своем недруге Пьетро Аретино, на которого в свое время написал злой пасквиль и предсказал его смерть, последовавшую в 1556 г. По-прежнему Дони характеризовал Аретино как злодея и объяснял, каким способом он нашел его роковое число: составив фразу "Дурной язык Пьетро Аретино умрет в Венеции" и подставив цифры, соответствующие "Дому Скорпиона", он получил нужную сумму – 1556 (р. 80; 135).

Любопытен пример, оттеняющий манеру письма Дони, где он рассказывает о медали, которую кто-то всунул в руку поставщику вин папы Климента VII (названного графом), когда он распоряжался очистить от старья виноградник. На медали была изображена прекрасная обнаженная женщина, а на обратной стороне – большой город с цифрой 9-90. Вокруг изображений шли буквы: с одной стороны – S.R.E.L.C.S. а с другой – D.I.A.D.V.I.I.C. Медаль переходила из рук в руки и оказалась в Равенне, где ее берегли как великую ценность и пытались объяснить смысл букв, пользуясь латинским языком. "Я, – писал Дони, – родился в народной Флоренции и меня больше устраивает Тоскана, чем Равенна. Я думаю, что этот город – Рим, а прекрасная женщина – церковь". На медали— предсказание о разгроме Рима (Sacco di Roma, 1525 г.). Умножив 9 на 90, доказывал Дони, получим 810, а расшифровав это число увидим две фразы: "Будут Рим и церковь разграблены" и "испанцами во времена Климента VII" ("Sara Roma e la chiesa saccheggiata" и "... Da ispagnuoli altempo del settimo (VII) Clemente (h. 62-63; 125-126). Если Вам не нравится итальянский алфавит, вдруг восклицал Флорентиец, он не станет спорить и готов доказать свою правоту, используя алфавит латинский. Дони переходил к примеру о грехопадении праотца Адама и давнем предсказании, что Христос будет Спасителем. Этот пример и вместе с тем вторую часть сочинения Дони заканчивал сентенцией: "Меня удивляет, как древние евреи, зная эти и более важные дела, не обратились к Христу" (р. 70, 130).

Третья часть сочинения Дони посвящена определению фатальных чисел римских понтификов первой половины XVI в. – Пия III, Юлия II, Льва X, Адриана, Климента VII, Павла III, Юлия III, Марцелла, Павла IV и Пия IV. И здесь выбрана форма пророчества о том, кто за кем будет занимать святой престол, хотя все

названные папы, за исключением Пия IV, уже давно почили в бозе.

Каковы же выводы из всего вышесказанного?

Прежде всего ясно, что в "Числах" Дони по своему обычаю откликнулся на одну из злободневных проблем своего времени, включился в споры об оккультных науках, астрологии, кабале, магии, рассматривая их как науки о нераскрытых связях естественных явлений, влияющих на судьбы людей. Средневековому агностицизму гуманисты противопоставили свои гносеологические принципы – чувственное восприятие реальности, рационализм, опыт. Натурфилософы XVI в. прибавили к этому другие средства познания, доступные человеку – интуицию, предчувствия, умозрительные расчеты и предположения и т.п. Нередко вместе с этим они оживляли и некоторые средневековые представления. Так относился к магии чисел и Дони. В его сочинениях явно слышатся отзвуки учений вольнолюбивых мыслителей Позднего Возрождения. В них своеобычно отражались также идеи, ставшие достоянием широких масс. "Числа" – несомненное свидетельство нового восприятия в Италии оккультных наук.

Смелый критик пороков общества, поборник свободного познания окружающего, Дони, тесно связанный с культурой Возрождения, вместе с тем в условиях натиска контрреформации становится более осторожным в своих суждениях. Он стремился доказать, что искусство магии и обращение к кабале не противоречат христианской доктрине, и пытался толковать символику св.Писания в интересах "святой римской церкви", римских понтификов, Тридентского собора, других католических институтов, замещающих на Земле Христа и св.Троицу. При этом он не избежал, возможно умышленно, традиционной интерпретации аллегорий.

Следует заметить, что в целом "Числа" не отражают глубокого знания их автором ни астрологии, ни кабалы. Серьезное увлечение оккультными науками, видимо, не было присуще Дони, скептику по натуре, мыслившему здраво и приземленно. Издательница его сочинения А.Дель Фанте справедливо подмечает, что Флорентиец и тут порой иронизирует, использует материал для намеков на отдельных лиц или события, как в случае с Аретино[10]. Иначе говоря, "Числа" написаны в обычной для Дони манере – рассуждения серьезные сочетаются с иронией и скепсисом. Тем самым Дони отразил в какой-то степени и другое отношение к оккультным наукам – критическое, также существовавшее в ту пору. Известно, с каким сарказмом отзывались о предсказателях будущего Эразм Роттердамский и Томас Мор[11]. Отрицательное

отношение к ним высказал и французский современник Дони, Мишель Монтень, объяснявший веру в пророчества тем, что "во времена общественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются во власть суеверий и пытаются выискать причины и предвестие обрушившихся на них несчастий в грозных знамениях, являвшихся бог весть откуда". Заметив, что его современники при этом обнаруживают "непостижимое искусство и ловкость", Монтень пришел к убеждению, что "для умов острых и праздных это занятие не что иное, как развлечение"; главное условие таких гаданий – темный язык, двусмысленность и причудливость пророческой речи"[12]. Что касается Дони, то его определения фатальных чисел тоже похожи на развлечение, вроде составления и разгадки ребусов или шарад. Обещая Георгу Фуггеру открыть неведомые людям тайны мироздания и предсказать важные грядущие события, он, в сущности, претендовал на роль гадателя. Однако в "Числах" Дони им не стал: в этом любопытном сочинении он фактически не высказал ни одного пророчества. Отыскивая фатальные цифры, Дони, как мы отмечали, говорил о делах минувших, даты жизни и смерти людей и их деяний были уже известны. Цель его обещаний, видимо, другая – привлечь к себе внимание меценатов, в помощи которых он нуждался, оказавшись в стесненных обстоятельствах, поскольку полоса свободной литературной работы его в Венеции завершалась, вскоре Дони был вынужден переселиться в Монселиче, где и окончил свои дни.

О Дони можно говорить много, столь незаурядна его личность. Он – типичный сын своей эпохи, эпохи Позднего Возрождения, на которой уже лежала печать Реформации и Контрреформации. Сквозь призму его произведений, включая и "Числа", – весьма характерные для XVI в., хорошо просматриваются особенности переломного времени, определенного этапа в развитии социальной мысли и соответствующего уровня общественного сознания. В произведениях Дони своеобразно отразились противоречивые религиозно-философские искания, живучесть средневековых верований, сочетавшихся с идеями гуманизма и зарождавшимся новым взглядом на мироздание, который более определенно сформировался уже позднее, в XVII в.

---

[1] Doni A. F. I Numeri / A cura di Alessandra del Fante. Roma, 1981. Далее ссылки на это сочинение даются в тексте.

[2] См. подробнее: Ginzburg C. I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento. Torino, 1974.

[3] См.: Trevor-Ruper H.R. Caccia alle streghe in Europa nel'500 e nel'600 // La Stregoneria in Europa (1450-1650)/ A cura di Marina Romancello. Bologna. Ed. 3. 1981. P. 161-163, 170.

[4] См. подробнее: Гарэн Э. Магия и астрология в культуре Возрождения // Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986. С. 331-349; Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977. С. 290-295.

[5] О Дони подробнее см.: Ricottini Marsili Libelli C. Anton Francesco Doni scrittore e stampatore. Firenze. 1960; Grendler P.F. Critics of the Italian World (1530-1560). Anton Francesco Doni, Niccolo Franco et Ortensio Lando. Madison Milwaukee and London, 1969; Чиколини Л.С. Социальная утопия в Италии (XVI-XVII вв.). М., 1980. С. 207-248.

[6] См.: Del Fante A. Introduzione // Doni A.F. Numeri. P. 10.

[7] Doni (A.F.) Dichiaratione sopra il XIII cap. dell Apocalisse contro a gli heretici con modi non mai piu intesi da huomo vivente // Doni A.F. I Numeri (Appendice). P. 156-168. Об изданиях сочинения см. Ricottini Marseli Libelli C. Op.cit. P. 118.

[8] Doni A.F. I Numeri. P. 169-180.

[9] Подробнее об источниках Дони см.: Del Fante A. Op.cit.

[10] Ibid. P. 20-21.

[11] См. Чиколини Л.С. Переводы Эразма и Мора из Лукиана// Эразм Роттердамский и его время. М., 1989. С. 127, 132

[12] Монтень М. Опыты. М., Л., 1958. С. 56-57.

М. Ю. МЕДВЕДЕВ

ОТ НЕМОГО ДЕВИЗА К АЛЛЕГОРИИ: МЕТАМОРФОЗЫ ЖАНРА

В эпоху осени средневековья, а затем и в эпоху ренессанса огромную роль в репрезентации власти европейских государей сыграли изобразительные девизы quae ab Italis imprese vulgo nominatur. Жанр девизов сложился как вспомогательный жанр геральдики[1]; и господство эмблематического как над символическим, так и над аллегорическим, вообще свойственное исконной геральдической традиции, определило характер многих ранних девизов, указывавших – прямо или косвенно – на персону обладателя власти, но отнюдь не на его качества. Понятие «эмблема» употребляется здесь в современном значении, широко принятом в геральдике, т.е. для обозначения притяжательного знака, а не в «альчиатовом» смысле. Иногда девиз указывал также на конкретные политические намерения, на образ действий его обладателя – таковы были «франкофильский» олень Ричарда II Плантагенета[2] и девизные перебранки, в ходе которых одна эмблема появлялась как ответ на другую. Но чаще всего вместо аналитической сюжетности мы находим в таких девизах эмблематическое значение; их смысл раскрывается в контексте других эмблем и обозначений. Так, смысл оленя короля Ричарда явствует из его сходства с крылатым оленем французского родича и, вероятно, из созвучия (Rich Hart). Символическое богатство, заключенное в образе оленя, как и аллегорические моменты (корона в соединении с цепью, поза оленя), остаются в силе, но отступают на второй план.

Другой пример – горностай Анны Бретонской, королевы Франции. Символическое значение горностая, ценой жизни готового сохранить свою чистоту, как нельзя лучше соответствует положению христианнейшей королевы. Но решающую роль здесь, безусловно, играла не символика, а эмблематика: горностай еще при предках Анны был выведен из горностаевого меха в гербовом щите герцогов Бретани.

Со временем немые девизы государей все чаще получали значение аллегорий; в них запечатлялся инвертированный ана-

лиз свойств власти и ее носителя, их соотнесение с общими понятиями и ценностями. При этом знак мог быть очень лаконичен, и его аллегорическая сюжетность нередко раскрывалась лишь в той мере, в какой знак соотносился с персоной обладателя и служил репрезентации его власти. Такова, например, рука ангела с огненным мечом, служившая девизом князю церкви – кардиналу Карлу Бурбонскому[3].

Но девиз мог оказаться и более сложным по структуре или же более темным по значению – таковы были разноцветные перья Козимо де Медичи, служившие обозначением трех добродетелей и сопровождавшиеся словом «SEMPER»[4]. Эта импреза Козимо (как и некоторые другие[5]) обращает наше внимание на еще одну черту культуры девизов: изобилие стереотипных фигур и «бродячих» мотивов. Это роднит девизы с гербами и является выражением интегрирующего пафоса, свойственного геральдике вообще и побуждающего заявлять о себе при помощи клишированных формул.

Все это наследство достается XVI столетию, в котором Карл Габсбургский пользуется ярмом Католических королей, а Лев X Медичи – ярмом Козимо, добавляя к нему евангельское SUAVE и таким образом поясняя свою политическую позицию. Подобному пояснению служит и другая традиционная медицейская импреза, употреблявшаяся Львом X – белые перья, вдетые в кольцо с алмазом и сопровожденные словом SEMPER. Девиз восходит к перьям Козимо, кольцо с алмазом – также старая родовая эмблема, но общее значение композиции вполне самостоятельно (SEMPER ADAMAS IN POENIS; penna – перо)[6]. Тема твердости, проявляемой среди испытаний, одушевляет девизы великих современников папы Льва – императора Максимилиана I (колесо Фортуны, окруженное лезвиями, с державой наверху и плодом граната внизу; «душа», т.е. текстовая часть девиза – PER TOT DISCRIMINA), Франциска I Французского (саламандра). Сын Франциска, дофин Генрих, обзавелся в качестве девиза полумесяцем. С эмблематической точки зрения месяц – это старинный капетингский знак[7] и указание на возлюбленную короля, Диану; но «душа» DONEC TOTUM IMPLEAT ORBEM говорит о другом. Генрих, наследник, еще не достигший престола, уподобляет себя луне, еще не достигшей полноты[8]. Впоследствии, с восшествием Генриха на престол, месяц сохраняется, но при помощи различных знаковых модификаций возмещает свою неполноту. Не менее информативен в политическом отношении девиз кардинала Алессандро Фарнезе, легата, посланного в Германию с антилютеранской миссией: это перун с текстом HOC UNO

IUPITER ULTOR (т.е. кардинал отождествлял себя с молнией, посланной рукой папы)[9]. Подобных примеров множество. Все эти знаки служат эмблемами своих хозяев, свидетельствуют об их правовом, военном, моральном присутствии. Но они также доносят до нас голос власти, которая хочет объясниться, обосновать свои действия, права и претензии, рассказать о своих достойных почтения свойствах. Символизм и аллегоричность подобных девизов являют собой своеобразную параллель работе легистов и политических теоретиков, подводивших писаную основу под права государя. В одном случае власть осмысляется в свете чтимых правовых принципов; в другом случае в ход идут чтимые образы, чтимые идеи добродетелей.

Яркие примеры подобной апологетической риторизации девизов мы находим в геральдической практике английского королевского дома. Вплоть до первого из Тюдоров включительно здесь господствуют эмблематизм. Девизы Анны Болейн и Иоанны Сеймур, напротив, представляют собой конгломераты аллегорий: пылающий феникс, сад за стеной, прорастающий розами пень, плодоносящее дерево как бы оказываются персонажами в пределах сложных девизов. Более тривиальные по структуре девизы первой и последней супруг Генриха при ближайшем рассмотрении также не чужды аллегоризма. За всем этим стоит династическая идея и, таким образом, репрезентация верховной власти. Королева Мария обзаводится тривиально-эмблематичной коронованной розой в солнечном сиянии, «рассеченной» с пучком арагонских стрел на фоне ливрейных тюдоровских цветов (все выстроено из более ранних девизов и их элементов), тогда как Елизавета I возрождает материнский сложный девиз с соколом на процветшем пне, а также пользуется изображением феникса[10] (что указывает на судьбу Елизаветы и ее матери, но курьезным образом перекликается и с фениксом Иоанны Сеймур): в ход идут вновь аллегории и аллегорическая риторика. Мы видим тот же вкус к нравоучительным композициям и изобразительным притчам, которые вдохновили множество медальерных шедевров, а равно знаменитую «Emblematum liber» А.Альчиати 1531 г. и многочисленные подражания ей.

Но в отличие от личных девизов, альчиатовы композиции указывают на свойства, качества, чувства, а не на их конкретных носителей. Задача подобных сочинений – помочь читателю осознать мир в категориях классической учености, благоразумия и благочестия. Этому были посвящены и работы Клода Парадена – первого автора, обратившегося к изобразительным девизам (Devises héroiques, 1551). Для Парадена девиз интересен своей

нравоучительной символичностью; апеллируя к вечным ценностям, он существует как бы над историей. Рассуждая о полумесяце Генриха II, Параден толкует его как символ Церкви и не касается ни обстоятельств принятия этого девиза, ни его соответствия имени королевской возлюбленной[11]. Более того, для Парадена грани между личными и «ничьими» знаками не существует, в «Героических девизах» они перемешаны, причем первенствуют, открывают и закрывают книгу именно благочестиво-безличные аллегории, трактующие темы веры, спасения и смерти.

Но все же немые девизы не затерялись в аллегорической игре последователей Альчиати. В 1555 г. вышло в свет посмертное издание «Рассуждения об импрезах» Паоло Джовио, легшее в основу обширной «импрезологии».

Джовио вполне естественным образом заинтересовался девизами как гуманист-коллекционер и как историк. Не исключено, что свою роль сыграло (как в свое время у Бартоло Сассоферратского) и сугубо личное обстоятельство: по некоторым сведениям, род Джовио получил от Карла V право вносить в свой герб императорский девиз – «Геркулесовы столпы». Так или иначе, в XVIII в. это право было подтверждено за графами Джовио.

Исторический пафос Паоло Джовио заставляет его уделить сравнительно много внимания практике употребления девизов, тому, как они служили идентификации и репрезентации их хозяев, помещались на нарядах, боевых знаменах, флажках, украшали покои государей и значительных людей, изображались на медалях и т.д. В «Рассуждении» повествуется о связи девизов с цветом одежд (что, на мой взгляд, подтверждает связь девизной и ливрейной практик). С интересом и удовольствием Джовио рассказывает об исторических ситуациях, вызвавших к жизни тот или иной девиз. Джовио пишет о произведениях, близких к девизам – например, о стенных росписях, в которых присутствует аллегорическая игра образов, указывающая на определенных персонажей[12]. Собственно, такие композиции указывают на персонажа, но не служат его идентификации; они граничат с миром эмблем, но не принадлежат ему. Это не смущает Джовио: его внимание историка-гуманиста сфокусировано не на пределах жанра, а на том, как достойная внимания личность отражается в знаке или совокупности знаков.

Точно так же интерес Джовио как наставника-гуманиста обращен к воспитанию должного вкуса и должного умения у аудитории. В этом случае личная природа импрезы выносится за скобки, а речь идет о структуре и форме: о наилучших пропорциях «души» и «тела», о наилучшем выборе языка для «души» и

т.д. Как настоящий член образованного сообщества, Джовио настаивает, что девиз обязан быть понятным для всех ученых людей, возвышаясь лишь над пониманием неэрудированного простолюдина. «Темные» и неудобопонятные девизы Джовио порицает и высмеивает[13]. Эти и другие требования автор «Рассуждения» сводит в пять принципов сочинения «правильной» импрезы и таким образом жестко формализует жанр.

«Рассуждение» написано в форме диалога между Джовио и его учеником Лодовико Доменики. Наставления учителя пестрят критическими замечаниями по поводу более или менее удачных немых девизов, а на последних страницах дается разбор новосочиненного знака[14]. Книга Джовио являет собой в равной мере аннотированную историческую коллекцию и пособие для сочинителей новых девизов.

«Рассуждение об импрезах» снискало огромный успех у образованной аудитории и вызвало к жизни ряд ярких подражаний – и в своем качестве коллекции, и как пособие. Предложенные Джовио формальные принципы сочинения немых девизов были встречены с особенным интересом. В собственном диалоге об искусстве девизов Лодовико Доменики настаивает на том, что огромный личный авторитет Джовио является достаточным основанием для беспрекословного принятия провозглашенных им принципов[15]. Доменики уподобляет учителя выдающимся правоведам, писания которых имеют силу закона. Другой автор, Камилло Камилли, в сборнике девизов (Imprese illustri, 1585) подвергает собранные им примеры жесткой критике с опорой на джовианскую концепцию. Великий Тассо в собственном сочинении (Il conte Ovvero delle imprese, 1594) перечисляет разнообразные памятники, связанные с девизами, в том числе реверсы медалей; он бурно обсуждает разнообразные варианты и способы определения того, что есть девиз; но весь труд резюмируется повторением принципов Джовио.

При этом, однако, бросаются в глаза два существенных обстоятельства. Во-первых, историзм Джовио стремительно выветриваются из сочинений его последователей и продолжателей. Для Джироламо Рушелли (Le imprese illustri...) всего важнее моральное значение импрез; исторические обстоятельства, отраженные в них, отступают на второй план. То же мы находим и у Принчипио Фабрици в его книге импрез и аллегорий, посвященных жизни и деяниям Григория XIII (Delle allusioni imprese et emblemi... sopra la vita... di Gregorio XIII): биографическая конкретика оказывается только поводом для благочестивых символических построений и наставительных рассуждений. Уже упо-

минавшийся Камилли также интересуется отвлеченно-моральной, а не личностной стороной искусства девизов, и так далее.

Другое важное обстоятельство, прямо связанное с первым – это смешение личных девизов с безличными символами и аллегориями. Здесь, помимо наследия Джовио, явно сказывается влияние Парадена и всей традиции, связанной с Альчиати. Творчество Габриэле Симеоне, автора изданных в Лионе в 1560 г. «Нравоучительных девизов» и добавленного к ним «Благочестивого диалога» (Sentenziose imprese; Dialogo pio e speculativo… – названия говорят сами за себя), может служить ярким примером этой тенденции. Недаром сочинения Парадена и Симеоне были в 1562 г. объединены антверпенским издателем в одну книгу, впоследствии не раз переиздававшуюся.

Один за другим авторы смешивают девизы, символы, эмблемы (в альчиатовом понимании этого слова). Процитирую только название книги Абрахама Фронса, изданной в Лондоне в 1588 г.: «Объяснение знаков, гербов, эмблем, иероглифов и символов, которые от итальянцев именуются импрезами». Со временем все сильнее сказывается влияние Гораполлона, Чезаре Рипы (чей труд «Иконология» был опубликован в Риме в 1593 г.).

Обе тенденции нашли закономерное выражение в пражском увраже Иакова Типоция, изданном в 1601-1603 гг. Реестр личных немых девизов открывается чередой символов Церкви (не как институции, но как мистического явления), Евхаристии и т.д. Толкование импрез (Типоций именует это «иерографией») сфокусировано на их возвышенно-нравственном значении. Текст полон восторженно-уважительных упоминаний Джовио; но реальное влияние Джовио на Типоция – даже в том, что касается формальных правил – очень невелико[16]. Следующим шагом может быть лишь систематическое сочинение универсальных, псевдоэмблематических импрез «для всех и никого», что в конце концов и делает Сааведра Фахардо[17].

Знаковое обезличивание власти уже совершенно иноприродно культуре немых девизов.

Как мы видим, джовианская традиция очень быстро и последовательно становится скорее «параденовско-альчиатовской» и в конечном счете утопает в искусстве абстрактных аллегорий.

Такова ситуация в девизной литературе. Она прямо перекликается с практикой, ведь новые девизы сочинялись по большей части учеными людьми, читавшими эту литературу, а порой и писавшими собственные труды. Говоря о практике, в первую очередь следует подчеркнуть, с каким рвением значительные особы окружали себя девизами. Множественные немые девизы,

параллельно употребляемые одним и тем же персонажем – это не новость, такое нередко встречалось еще в XV веке. Паоло Джовио описывает украшенное изобилием девизов (которые он сам подбирал) знамя Андреа Гонзаго; однако в этом случае в ход шли эмблемы блистательных предков, которые достались Андреа по наследству[18]. Но к концу XVI века намечается новое настроение, не признающее одну импрезу достаточной. Богатство девизов должно соответствовать богатству натуры их обладателя, изобилию тех конкретных черт его характера, которые достойны восхваления. Портреты все чаще окружаются чередами немых девизов (или вытесняются ими, как в 1623 г. в книге Джованни Ферро «Teatro d'imprese...», где помещен аллегорический портрет кардинала Барберини в виде россыпи девизов). Иными словами, импрезы более не обозначают своих хозяев, они обозначают их качества.

Итак, героические девизы интегрируются в культуру моральных аллегорий, а идея героического растворяется в идее морального. Средневековый полумистический обладатель власти и наследовавшая ему сильная власть ренессанса распадаются на умопостигаемые качества – по крайней мере в зеркале обсуждаемого нами жанра. Поздние импрезы теряют эмблематизм, и гербы более не делят с ними первенства в качестве средств идентификации.

На периферии гербовой практики остаются обломки девизного наследия. По-прежнему широко употребляются лишь немые девизы, прямо повторяющие ту или иную фигуру герба. Здесь можно вспомнить шедевры конца XVI столетия – эмблемы Сикста V, украшающие здания и монументы Ватикана. Это лев, тройная гора, звезда из собственного герба Феличе Перетти – Сикста V (по мнению ряда исследователей, этот герб был сочинен для него, а не достался папе по наследству). Все эти фигуры используются то сами по себе, то с соответствующими словесными девизами (например, для льва: «SI RUGIET, QUIS NON TIMEBIT?», «JUSTUS UT LEO CONFIDENS», «VICIT LEO DE TRIBU JUDA» и так далее). А аллегорические фрески запечатляют льва, гору и плодоносящие ветви (еще один элемент из папского герба) как элементы, органически включенные в помпезные живописные постановки[19]. Таковы формы, в которых в основном культура подлинно геральдического девиза перешагивает рубеж ренессанса.

[1] Обоснование этого традиционного, но не раз оспоренного тезиса я хотел бы на этот раз вынести за скобки.

[2] Beaune C. Costume et pouvoir en France à la fin du Moyen Âge: Les devises royales vers 1400.// Revue des sciences humaines. Tome LV, №183. Paris, 1981, p.143

[3] Naumann H. Die Wappenzeugnisse des Kardinals Charles de Bourbon/ / Archivum Heraldicum. Schweizer Archiv für Heraldik. 1990, № II, p.100 et infra.

[4] Giovio P. Ragionamento... sopra i motti e disegni d'arme e d'amore... Milano, 1863, p. 20, 21

[5] Idem, p. 7, 20

[6] Martin J. Heraldry in the Vatican. Gerrards Cross, 1987, p. 77-79.

[7] Pinoteau H. Les ordres de chevalerie du roi de France et l'héraldique.// Genealogica et Heraldica. Copenhagen, 1982, p.256-257, 266-267.

[8] Giovio. P.14 и мн. др.

[9] Idem, p. 58.

[10] О перечисляемых здесь английских девизах см.: Fox-Davies A.C. Heraldic Badges. London-New York, 1907, p.98-99, 113-114, 125; Bedingfield H., Gwynn-Jones P. Heraldry. London, 1993, p. 118; Brooke-Little J.P. Royal Heraldry. Derby, 1987, p.19, etc.

[11] Paradin C. Devises héroiques et emblemes. Paris, 1621, p. 19 (здесь же и упоминание о Диане, но это – позднейшее добавление, сделанное Ф. д'Амбуазом и к тому же не касающееся символики полумесяца).

[12] Giovio. P.20 etc.

[13] Idem, p.7 etc.

[14] Idem, p.67.

[15] Giovio P. Dialogo dell'imprese militari et amorose... Venezia, 1557, p.104 (диалог Доменики в этом издании приложен к диалогу его учителя).

[16] Typotius (Tipoets) J. Symbola divina et humana. Praga, 1600-1603. Показательно, что Типоций, ссылаясь на Джовио, в то же время перевирает некоторые его пассажи.

[17] Saavedra Fajardo D. Idea principis christiano-politici C symbolis expressa. Coloniae, 1649. В изящном переводе Феофана Прокоповича – «Изображение христиано-политического властелина, символами объясненное...».

[18] Giovio. Ragionamento... p.60.

[19] Martin. p. 103-107.

ЧЕЛОВЕК В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

А.А.СВАНИДЗЕ

ДАТЧАНЕ В XVI ВЕКЕ

Обычно, когда речь заходит о датчанах XVI века, внимание привлекают громкие имена – гуманистов и реформаторов, королей и ученых, великих художников и зодчих, прославленных политиков, полководцев и т.п. Гораздо меньше известно об «обычных», ничем примечательных людях, которые, однако, несли в себе все черты этой бурной переходной эпохи. О них почти невозможно прочитать в документах того времени. Их биографии, образ мыслей, сами имена покрыты пеленой неизвестности. С определенными усилиями можно еще составить своего рода коллективный их портрет, представить себе образ жизни и мыслей, поведение и пристрастия «обычного» человека. Они во многих случаях оказываются весьма далекими от ренессансных идеалов, весьма консервативными и неожиданно более «дикими», чем можно было бы ожидать. Выясняется также, что и представители элитарной культуры в своей повседневной жизни сохраняли множество черт, свойств «простонародности», были весьма привержены традиционным, консервативным нормам поведения и предрассудкам.

Итак, обычный датчанин – или повседневная жизнь датчан – в XVI веке.

Прежде всего необходимо отметить, что в повседневной жизни датчан XVI века, как и по всему европейскому Северу, господствовали общинность, коллективизм, ориентированность на интересы и мнение группы. Государственная, церковная, семейная и групповая (общины, цеха, гильдии, монастыря, сословной или служебной группы, т. наз. "своего круга") дисциплина и этика определяли поведение людей. Традиции и конформизм предостерегали от необычных ситуаций, одежды или поступков, выходящих за пределы общепринятых: люди боялись оказаться вне своей группы. Опора на заповеди Господа, авторитеты, ссылки на "старые добрые времена" и "отцов-дедов», соблюдение законов, обычаев, традиций были условием "нормального" поведения. Власть хозяина, каждого на своем уровне, – короля, ленсмана, владельца поместья, цехового мастера, пастора, учителя, отца-семейства – была незыблемой. Традиционные «процеду-

ры», ритуалы, которыми были обставлены все события жизни, регулировали поведение людей.

Что делают супруги утром и вечером, дают ли детям благословения и поучения, как покупают и продают, как относятся к старшим – все было под надзором. В приходе этим занимался пастор, роль которого в повседневной жизни людей стала намного выше, чем роль католического священника до Реформации. Общим регулированием поведения народа занималось государство: во второй половине XVI в. короли (Кристиан III, Фредерик II) совместно с риксродом издают распоряжения касательно одежды людей из разных социальных групп в разные дни, их пищи и питья, порядка праздников и похорон. В 1571 г. знатная дама Пернилле Оксе просила королевского дозволения воздвигнуть гробницу ее покойному мужу – адмиралу в церкви Богоматери (Фру Кирке, Копенгаген) – и король разрешил: он, следовательно, лично ведал и такими вопросами[1].

В повседневном быту преобладали и другие традиционные нормы. Ели обычно дважды в день, каждому полагалось иметь собственные нож, ложку и вилку. Посуда чаще всего была деревянной. Рацион питания простолюдинов был скуден, мясо и рыба потреблялись обычно в соленом или вяленом виде. Состоятельные люди питались более обильно и разнообразно: ели мясо, в том числе свежего, фрукты, пряности и сласти[2]. С середины XVI в. в Дании появляются книги о рациональном питании и сборники кулинарных рецептов, чаще всего привозные. Пили много пива, но также свежее и кислое молоко мед, вино. Злоупотребление хмельными напитками обусловило повсеместное пьянство, распространенное среди всех слоев населения. В протоколах судов XVI в. постоянно встречаются дела о пастырях и епископах, которые устраивают пьяные драки между собой и прихожанами. В Бергене молодой пастор в пьяном виде спалил от свечи полгорода. Некоторые священнослужители, напиваясь, не могли говорить с кафедры и даже стоять там. Местные собрания протестантских священников, которые созывались 3-4 раза в год для обсуждения разных дел, превращались в коллективные пьянки и оргии, вследствие чего были запрещены властями. Но пьянствовали все сословия, включая школяров, которые приносили пиво в школу. Никого не удивляли пьяные прихожане в церкви.

Матрос получал до 7 л. пива в день! Знатный господин Стен из рода Тре Розор, по воспоминаниям его сестры, пьянствовал с гостями в течение нескольких дней: сначала пили испанское вино, потом стали смешивать его с пивом; затем господин Стен

вышел на воздух, заснул на улице и жестоко простудился, от чего и умер. Педагог и ученый Хейнрих Рантцау (Heinrich Rantzau) в своих сочинениях задавался вопросом не о том, пить или не пить, а как пить, сколько, что и в какой компании[3].

Трудно сказать, в какой мере меню или разгул пьянства стимулировались реформационно-ренессансной перестройкой. Но в костюм Возрождение определенно внесло свои поправки. У бондов наряду с традиционными штанами, рубахой из домотканного полотна и плащем из грубого сукна натуральных цветов появились кафтан и суконная шляпа. На портретах того времени, которые заказывали дворяне, богатые бюргеры, университетские профессора, черные одежды этих людей увешаны массивными золотыми цепями, а скромно облегающие голову чепчики дам усеяны жемчугами. Аристократы, однако, носили и яркую, роскошную одежду из дорогих тканей. Так одевались члены королевской семьи, придворные, богатые помещики. На одной из фресок (ок. 1550 г.) госпожа Карен Краббе изображена в платье по моде «а la Мария Стюарт», на фоне цветущих растений, у карточного стола[4]. Реформатор Педер Палладиус сетовал на то, что "нынче молодые люди в будни используют больше украшений, чем их отец в свадебной одежде» (1556).

Вслед за Лютером, духовная пропаганда ренессансной Дании много внимания уделяла отношениям в семье. Они строились патриархально. Любовь и секс ценились намного ниже супружества. В браке приветствовались не страсть, а взаимопонимание супругов, совместное ведение домохозяйства и дел, воспитание детей. Вступление в брак было необходимо по соображениям не только хозяйственным или продолжения рода, но и общественного престижа. Отсутствие родни выталкивало человека за пределы групповой защиты и, во всяком случае, обрекало на резкое понижение статуса. Особенно это касалось вдов, которые быстро беднели. Не случайно вдовы и вдовцы спешили вступить в новый брак. Обычно брак заключался по расчету, невзирая на разницу в возрасте между супругами, несовпадение их характеров и т. д. И подмастерье, например, охотно женился на немолодой вдове своего мастера, чтобы унаследовать его мастерскую и место в цехе (что, впрочем, практиковалось и в предыдущие столетия).

Гуманисты детально разрабатывали в своих сочинениях проблемы семьи и брака, и идеи одного из них – известного писателя-теолога и моралиста Нильса Хеммингсена, изложенные в его книге "О супружестве" – ("Om aegteskab", 1572) – стали одной из основ ордонанса о браке 1582 г. Там подробно расписывалась

процедура законного (церковного) брака как таинства и союза, а также определялись условия развода: импотенция мужчины и бесплодие женщины, уход мужа из дома более чем на три года без уважительной причины. Но дурной нрав, пьянство одного из супругов, измены мужа и даже заболевание сифилисом основанием для развода не служили[5]. В моду вошли семейные портреты, где стоящие вокруг супружеской пары строго по старшинству дети и внуки (в том числе усопшие) молчаливо свидетельствовали о чадолюбии супругов и крепости их семейных уз[6].

Ренессансное общество в Дании было все еще «мужским». Обычаи и законы не предусматривали места для женщины в публичных сферах, ограничивая ее интересы домом, семьей, родней, церковью. Девочки получали особенно строгое воспитание, соответствующее их судьбе: с детства приучались к домоводству, не смели в одиночку гулять по городу. Вступая в брак, женщина входила в род мужа и была обязана во всех случаях поддерживать его и его род: ведь «Ева всегда должна быть на стороне Адама», и вообще "муж и жена едины". Именно так учил Нильс Хеммингсен (чьи рассуждения и практические инструкции о ведении домашнего хозяйства были в ходу еще и в XVII в.). При дружбе между мужем и женой и их трудолюбии в доме царит достаток, господа и слуги довольны, а супруги одинаково авторитетны и равны. Идеи идеального супружества на основе подчинения жены воле и интересам мужа развивает и гуманист Нильс Палладиус (в книге "Imod Aegteskabsdjaevle», 1557). Однако этот идеал был далек не только от практики жизни, но и от господствующих в обществе нравов и предрассудков. Положение женщины в доме оставалось неполноправным: полнотой власти в семье формально и по обычаю обладал ее глава – муж. Вслед за Лютером женщина объявлялась морально слабой, греховной, нуждающейся в строгом надзоре со стороны мужчины – мужа, отца, брата.

Правда, ренессансная эпоха все больше вырабатывает новый тип женщины – энергичной, самостоятельной, образованной, которая управляет домом, устраивает судьбу детей, ведет дела в отсутствие мужа, решает свою личную судьбу и выступает в обществе как самостоятельная глава семьи и бизнеса. В городах женщины зачастую продавали пиво, содержали кабаки и таверны, вели мелочную торговлю, возглавляли мастерскую или торговое предприятие. Келуф, вдова Йенса Ниельсена, бюргера Мальмё, основала собственной дело и была очень авторитетна среди бондов округи, у которых скупала их товары, снабжая их взамен солью, хмелем и изделиями из железа. Кирстен Лаурид-

сдоттер Кейне из Рибе (род. 1552 г.), оставшись в 47 лет вдовой после убитого в драке мужа, сумела сохранить состояние семьи, активно отстаивала свои интересы на тингах, подняла детей и внуков. На Фюне вдова купца, пережившая его на 60 лет (и еще дважды выходившая замуж), давала деньги под заклад драгоценностей и в результате сохранила и приумножила свое состояние. В том же городе Рибе в 1549 г. в числе 725 налогоплательщиков было 108 женщин, в 1591 г. – 228 женщин в числе 688 налогоплательщиков: число (и процент) ведущих самостоятельно дело бюргерш, таким образом, увеличилось более чем вдвое. Известны имена дворянок того времени, которые получали прекрасное светское образование и вместе с мужьями либо самостоятельно собирали книги, рукописи и раритеты, помогали гуманистам составлять коллекции и научные труды, организовывали школы и т. д. Сохранились также хозяйственные книги, которые вели, управляя своими имениями, аристократки София Браге, Биргитте Гёйе и др.[7] В то же время в ренессансной литературе появляется известная Западной Европе того времени тема – мятеж женщин против мужчин, месть за их измены и плохое обращение.

Однако авторитет главы семьи – мужчины был непоколебим. На одной картине (масло, дерево, начало XVII в., автор неизвестен) изображено «обычное» событие семейной жизни – наказание мужем провинившейся жены: в общей жилой комнате (просторной и с признаками достатка), в присутствии спокойно играющих детей и прочих домочадцев, занятых своими делами, а также входящего в дверь принаряженного гостя, мать семейства безропотно принимает от своего супруга розги по обнаженной «спине»[8].

Хуже других приходилось одиноким женщинам и девочкам-сиротам из бедняцкой среды. Уже со второй половины XIV в., в условиях "аграрного кризиса", и, особенно, с XVI в. в стране неуклонно повышалась роль наемного труда, особенно женского, который применялся и в городе, и в деревне. Это и понятно: одинокие женщины чаще оказывались в бедственном положении, а их труд был выгоден, т.к. им платили меньше, чем мужчинам. Положение работниц мануфактур и, прежде всего, домашних служанок и батрачек было особенно тяжким. В деревне девочки шли в батрачки с 10-15 лет. Хозяева подчас "замещали" им родителей при поиске другой работы иди замужестве. Под покровом этой патриархальности существовали грубая эксплуатация и произвол. Батрачки выполняли всю тяжелую физическую работу, вставая летом в 4 часа утра, зимой – в 5 и раньше, а

освобождались не раньше 9 часов вечера. При трапезе хозяев они прислуживали стоя и стоя ели сами. Часто хозяева избивали служанок, даже до смерти. Хозяин сплошь и рядом принуждал молоденьких служанок к сожительству – на это обстоятельство сетовал и Нильс Хеммингсен. Родив, девушка изгонялась из дома, становилась бродяжкой и проституткой[9].

То, что XVI столетие значительно обострило социальные контрасты, – бесспорно. На фоне все более вызывающей роскоши королевского двора, аристократии, верхушки бюргеров особенно вопиющей выглядела обширная и возрастающая прослойка бедных и обнищавших, среди которых было много людей одиноких, стариков, детей-сирот, больных, бездомных бродяг. Проблема бедности заняла заметное место в общественной жизни, особенно городской, и в политике государства.

Отношение общественного мнения к бедности противоречиво, в нем борются средневеково-католические и ренессансно-протестантские тенденции. С одной стороны, общественное мнение противопоставляет бедного и богатого – как добро и зло. На фреске в церкви Кёлдбю (о-в Мен, ок. 1500 г.) это противопоставление изображено вполне отчетливо: мысли бедняка обращены к Христу, а богача – к его имуществу: сундуку, одежде, вину, скоту. С другой стороны, бедность уже не в почете, это признак неблаговоления Господа и лености, пассивности самого бедняка. Государство, исходя в первую очередь из фискального принципа, еще со средних веков определяло бедных людей как категорию, не способную «себя содержать» и платить тягло. С конца XVI в. обнищавшим людям начинают выдавать своего рода «лицензию на нищенство», дающую право просить милостыню, обычно в своих же приходах. «Чужие» нищие, соответственно, изгонялись (указ 1587 г.). Такую лицензию получали прежде всего вдовы, погорельцы, сироты и т.п. В 1596 г. совет г. Рибе «оформил» 110 таких лицензий. Соответственно расширяется сеть госпиталей, которые служили преимущественно домами призрения бедняков и которые стали устраивать в помещениях разоренных монастырей. Иногда госпитали устраивали на средства благотворителей[10].

Среди бедняков было много больных людей, и эпидемии в этой среде свирепствовали особенно жестоко. Общество того времени не блистало гигиеной. На узких, неосвещенных городских улицах громоздились мусор и нечистоты. Здесь же резали скот: лишь в 1577 г. королевским указом было предписано забивать быков и овец только за пределами городских стен. Эпидемии мучили людей постоянно. В Копенгагене чума опустошала

город в течение второй половины XVI в. неоднократно; в результате тяжелейшей эпидемии 1564 г. на кладбище у церкви Богоматери вместо обычных ежегодных 60-70 могил оказалось 700-800. В 1583 г. тиф и дизентерия унесли тысячи людей. И так, с некоторыми перерывами, было во всех торговых городах. В деревне положение было подчас еще хуже. Простой люд лечился от болезней у местных лекарей и способами народной медицины. В общественных банях сам банщик ставил на спину больного металлические или стеклянные банки, подчас до крови и серьезных ожогов. В селениях действовали бабки-травницы, повитухи и специалистки по заговорам. «Отворить кровь» больному человеку брался и местный коновал. Медики того времени считали главными регуляторами здоровья сосуды и кровь, а главным органом – печень. Поэтому кровопускание было «в моде» и применялось по каждому случаю, что доводило пациентов до полного упадка сил.

Среда бедняков отличалась и повышенной криминальностью. Но жестокие драки и убийства, в том числе между родичами, были характерны для всех слоев населения, включая аристократию. Во всех городах и сотнях существовали тюрьмы, а также палачи, которые надзирали за заключенными, наказывали их, пытали и казнили (последний датский палач ушел на пенсию в 1932 г.[11]). Палач жил в отдельном доме вблизи города (но не в его пределах), на городские средства. Люди брезговали им: не нанимались к нему на работу, не хоронили на общем кладбище.

Одним из позорных, осуждаемых церковью и всем обществом преступных деяний считалось сожительство вне брака, прежде всего женщин и девушек. После суда и унизительных процедур уличенных в таком деянии высылали из поселения, нередко их вынуждали «носить камень» (точнее, два больших камня, которые веригами вешались на шею). Обычным наказанием женщин за аморальность было сечение плетьми. Фрески выразительно (и даже садистски) рисуют устрашающую сцену: черт, оседлавший обнаженную женщину, больно ухватив за распущенные волосы и вонзив в живот шпоры, бьет ее плетью с густыми колючками[12]. Рождение внебрачного ребенка преследовалось особенно строго, с конца XVI в. – вплоть до смертной казни.

Однако внебрачных детей было много, они появлялись во всех слоях населения, но чаще всего в низших группах, в том числе у служанок и батрачек. Стремясь защитить свою жизнь и репутацию, несчастные матери нередко сразу же после тайных родов убивали своих младенцев, в лучшем случае анонимно сдавали их в госпиталь или подкидывали к чужой двери. Неза-

коннорожденный ребенок, не усыновленный «приличными людьми», нес печать отверженности подчас на протяжении всей своей жизни и редко мог выбраться за пределы низшей страты – за исключением аристократического круга, где о бастардах обычно заботились. Служанки и слуги относились к значительным слоям населения, которые оставались вне брака, как и солдаты, матросы, подмастерья, люмпены. Это была среда рынка проституции, очень распространенной в Дании XVI в., особенно в крупных портовых городах. Услугами проституток пользовались и солидные, женатые мужчины из стабильных слоев общества: их право на сексуальное удовольствие было неоспоримым. Развлечения с проститутками не преследовались и не осуждались даже в среде духовенства – в отличие от замужних женщин, которые права на интимные радости не имели, а были обязаны лишь «исполнять супружеский долг». Проститутками чаще всего становились пришедшие на заработки в город деревенские девушки, бывшие батрачки и служанки, бедные вдовы и даже замужние женщины-беднячки (подчас с ведома своего супруга). Для многих женщин в XVI в. проституция и нищенство стали единственным средством к жизни. В конце концов размах проституции привлек внимание властей, и со второй половины XVI в. последовал ряд предписаний – «очистить» города от женщин легкого поведения (1574, 1591 гг. и др.), впрочем, далеко не результативных, несмотря на их строгость[13].

Возвращаясь к детям, следует отметить, что они по-прежнему были очень зависимы. Детство в принципе все еще не выделялось как особый период в жизни человека, требующий своего отношения, одежды, пищи и т.д. Обучение детей крестьян, ремесленников, торговцев, не говоря уже о низших группах населения, происходило в процессе повседневной жизни, семейных занятий. Какому-либо несемейному делу отдавали учиться на сторону. Но и тогда обучение ребенка производилось как бы походя, вперемежку с выполнением бытовых поручений мастера. Главным было, чтобы дети репродуцировали статус, модель поведения и связи родителей, были подготовлены к супружеству, самостоятельному ведению хозяйства или проживанию в доме хозяина.

В школах основным предметом изучения была религия, а средством воспитания – розги. Так велось издавна. Но в ренессансный период школьное обучение претерпело значительные изменения. С конца XV в. в городах и приходах появились светские, так называемые «латинские» школы, которые содержались на средства прихожан. Там изучали в первую очередь Закон

Божий, но также письмо, счет и латынь. Наряду с латинскими школами в радиусе двух миль от каждого торгового города появились так называемые «датские школы», без латыни. Однако дети крестьян могли посещать и латинскую школу. Устройство обычной школы, судя по изобразительному материалу, было все еще типичным для Средневековья: общий зал, ученики разного возраста зубрят задания или стоят в очереди, чтобы сдать урок. Учитель – обычно священник или писец – сидит с розгами. Одним из важнейших объектов обучения были псалмы, которые распевали хором. Грамматика изучалась по церковным книгам. Но в итоге распространения школ до половины деревенской молодежи – прежде всего, конечно, дети свободных крестьян-собственников (бондов) – овладевало грамотой, а в среде ремесленников, купцов, не говоря уже о дворянах, грамотность была поголовной. Хотя уровень этой «всеобщей» грамотности не был высоким, но школа и школьное образование вошли в повседневную жизнь народа. На одной из церковных фресок изображена Дева Мария, которая ведет маленького Иисуса Христа в школу. В руках у Спасителя, как и у других детей (они сидят прямо на земле), – учебники. После Реформации и государство уделяло школе повышенное внимание[14].

Постепенно совершенствуются методы обучения, появляются учебные пособия – картинки, фигурки, модели. Создается набор учебных книг по разным предметам, часто иллюстрированных. В подготовке учебников участвовали многие гуманисты. Появились специальные книги и для детей. Первая детская книга – азбука Нильса Бредала (1591) была построена на основе высказываний Эразма Роттердамского о роли воспитания детей и школьной грамотности.

В педагогике долго сохраняло большое влияние католичество. Особую роль играли иезуиты – их школы, учебники и педагогические приемы. Только в первой четверти XVII в. королевскими ордонансами иезуитам было запрещено работать и проповедовать в школах, а датским студентам – обучаться в иезуитских школах, в частности в Пруссии.

Состоятельные люди обычно не отдавали детей в школу, а приглашали домашних учителей: священника – духовника семьи, или университетского профессора. Воспитание дочерей доверяли женским монастырям с высокой репутацией. Юноши дворянского и бюргерско-патрицианского круга знали иностранные языки, художественную литературу и историю, писали латинские стихи. Карьера теперь требовала университетского образования, и свое обучение они продолжали в университетах: Копенгаген-

ском (основан в 1479 г.)[15] и в зарубежных (особенно Эрфруте, Ростоке, Виттенберге, Лувене, Париже), затем много путешествовали по Европе, нередко и по Ближнему Востоку.

Просвещение втягивало в свою орбиту многих. И трудно переоценить роль, которую здесь сыграло книгопечатание и распространение книг, особенно светских и особенно на датском языке.

Датский язык, отличающийся от стародатского и близкий современному, формируется уже с конца XIV – начала XV в., когда он все чаще употребляется в среде высших социальных групп и даже церковников. (Напомним, что уже официальный документ о провозглашении принцессы Маргреты на Лундском ландстинге 1387 г. «полномочной госпожой Дании» был составлен не на латыни, а именно на датском языке). Вторым важным фактором в распространении образованности с середины XV в. стала бумага – несравненно более дешевый, чем пергамент, писчий материал. Свою роль сыграло и многократное расширение делопроизводства – королевского, городского, сотенного, поместного. Административная документация, финансовые и другие отчеты фогдов, деловая и дипломатическая переписка, акты канцелярий, судебные протоколы и т.д. – все это требовало участия грамотных, юридически образованных писцов, значение и влияние которых к началу раннего Нового времени очень возрастает. Нередко писец состоял в дворцовой (или городской) администрации, одновременно был владельцем школы или ее учителем – и производил книги.

Первые типографии, созданные в Дании выходцами из Любека еще в конце XV в., были передвижными и печатали книги духовного содержания, сборники церковных церемоний и т.п. В 1489 г. нидерландец Готфред Гемен построил в Копенгагене постоянную книгопечатную мастерскую, которая выпускала латинские грамматики и другие университетские учебники. В 1495 г. там вышла первая книга на датском языке, которая сразу же получила большой успех. Широкий поток книг шел в Данию из-за границы, в том числе авторов-датчан.

Издание книг подвергалось жесточайшей цензуре. Первое цензурное предписание содержится в церковном ордонансе 1537 г., впоследствии оно неоднократно повторялось. Обход цензуры карался лишением печатника права издавать книги. Разрешение на издание каждой книги давал университет (комиссия профессоров и ректор) и королевский суперинтендант (высший церковный чин после Реформации). Коллективными усилиями давили свободную прессу. Однако книгопечатание,

разрушив монополию церкви на производство книги, все больше способствовало распространению светских знаний и свободомыслия. Издаваемая литература была как переводной, особенно германского происхождения, так и созданной в Дании – оригинальной или подражающей зарубежным образцам. Внимание публики привлекали путевые заметки, нравоучительные рассказы, переводы и пересказы басен Эзопа и рыцарских романов, а также пропагандистско-полемическая литература, связанная с Реформацией и контрреформацией, произведения романтического и историко-нравоучительного типа, пересказы библейских сцен. Популярными были сочинения на датском языке «отца датской литературы» Кристиерна Педерсена и книжка патриотических стихов-молений Ханса Блака о победах датчан (1563). Среди простого люда пользовались популярностью так называемые «народные книги» – романы и школьные комедии. Любимой сатирой было знаменитое произведение «Педер-кузнец и Адсер-крестьянин» – перевод с немецкого, но действие перенесено в Данию. Это произведение, написанное сочным народным языком, богато деталями датского быта того времени, пронизано непримиримостью к католической церкви и ее служителям. Другим излюбленным чтением в Дании был переводной диалог между царем Соломоном и бедным крестьянином Маркольфусом. Крестьянин житейски заземляет премудрые рассуждения Соломона и ко всему подходит практически. В результате фигура библейского персонажа выглядит карикатурной, воспринимается как пародия на короля (Кристиана IV), а цитаты звучат сатирически, если не ернически[16].

Специфически дворянским и бюргерским жанром стала частная переписка, распространившаяся уже с середины XV в. – деловая, бытовая и интимная, – возведенная в ранг литературного произведения.

Особую роль в культурной жизни народа играли зрелища. Собственно театра в Дании XVI в. не было. Существовали театрализованные праздники, шествия, а также «действа». Они разыгрывались в церкви, во дворах замков, на площадях и улицах, у могил особенно почитаемых святых (например, св. Кнуда Лаварда в Рингстеде). В «действе» сочетались декламация и мимика, поэзия и музыка, либо шумовые эффекты. Но появились и зародыши собственно театральных постановок: это были спектакли школяров, чаще всего приуроченные к какому-либо знаменательному событию. Развитие драматического искусства опиралось на рекомендацию самого Лютера, чтобы ученики школ ставили классические и новые комедии для упражнений в

латыни и использовали сюжеты Библии как материал для трагедий. Драма, как и вся датская литература того времени, была двуязычной: на латыни и родном языке. Сначала пьесы были переводными, собственная датская драма появилась около 1600 г. «Действа» разыгрывались школярами в зданиях школ, в залах городских ратуш, при дворе короля. Сюжетами служили библейские и античные предания («О Св. Доротее», «Суд Париса» и др.), а также бытовые темы, но всегда с отчетливо морализующим уклоном. Существовало несколько центров школьных театральных «действ» и драмы: в городах Хельсингёр, Рибе, Виборг, Рандерс, Оденсе. В Оденсе ученики Кристиане Хансена разыгрывали пьесы в его переводе. В 1585 г. в здании городской ратуши Хельсингёра выступала английская труппа, и когда через несколько лет после этого побывавшие там актеры ставили в Лондоне драму Шекспира «Гамлет» (а легенда о принце Гамлете записана великим датчанином Саксоном Грамматиком еще на рубеже XII-XIII вв.), они, безусловно, вспоминали величественный замок Кронборг. В Рибе театральными представлениями ведали учитель местной школы вместе с пастором приходской церкви Педером Хегелундом. Пастор ставил с учениками латинские пьесы Теренция, собственные переводы латинских и немецких авторов. Стихотворная пьеса – переработка библейского сюжета о Сусанне и старцах – была уже разбита на пять актов, имела пролог и эпилог. Самый замечательный представитель школьной датской драмы – пастор Иероним Ю. Ранх (1539-1607 гг.) служил в Виборге. Его первая пьеса, созданная в конце столетия в честь юного Кристиана IV – «Присяга царя Соломона», построенная на библейском сюжете, – была сыграна на рыночной площади. Впоследствии он использовал для своих пьес народные анекдоты и античные комедии, особенно Плавта, датские и немецкие народные баллады, а во время «действ» применял механизмы[17].

Школьное и университетское образование, распространение книг, патриотические идеи гуманистов, развитие литературы и театральных зрелищ, размах строительства и изобразительного искусства, как и прочие проявления ренессансной культуры, влияли на поведение все более широких кругов сограждан. Веления новой культуры вынуждали давать образование детям, ставить в замках, садах, на городских площадях скульптуры, покровительствовать ученым, носить современную одежду, записывать свои наблюдения и впечатления и изменять быт.

Изменения быта выразились, в частности, в возведении просторных построек нового типа – замков, дворцов и бюргерских домов, а также в новой внутренней планировке: например, из

дворянского и бюргерского жилища выгораживают кухню и супружескую спальню. Из супружеской спальни аристократа удаляют традиционно размещавшихся там на ночь придворных. Мебель украшают резьбой, печи – цветными изразцами, стены и потолки расписываются цветами, жанровыми и мифологическими сценами. Залы дворцов и замков увешиваются огромными гобеленами. Великолепные образцы интерьеров того времени можно видеть в замках и в Национальном музее[18].

Конечно, специализация пространства частной жизни далеко не полно ограждала интимный мир людей. Как и тысячу лет назад, спали обнаженными («чего стесняться своих членов, которые дал Бог»[19]). Мылись сообща в банях – рассадниках болезней, сводничества и продажной любви. (В длинном парадном зале замка Розенборг висит ренессансная картина, изображающая Венеру и других богов в бане, в обстановке полной «раскованности»).

Особое значение в культурной жизни Дании того времени приобрела живопись – портреты и жанровые сценки на холсте и дереве, в виде фресок и витражей. Они отражали возрастающий интерес к личности человека, его бытовому поведению. На картинах можно видеть тщательно выписанные здания, одежды, утварь, орудия труда и вообще все, что было связано с человеком в повседневной жизни. Вот воз с дровами, который тянут две лошади. Ева, окруженная детьми, прядет лен. Или: Ева подает Адаму снопы на большую, четырехколесную телегу, на которой можно увезти до тонны зерна (музейный образец подтверждает реалистичность фрески). В церкви идет реформированная служба, мужчины и женщины сидят отдельно по обе стороны прохода. Каравелла с купцами, терпящей бедствие корабль изображены в связи со Св. Николаем или легендой об Ионе и ките. Сцены наказания (сечение розгами, сдирание кожи, сидение в колодках, повешение) перемежаются сценами выступления артистов, которые играют на различных музыкальных инструментах (арфа, виола, мандолина, флейта, труба и мн. др.), фехтуют ножами. Мы видим сцены трапезы в богатом доме, крестьян с их граблями и солдата с металлическим луком; пьяницу с кувшином пива, танцующую женщину и сражающихся воинов[20]. Наряду с реальными королями, господами, крестьянами и шутами художники изображают русалок, разнообразных фантастических зверей и чудищ[21] и, особенно охотно, чертей и всякую нечисть. Вот дьявол утаскивает душу умершего человека, который (судя по здесь же изображенной сцене) в молодости злоупотреблял плотской любовью; ангел, глядя на эту трагедию, молча утирает слезы, но он

бессилен помочь[22]. Все эти фрески, покрывающие стены и потолки многочисленных церквей, производят потрясающее впечатление прежде всего отраженной в них красочностью народной жизни и представлений, а также тех воспитательных примеров и средств нравственного устрашения, которые использовались, в данном случае церковью, для «исправления нравов».

Исследователь повседневности обнаруживает немало интересного и в произведениях станковой живописи. В одной провинциальной дворянской усадьбе сохранилась от того времени картина (масло, дерево), изображающая дочь помещика: она плетет веночек, сидя под деревом, а на заднем плане крестьяне заняты полевыми работами. Или: элегантные дамы и господа прогуливаются, беседуют, слушают музыку и музицируют сами[23].

В среде аристократии в моду вошли скульптурные надгробия, особенно барельефы, изображающие супружескую пару: муж – в рыцарском облачении, с подчеркнутыми атрибутами мужественности, жена – в бесформенном скромном одеянии. Изображения эти, обычно стилизованные, подчас свидетельствуют о попытке мастера отразить и какие-то индивидуальные черты персонажей[24]. Широко распространились в Дании объемные раскрашенные бюсты Эразма и Лютера, сделанные из папье-маше. Их массовое производство было налажено в Германии (художник Альберт фон Зест, вторая половина XVI в.), но формы были завезены и в Данию[25].

Старейшие датские портреты относятся к середине XV в. и изображают аристократов. В следующем столетии портретная галерея становится очень обширной и дает яркое представление не только об искусстве живописи того времени, но, что для историка особенно важно, об облике людей, менталитете членов королевской семьи, дворян, священнослужителей, бюргеров, профессоров университета[26]. Один из наиболее примечательных портретов того времени (принадлежащий кисти прекрасного мастера Тобиаса Гемперлина, 1578 г.) сохранил для потомков облик известного и весьма заслуженного гуманиста-энциклопедиста Дании – Андерса Серенсена Веделя. Одетый в традиционное темное платье, с книгой псалмов в руке, Ведель сидит за столом в позе пишущего человека. Это первый в Дании портрет интеллигента-«простолюдина», выходца из бюргерской среды, занятого умственной деятельностью и трудящегося ради заработка[27].

По мере укрепления и распространения Реформации в датском обществе все более утверждались церковная мораль, строгое благочестие и конформизм. Но рядовые прихожане охотно

критиковали власть и плохо разбирались в конфессиональных вопросах. Народ не понимал тонких различий между католичеством и лютеранством. Многие католические обряды, почитание икон и т.п. импонировали людям своей праздничностью, были привычными и сохранялись в приходах, особенно сельских, еще долго. В праздники и будни в приходских церквях служили то католическую, то протестантскую мессу. Наряду с этим в народе сохранялась масса языческих верований, предрассудков и ритуалов. Крестьяне посещали древние "кильде" – языческие культовые места: источники, камни и т.п. Они оставляли там деньги и продукты для нищих, задабривали духов, прибегали к знахарству, заговорам, заклинаниям. Люди были крайне суеверны, верили во всякую нечисть, в магию и колдовство как способы прямого контакта с нечистой силой. На ее счет относили все беды и неприятности, общественные и бытовые: неудачно сваренное пиво, падеж скота, измену возлюбленного, покалеченную руку и военное поражение. Народ по-прежнему населял лес лешими, воду – водяными и русалками, избу – домовыми[28].

Представления о противостоянии Господа и Сатаны отчетливо проявились в процессах ведьм, ведьмачей и троллей, в существование которых народ безоговорочно верил. Вообще колдунов и, особенно, колдуний в обществе боялись и уважали издавна. Но теперь за ними началась подлинная охота. Доказательствами нечистоты служили не только какие-то специфические свойства человека (вроде наличия на теле темных пятен и родинок, или эпилептические припадки – так называемая "бесноватость"), но также его поведение, чем-либо отклоняющееся от жестко регулируемых правил. В числе обычных обвинений было наведение порчи (на скотину, урожай, соседа).

В 1541 г. в Дании появилось первое пособие по выявлению ведьм и троллей. В 1575 г. известный теолог Нильс Хеммингсен издал книгу о преследовании ведьм ("Admonitio de superstitionibus magicis vitandis"). Выходили и другие подобные книги – датских авторов и переводные, где проблема ведьм ставилась в теологическом, юридическом и практическом аспектах. Главный удар наносился именно по женщине, которую (как уже говорилось выше) считали «сосудом пороков», изначально безнравственной, а потому орудием дьявола.

Представляется весьма парадоксальным, что весь этот «антифеминизм» развивался на фоне возрастающего культа Девы Марии, авторитет которого, казалось бы, должен возвышать женщину – хотя бы как мать. Но сей парадокс, для нас загадочный, разрешался в духе логики того времени весьма просто. И в

элитарной культуре, в том числе сочинениях гуманистов, и в обыденном сознании Богоматерь – Дева, непорочно зачавшая и целомудренно прожившая земную жизнь, непроходимой пропастью отделялась от женщины «обычной», «дочери Евы» – соблазнительницы Адама, подчинявшейся законам плоти, а потому греховной, порочной «по определению». На фресках того времени, которыми были расписаны сельские приходские церкви, обязательно присутствовали изображения чертей, подстерегающих женщину (например, когда она сбивает мутовкой масло), чтобы тут же совратить ее[29].

Пик процессов против ведьм пришелся на 1533-1582 гг. Обычным методом последнего испытания для обвиняемой в ведьмачестве было погружение ее в воду в согнутом положении: с коленями, поднятыми к груди, и руками, привязанными к лодыжкам (сохранились соответствующие изображения в книгах и на фресках). Благополучный исход при этом исключался: если несчастная не тонула (что было почти невозможно), она объявлялась дьяволицей. Проводились и массовые процессы против ведьм, которые завершались десятками костров, сожжениями многих жертв одновременно.

Подозреваемых жестоко пытали, но оправдаться, избежать костра, в лучшем случае тюрьмы, удавалось очень редко – если свидетельские показания были уж слишком нелепые даже для предвзятого суда. Калунборгские рецессы 1576 г. запрещали лишь сжигать людей без суда и следствия, а в городах – без решения бургомистров и совета. Судя по этому постановлению, нередким был самосуд над «ведьмами». Окончание этих процессов наступило только в 1617 г. Но до тех пор от пыток и на кострах ежегодно погибало множество людей, преимущественно женщин 45-55 лет, из верхушки среднего сословия; среди них было много вдов.

Некоторые доносители и судьи просто сводили счеты со своими жертвами или удовлетворяли имущественные интересы; но чаще они верили, что спасают свою душу и мир от нечистого[30].

Хотя в стране постоянно велась кампания за жесткую дисциплину и мораль, против народных верований, по рукам ходили сочинения неортодоксального, а нередко и богохульного содержания. Особенно популярными были любовные новеллы и сочинения – гротески, с героями-побродяжками, которые не считались с церковными и светскими авторитетами, высмеивали "все святое".

Итак, несомненно, что ренессансные идеалы и нормы в той или иной мере и форме проникали в разные сферы и слои обще-

ства. Они постепенно, медленно, неравномерно, но все же изменяли стиль жизни и менталитет всего народа. Однако сосуществование свободомыслия, фанатичной веры и суеверий, сочетание новых и традиционных привычек, обычаев и обрядов было важной, примечательной особенностью и парадоксом духовной жизни, менталитета, нравов и повседневной жизни датчан XVI столетия.

---

[1] Wittendorff A. På Guds og Herskabs nade// Danmarks Historie (Gulden og Politiken) (далее DH-A.C.). Bd. 7. København, 1989. S. 329-331.

[2] Thiedeke J. Fattigdom og forbrydelse. Samfundet bund i renaessansens Danmark. Kbh., 1982. S. 28; ср.: Nationalmuseet. Sal. 115.

[3] Troels=Lund. Dagligt liv i Norden i det sekstonde århundrede. 5. Udg. Bd.II. Kbh., 1929-31. S. 76f., 159f.; Lauring P. Dansk Renaessance (1536-1588). Kbh, 1978, p. 207-209.

[4] Danmarks Kalkmalerier. Text av N.M.Saxtorph. Kbh, 1986. S.234.

[5] Wittendorff A. Op. Cit. S. 338.

[6] Ambjönsson R. Familjeporträtt. Essäer om familjen, kvinnan, barnet och karleekn i Historien. Stockholm, 1978.

[7] Wittendorff A. Op. cit. S. 340 f.; Lauring P. Op. cit. S. 200 f.; Tiedecke J. Satans Store Port. Kvinderne og børnene i renaessansens Danmark. Kbh, 1982. S. 13-17, 25-28, 114.

[8] Lund M. Magt og mentalitet. Livet i Danmark 1500-1750. Kbh, 1990. S. 67.

[9] Kaal B. Kvindekår og kvindeskaebner i Reformationsårhundert. Esbjerg, 1981; ср. разделы в кн.: Steenstrup J. Det danske kvindes historie. Kbh, 1982; Thiedecke J. Satans Store Port...

[10] Thiedecke J. Fattigdom og forbrudelse...

[11] Lauring P. Op. cit. P. 212.

[12] Danmarks kalkmalerier. S. 10.

[13] Wittendorff A. Op. cit. S. 338-340.

[14] Dahlerup Tr. De fire staender. 1400-1500 // DH. Bd. 6. Kbh, 1989. S. 315 f.

[15] Поначалу Копенгагенский университет не пользовался популярностью. Но в 1498 г. король Ханс запретил студентам уезжать за рубеж учиться (точнее, не выдавал им стипендию), если они не проучились предварительно в отечественном университете по меньшей мере три года.

[16] Friis O. Den danske litteraturhistorie. I. Fra oldtiden indtil Renaessansen. Kbh, 1947. S. 208q.

[17] A History of Danish Literature. Ed. by S.H. Rössel. Lincoln; London, 1992. P. 40-43 o.a.

[18] Nationalmuseet, sal. 114, 115, 117, 122 o.a.; Lauring P. Op. cit., p. 186 f.

[19] Thiedecke J. Satans Store port... S. 88.

[20] Danmarks kalkmalerier. S 34, 49, 60, 77, 79, 90, 109, 112, 139, 150, 165, 173, 176, 189, 229, 253, 262þ.

[21] Ibid. S. 196, 199, 201, 211 o.a.

[22] Ibid. S. 191. Ср. сцену: дьявол утаскивает душу епископа (!). – Ibid. S. 195, а также S. 154, 159,161 o.a.

[23] Wittendorff A. Op. cit. S. 41, 209, 349þ

[24] Lassen E. Efter Reformation // Dansk kunsthistorie, v. II. Bilderkunst og Skulptur, 1500-1750. Kbh, 1973. P. 9-88þ

[25] Nationalmuseet, sal. 126, № 3.

[26] Dansk kunst historie. Billedkunst og skulptur. 1500-1750. Kbh, 1973.

[27] Renaesancens portraet maleri. Tekst av Fr. Beckett. Kbh, 1932. S. 14 f.

[28] Svane S. Danske Helligkilder og Laegedomskilder. Kbh, 1984.

[29] Danmarks kalkmalerier. S. 215, 224 o.a.

[30] Tiedecke J. Satans Store Port...; Birkelund M. Troldkvinden og hendes anklagere. Århus, 1983; Tørnsø K. Djaevletro og folkemagi. Aarus, 1986; Jensen K. S. Troldom i Danmark 1500- 1588. Kbh, 1988; Wittendorff A. „Fire stolper holder et skidehus«. Tidens Forestillingsverden// Christian IV sverden. Red. S. Ellehøj. Kbh, 1988. S. 214-248.

В.Р.НОВОСЕЛОВ

ДВОРЯНСТВО, РОТЮРЬЕ И ВОЕННАЯ КАРЬЕРА ВО ФРАНЦИИ XVI В.

Для бытовавших во Франции коллективных социальных представлений еще в средние века существовала прямая зависимость места человека в социальной иерархии от его права на владение и ношение оружия. Сохранялось восприятие войны как неотъемлемой и непременной части благородного образа жизни: ношение дворянством шпаги служило как бы символом этой связи; как писал Франсуа де Ла Ну "оружие во французской нации всегда находилось в наивысшем почете"[1]. Еще ордонансом 1487 г. ношение любого оружия, вплоть до шпаги, даги и алебарды было запрещено всем жителям королевства за исключением дворян, королевских чиновников и солдат, находящихся на службе; исключение делалось только для жителей районов, которым угрожало нападение[2]. В представлениях самого дворянства, сформировавшихся еще в средние века, благородный рыцарь для Франции был единственным типом полноценного бойца. За исключением неудавшихся попыток вооружить население и приучить его к обращению с оружием в виде создания франкаршеров (1448) и легионеров (1534), во Франции полностью отсутствовала традиция "воина-пахаря", отрывающегося для войны от мирных занятий на манер фламандцев или швейцарцев. И именно поэтому эти учреждения не могли привиться, поскольку общественное мнение признавало за воином право на высокий социальный статус, а этот статус (дворянский) подразумевал военное призвание человека.

Как воспринималась война дворянством XVI в. - как сословная функция, образ жизни, достойный дворянина или как благородная профессия - ставить вопрос в такой форме бессмысленно, поскольку в общественном сознании все эти аспекты восприятия военного занятия тесно переплетались между собой, по разному только ставились акценты. Номинально дворянство продолжало считаться основой военной силы королевства, во Франции вообще было широко распространено мнение о небезопасности и бесполезности вооружать низшее сословие, при-

влекать его к военной службе как на временной и обязательной основе, так и на условиях вольного найма: против первого, за которое в первую очередь ратовали почитатели античности, говорила низкая боеспособность таких войск, против второго - финансовая дороговизна и профанирование войны как благородного занятия, которое таким путём превращалось в ремесло - считалось, что в античную эпоху война не была ремеслом[3]. Французское дворянство в мемуарах французских дворян, воевавших в XVI в., выступает в качестве силы как будто созданной специально для войны: сама природа французского дворянина любит оружие[4]. Поэтому все проекты об улучшении военной организации Франции в конечном итоге во многом сводились к необходимости принятия мер по восстановлению и усилению дворянства, укреплению его связи с военной службой.

Современные исследования французского дворянства XVI в. по отдельным провинциям по их отношению к военной службе, произведённые Ж.-М. Констан и М. Орлеа, дали весьма интересный результат: процент дворян хотя бы временно и одномоментно в какой-либо форме имевших отношение к военной службе по разным провинциям варьируется в XVI в. от 6% до 30%, его среднее значение 10-15% (все эти подсчёты произведены с учётом состоявших в списках арьербана)[5]. Таким образом большинство дворян представляют собой владельцев сельских поместий, ведущих осёдлый образ жизни, большая часть которых не имела не только военных, но и иных должностей[6]. Только один из четырёх-шести дворян возраста и физических данных, пригодных для несения военной службы хотя бы раз в своей жизни в какой-либо форме имел отношение к военному занятию[7]. Однако стоит более внимательно посмотреть о каких именно формах осуществления военной службы дворянами идёт речь, поскольку они весьма неоднородны и неравноценны.

Всего мы можем выделить три формы осуществления дворянами военной службы, три категории дворян-военных в том смысле, что все они входят в эти общие 10-15% дворян-военных:

1) состоящие в списках бана и арьербана, обязанные явится на военную службу исключительно в случае сбора, объявленного королём;

2) дворяне-волонтёры, стекающиеся на войну как правило в качестве спутников знатных сеньоров и известных капитанов, не получающие королевского жалования и осуществляющие это занятие временно;

3) дворяне, осуществляющие военную службу, находясь на королевской службе, получающие за неё плату, часть которых продолжает это занятие в мирное время;

Бан и арьербан - феодальное ополчение - были наиболее традиционной формой несения дворянами конной воинской службы в вооружении и экипировке, соразмерной денежному выражению доходов фьефа. По идее обязанность службы в феодальном ополчении распространялась на всех владельцев фьефов, при этом те владельцы, которые в силу возраста и физических ограничений не могли её осуществлять, а также неблагородные владельцы фьефов, равно как вдовы и сироты выставляли вместо себя заместителей или вносили денежный взнос. К началу XVI в. боевое значение феодального ополчения было сведено к нулю. Интересно, что называя в качестве причин ослабления дворянства его разорение и провозглашая в качестве одной из самых необходимых мер для усиления военной мощи Франции реформирование и укрепление бана и арьербана, отношение всех авторов наших мемуаров к реально существовавшему арьербану равно как и дворянству, составлявшему его корпус, было не просто негативным, а весьма презрительным даже у такого поборника возврата к феодальному ополчению и укрепления французских войск на его реформированной основе как Ла Ну: когда речь идёт о том, чтобы спасти свой фьеф от наложения ареста, дворянин приезжает на смотр в великолепном вооружении и на хорошем коне, но когда устраивают смотр для внешней войны, то на него является старый слуга на дохлой кляче; в роте, где должно быть 60 чел. нет и 10. Все они приезжают разновооружённые, одни из них называют себя жандармами, другие стрелками, но никто из них не является солдатом, нет у них и опытных капитанов, а в бою они чаще всего сразу же обращаются в бегство[8]. Особо критическим стало отношение к феодальному ополчению после позорных поражений арьербана в 1549 и 1555 г. в Пикардии. По поводу поражения 1549 г. маршал Таванн пишет, что тысячи конных дворян арьербана пустились в бегство перед имперцами даже не попытавшись принять бой, “поскольку были более заботливы о добыче, нежели о защите[9]”. Более возмущенное отношение к “бандам дворян” демонстрирует Рабютен, комментируя поражение арьербана в 1555 г.; в первую очередь его недовольство объясняется тем, что такие позорные поражения феодального ополчения, демонстрирующего трусость и низкую боеспособность, полное отсутствие боевого духа своего состава, наносят ущерб репутации остальных французских дворян, настоящим военным, поскольку “имперцы при-

обрели столько славы за счет нашего дворянства, что выковали пословицу из насмешек над ним, что французских дворян одолевают даже не запачкавшись"[10]. Во время Религиозных войн, когда ополчение оказалось более втянутым в вооруженный конфликт, ситуация с его пригодностью даже для внутренней войны мало изменилась: вывести ополчение за границы области было практически невозможно[11], дворянство продолжало не являться на смотры и созывы, когда Генрих IV попытался собрать арьербан для осады Амьена, утверждая, что освобождение от тальи должно зависеть от участия в войне, то дело чуть было не дошло до открытого восстания[12].

Дворяне-волонтеры - это пожалуй самая многочисленная категория, гордость французского дворянства и головная боль военачальников. В обществе и в дворянской среде ещё сохранялось представление о том, что дворяне, воюющие исключительно ради собственной славы и чести, не получающие платы более достойны чести и уважения, нежели получающие жалование, то есть сражающиеся за деньги. Для таких волонтеров, как правило молодёжи, война была как бы образом жизни, а вернее сказать, времяпрепровождением, способом выделиться и дать себя заметить знатным особам с тем, чтобы получить от них вознаграждение, должность или покровительство, средством убить скуку, окунувшись в войну как развлечение, способом удовлетворить своё самолюбие, разбогатеть за счёт военной добычи и так далее - причин личного свойства, вплоть до желания завоевать внимание дам или удовлетворить тягу к риску и опасностям, я полагаю было немало. Но настоящее массовое нашествие дворян-волонтёров в армию начиналось всякий раз, когда ожидалось крупное сражение или (и) когда на театр военных действий отправлялись знатные особы. Театр военных действий во многом действительно становился театром, зрелищем, где эти волонтёры желали быть и зрителями, и участниками: такое отношение к смерти, крови и насилию вполне соответствовало вкусам и восприятию эпохи[13]. Каждый раз, когда на войну отправлялся тот или иной принц или другие титулованные особы, их сопровождала настоящая свита; для авторов мемуаров того времени, участников войн, которые вела Франция, каждый такой выезд дворян на войну это ещё одно свидетельство воинственности французского дворянства, почитания им традиций, выполнения своего предназначения и готовности служить королю. Блез Монлюк в своих «Комментариях», посвященных событиям Итальянских и Религиозных войн, писал: "Ни один государь в мире не обладает дворянством более готовым добровольно служить

на войне; одна только улыбка хозяина горячит головы даже самым холодным из них, без сомнений меняющим поля, виноградники и мельницы на оружие и лошадей чтобы отправиться умереть в той постели, которую мы зовём постелью чести"[14] - то есть на поле боя, поле чести. Однако когда дело начинает касаться практических рекомендаций или описания состояния войск, современники фиксируют некоторые отрицательные черты, привносимые этим энтузиазмом. Прежде всего, это полное нежелание подчиняться какой-либо дисциплине. Поскольку большинство из них стремится прежде всего выделиться, обрести личную славу, то и ведут они себя соответствующим образом: сколачиваются в небольшие отряды и рыщут в поисках схваток с такими же дворянами со стороны противника, часто занимая какое-нибудь местечко или маленький городок "для удобства сражаться"[15], чем очень часто пользовался противник, с большим удовольствием и пользой для себя провоцируя французов на поиск рыцарских подвигов. Секретарь маршала Бриссака писал, что "кажется, это какая-то фатальность французов никогда не беречь ни свою силу, ни свою храбрость, поскольку не обдумывая насколько места пригодны для защиты, они безрассудно бросаются в первое же, куда по слухам собирается направиться противник, чтобы потерпеть там поражение, поскольку там их атакуют не столько даже из-за важности места, сколько ради выкупа, который надеются получить за их головы"[16]. При этом зачастую полностью игнорировались военная целесообразность, риск предприятия и приказы командующих. В качестве примера такого дворянина - военного волонтёра можно привести брата Пьера Брантома - Бурделя. Он начал свою военную службу в Пьемонте в возрасте 18 лет состоя при принце Мельфском. Принц Мельфский в молодости был большим поклонником его бабушки, поэтому прощал Бурделю, который, как пишет Брантом, был "весьма горячим и быстрым на руку", даже те выходки, за которые другие столь же знатные сеньоры рисковали оказаться под арестом. Когда командующим в Пьемонте был назначен Бриссак, который был несклонен поощрять нарушения дисциплины дворянской молодёжью и, видимо, бывший не из числа поклонников бабушки Бурделя, тот покинул Пьемонт и направился сперва на войну в Венгрии, затем в Парму, затем снова в Пьемонт, где получил под командование роту в гарнизоне, затем отправился за королём в Немецкий поход, в стычке под Шамэ получил тяжёлое ранение, считавшееся смертельным, но сумел выжить, следующий раз он еле выжил, получив три аркебузных раны при обороне Меца; наконец ему снесло голову пушечным ядром при Эсде-

не[17]. Такое перемещение французских дворян с одного театра военных действий на другой в поисках приключений и горячего дела было своего рода эпидемией; во время перемирия или вялого ведения войны такие дворяне охотно отправлялись на войну в других странах. Только на защиту Мальты от турок отправилось свыше 300 дворян и 800 солдат-ветеранов[18], огромное число французских дворян и солдат разбрелось на войну на Кипр, в Венгрию, Северную Африку, Мадеру и Сицилию[19]. Этот поиск любой лишь бы войны резко отрицательно воспринимал Ла Ну, отмечая, что если обычно на войне гибнет по крайней мере четверть людей, то такие "путешествия" заграницу приводят к гибели четырёх из пяти отправившихся[20]. Но точно так же, как трудно было удержать этих дворян от боя, столь же трудно было заставить их воевать тогда, когда в этом существовала необходимость. Маршал Брисак в своем докладе Генриху II в 1555 г. жаловался: "Все сеньоры и всё дворянство, которое в качестве волонтёров не может быть удержано никакими увещеваниями разбегается и покидает войска. Если говорить правду, то французское дворянство очень весело бежит на войну, но, поприсутствовав там два или три месяца, оно пресыщается ей и поворачивает поводья домой, не желая брать в расчёт что ни честь, ни звания нельзя заслужить такой ценой, что труды и пот должны предшествовать жатве"[21]. Однако не стоит полагать, что такое нежелание воспринимать войну в качестве ежедневной работы было свойственно исключительно дворянам-волонтёрам, дворяне, находившиеся на оплачиваемой военной службе часто страдали той же болезнью. Поскольку военные должности воспринимались как своего рода рента, то для многих стремление к военной службе было только средством получения постоянного дохода; такие лица появлялись один раз на смотрах чтобы получить жалование и сразу же возвращались домой. Бороться с этим явлением было весьма затруднительно, поскольку они часто заручались защитой высоких покровителей и вступали в сговор с королевскими контролерами. Так, после взятия Люксембурга в 1543 г. когда войска после смотра стали лагерем, обнаружилось, что в ордонансных ротах отсутствует большое число людей, которые без отпуска своих капитанов покинули свои роты сразу же после получения денег[22]. Аналогичные ситуации часто имели место и на других театрах военных действий, по воспоминаниям Дю Виллара, после того как в феврале 1557 г. ордонансным ротам, предназначенным для отправления в Пьемонт был устроен смотр в Лионе, как только люди получили деньги, капитаны и лейтенанты вернулись домой, а из лично-

го состава рот к месту назначения дошли только по 25-30 человек, из роты де Гиша явились в действующую армию вообще только 20 саладов[23]; так что взамен того, чтобы быть усиленной 400-500 конниками, пьемонтская армия получила только 100-120 человек, которые к тому же отказывались исполнять приказы военачальника без их подтверждения своими командирами (которые отсутствовали)[24]. Когда в Неаполитанский поход направился де Гиз, к нему присоединились 300 человек шволеже (легкой кавалерии), которым надоел Бриссак со своим требованием дисциплины[25]. Поскольку капитаны и лейтенанты ордонансных рот, да и всех остальных родов войск и частей воспринимали свои должности как доходные, то они спускали эту цепочку вниз, раздавая места в своих ротах своим родственникам, друзьям и клиентам, многие из которых только числились и получали деньги или полностью не соответствовали требованиям, предъявляемым к здоровью, экипировке и боевой подготовке[26]. Бриссака не зря называли создателем в Пьемонте лучшей военной школы и дисциплины, поскольку с безответственным подходом к несению военной службы он боролся безжалостно, не останавливаясь ни перед чем: лейтенант роты де Вассе сеньор де Ля Рош за уклонение от несения ночного караула был приговорён к смертной казни пиками (a estre passe par les piques), заменённой после вынесения приговора своего рода "штрафным батальоном" - маршал предложил ему смыть позор кровью, чтобы не обесчестить своё дворянство и своё потомство, если уцелеет в бою - получит прощение, погибнет (как и случилось) - так хотя бы принесёт пользу своей смертью[27]. Другой лейтенант жандармерии, ушедший в отпуск без разрешения, был объявлен лишённым чести, оружия и освобождения от тальи[28]. Монлюк, выражая своё восхищение энтузиазмом французских дворян тем не менее добавляет: "Я считаю, что нет в мире такого дворянства как французское, которое было бы столь же готово вставить ногу в стремя для службы своему государю, но использовать его в этом порыве надо незамедлительно, пока оно находится в этом хорошем расположении"[29]. Таванн считает, что дворяне часто очень мешают ведению войны: "Они несовершенны, поскольку не умеют терпеть тяготы армии, оторванные от наслаждений, которые они оставили дома: они часто теряют победы и репутацию своих капитанов и командующих, с таким заразным злом, что одни разлагают других, формируемых из недовольных или подчинённых их постам. Именно поэтому все кампании войн с Испанией прекращались с наступлением зимы, а капитаны в последних войнах стали предпочитать солдат дво-

рянам[30]". Даже в кавалерии Таванн советует капитанам ограничиваться 15 дворянами на 50 всадников, в противном случае бегство дворян может сделать отряд полностью небоеспособным[31].

Третья категория дворян военных - дворяне, служащие за плату в королевской армии: бойцы ордонансных рот и легкой кавалерии, командиры, ланспесады[32] и солдаты пехоты - эта группа самая малочисленная. По подсчётам современных исследователей, их число не превышало 5% от общего числа дворян[33]. Общая численность дворян-военных во французской армии в XVI в. составляет всего 20-25 тысяч человек[34]. При этом дворяне - члены феодального ополчения по сути являются фикцией, а те дворяне, которых можно было бы обозначить в качестве подлинных "дворян шпаги", составляют абсолютное меньшинство французского дворянства; солдаты-ветераны, профессионалы войны по своему мироощущению, жизненным принципам и "благородному" образу жизни оказываются гораздо ближе к этой категории, нежели куртизаны, дворяне-домоседы и дворянство мантии. Это единство доказывается в первую очередь отношением дворян-военных к солдатам ротюрного происхождения и возможностям их анноблирования. При этом надо сразу оговориться, что, как практики, разницу между ветеранами-профессионалами, которыми в конце концов в разной степени являлись сами, и просто наёмниками они осознавали очень хорошо; отношение к наёмникам было пренебрежительное: ими безжалостно рисковали в первую очередь тем более, что мёртвым платить уже не надо[35], в то время как опытные солдаты представляют собой слишком большую ценность, да и сами достаточно опытны, чтобы сунуться в слишком опасное дело[36]. Имена же отличившихся солдат-ветеранов и капитанов знала вся армия; солдаты так называемых «старых банд», прошедшие не одну военную кампанию и отдавшие военной службе иногда и 25-30 лет своей жизни, ценились весьма высоко. Репутация военного была гарантией его востребованности и достойного вознаграждения, у военных с хорошей репутацией, прежде всего конечно дворян, больше шансов приглянуться королю или знатным персонам с тем, чтобы сохранить свое место во время мира или найти себе иную службу и награду[37].

Отношение к солдатам дворян-военных имело две стороны: отношение к военным, в том числе и дворянам, сражающимся за плату, и отношение к ротюрье, посвятившим себя военному занятию. Первый аспект демонстрирует реакцию на те карьерные возможности, которые открылись для простого и бедного дво-

рянства благодаря войне: в конце концов и Байярд, и Монлюк - это примеры блестящей военной карьеры и обогащения за счёт войны изначально бедных младших сыновей провинциальных дворянских родов, не имевших возможностей дать своим отпрыскам возможностей иной карьеры[38]. Поэтому то, что простое дворянство по возможностям карьеры в военной области стало до определённого предела равной титулованной знати, имело весьма большое значения для общего самоощущения французского дворянства. Второй аспект был тоже весьма важен для дворянства в целом, поскольку военная иерархия XVI в. открыта для отличившихся и доказавших свою компетентность воинов, а через неё им становится доступным и возвышение в иерархии социальной, т.е. достижение дворянства в силу анноблирования, через обладание достоинством почетной должности. Социальный баланс не нарушался до тех пор, пока основу пехоты составляли иностранцы - чужеродный элемент для французской общественной иерархии, а конница носила исключительно дворянский характер. В этом отношении развитие военного дела стало своего рода катализатором увеличения социальной мобильности французского общества, поскольку картина военной иерархии оказалась полностью перемешанной: военное занятие перестало быть исключительно дворянским, дворяне потеряли монополию на службу в кавалерии (в том числе и тяжелой), дворяне пошли на службу в пехоте, в то время, как командные должности (за исключением высших) равно доступны как для ротюрье, так и для лиц благородного происхождения. Реакция на этот процесс самих военных-дворян была весьма неоднозначна, А. Жуанна, отмечая подобное противоречие у Брантома, пишет о наличии в нем как бы двух авторов: один из них радуется любому военному проявлению доблести от кого бы оно ни исходило и восхищается солдатами-ротюрье, другой, напротив, говорит о “куртуазной” войне как высшей форме военного искусства, доступной исключительно для истинных дворян благородного происхождения[39]. Для Брантома солдат - это лучшее название для любого военного человека, служащего в пехоте (soldats est le plus beau nom qu’on peut imposer aux gens de pied)[40], он и остальные авторы наших мемуаров осознавали и то, что порой солдаты-простолюдины превосходят дворян в военной доблести - качестве, почитавшимся за истинно дворянское, бывшее своего рода собственностью этого сословия. Брантом воспринимал это превосходство даже с определённой экзальтацией: “Что мне нравится в этих солдатах, так это то, как из них, молодых людей - вышедших из деревень землепашцев,

вышедших из лавок, школ, дворцов, кухонь, кузниц, конюшен и прочих мест столь же низких и маленьких, спустя какое-то время службы в пехоте, ставших там из пустого места, чем они были, закаленными и обретшими боевой опыт, получаются капитаны равные дворянам, имея свою честь в таком же почете, как и самые благородные, совершая столь же доблестные и благородные деяния, что и наиболее великие дворяне"[41]. Впрочем, в армию стекалось и большое количество авантюристов-маргиналов, многие из которых скрывались от правосудия[42], война была для них убежищем, а некоторые находили там себе достойное применение. По воспоминаниям Дю Виллара, "маршал Бриссак держал при себе с полсотни капитанов, которые все были ворами, бандитами и убийцами и которые боялись руки правосудия во Франции больше оружия неприятеля в Пьемонте; когда ему говорили что он не должен иметь при себе подобных людей, он всегда отвечал: "Я держу при себе этих злодеев для сбережения достойных людей (gens de bien), поскольку нет такого опасного дела, которое я не мог бы им поручить там, где я не хочу подвергать опасности других"[43]. Брантом знает многих бывших лакеев, ставших капитанами и анноблированных, например капитаны Педро и Мигнар, капитан Бекан - бывший лакей принца Немурского[44]. Вообще же, по его словам, "тех из нашего времени, кого мы видели из низкого состояния высоко поднявшихся через оружие, то их число бесконечно", "оружие их облагородило" (les armes ont rendu tres nobles)[45]. Брантом вспоминает, какой фурор наделало при дворе в самом начале гражданских войн возведение в кавалеры ордена двух безродных капитанов Паскье и Фуаси. Это был настоящий скандал, поскольку они даже не были дворянами. Сам Брантом считает, что это было сделано абсолютно правильно, поскольку подобная честь достигается оружием, а получают её теперь всё чаще люди ни разу не покидавшие своего дома для войны; настоящие дворяне прозвали таких "ублюдками дворцовых смотров"(les avortous des monstres a la Cour)[46]. Несколько подобный случай был и в правление Франциска I, вознаградившего двух героев обороны города Ландреси: сеньора д'Эссе, которого король сделал своим Gentilshome de la Chambre, подарил 1200 франков, и капитана ля Ланда, получившего 600 франков и назначенного королевским метрдотелем (Maistre d'Hotel). Оба они - первый был не очень знатным дворянином, хотя и из хорошего дома, второй - "авантюрист, который степень за степенью выделился своей доблестью и службой королю" - были прежде всего вояками, и при дворе они вызывали насмешки своими назначе-

ниями: о д'Эссе говорили, что он более умело даёт противнику ночные вылазки, чем рубашку королю, а ля Ланд лучше управляется с пикой, чем с жезлом метрдотеля[47]. Д'Эссе позже был назначен генеральным лейтенантом в Шотландии где командовал дворянами гораздо более знатными и богатыми чем он: братом и кузеном королевы, д'Андело, сыном Пьетро Строцци, Бурделем, де Ларошфуко и многими другими, которые тем не менее не оспаривали его прав и беспрекословно подчинялись[48]. Будучи уже пожилым человеком и страдая от желтухи, он решил умереть в бою и отправился на осаду Теруэнна, где с пикой в руках пошёл на приступ и погиб в схватке с полковым знаменосцем испанцев[49].

С правления Франциска I служба в пехотных бандах стала предоставлять реальную возможность изменить свой социальный статус путем анноблирования. Попытка создания в 1534 г. провинциальных легионов предусматривала анноблирование начиная с должностей знаменосца и лейтенанта, до них мог дослужиться любой отличившийся солдат[50]. Эта попытка провалилась, во многом из-за отношения к легионам со стороны дворян и профессиональных военных, отказывавшихся видеть в легионерах равных себе: для легионеров предусматривалось освобождение от налогов и повинностей, в том числе и по фьефу, поэтому, по воспоминаниям Вьейвиля, многие, записавшись в легион, получив жалование и свидетельство о службе, просто дезертировали[51]; боеспособность легионов была не большей, чем у франкаршеров, кроме того, предусмотренная общая численность легионов в 48 тыс. чел. никогда не была достигнута, в некоторых провинциях набор не был произведен вообще, а количество набранных легионеров не превышало 10-12 тыс. чел.[52] Но ордонансы, разработанные для легионов, в правление Генриха II были распространены на все пехотные банды[53]. Для эпохи Итальянских войн мы не располагаем никакими документальными данными относительно соотношения капитанов дворянского и ротюрного происхождения, не изучено и какой процент ротюрных капитанов был анноблирован. Однако в последнее время появился ряд работ, содержащий подобный материал для времени начала Религиозных войн для некоторых регионов Франции. Наиболее детально, на мой взгляд, этот аспект был рассмотрен в статье Сильви Десаши-Делькло, посвященной военной элите региона Руэрг в эпоху Религиозных войн. Из капитанов, воевавших в этом районе, 45,5% имели дворянское происхождение, 44% имели ротюрные корни, и 10,5% назывались дворянами без каких-либо доказательств благородного

происхождения[54]. При этом местное дворянство по её подсчётам, в 1542 г. было на 42% втянуто в военную деятельность, а во время гражданских войн этот процент боеспособных дворян, взявших в руки оружие, достигает 50%[55]. Однако, на мой взгляд, эти цифры участия дворянства сильно обесцениваются тем, что включают в себя дворян, состоящих в списках феодального ополчения, то есть по сути "мёртвые души", поэтому цифры количества военных капитанов гораздо более показательны для демонстрации уступки дворянами даже командных постов. Около 50% капитанов-гасконцев также были ротюрного происхождения[56]. После окончания войн эти капитаны ротюрного происхождения без помех вливались в дворянство, более того, их потомки во время расследования дворянства, предпринятого Кольбером в 1666-1668 гг., успешно использовали военную службу своих предков для доказательства своего дворянства[57].

Процесс аноблирования солдат-ротюрье воспринимался самими военными весьма неоднозначно. В период Религиозных войн, когда воевали фактически все и кто попало мог сколотить собственный отряд и сам себя назначить капитаном или просто купить военную должность, статус военного девальвировался, так что в конце концов пришлось принимать меры к стабилизации положения: королевским эдиктом 1600 г. военная профессия перестала в полном объеме анноблировать лиц, чья военная служба началась после 1563 г.[58] До начала Религиозных войн, когда военная карьера имела гораздо больший социальный престиж, ситуация была несколько иной. Отношение военных-дворян к такому анноблированию даже при всех отличных нюансах однозначно: анноблирование оружием уж во всяком случае более соответствует традиции и более приемлемо, чем анноблирование королем людей длинной мантии и возвышение куртизанов. Кроме того, пример такого пути при помощи оружия "из грязи в князи" задавался и оправдывался в их глазах так много значившим для них примером Античности, когда даже некоторые императоры начинали свою карьеру с простых и безродных солдат[59]; подобные примеры были известны и в совсем недавней истории - тот же Франциско Сфорца, бывший сыном пахаря[60]. Наиболее отрицательно к анноблированию и вообще к доступности анноблирующих военных постов для ротюрье относится Ла Ну, на мнение которого сильно повлияла обстановка Религиозных войн, девальвировавшая статус военного и превратившая в солдат фактически всё население Франции. Ла Ну считает, что в качестве награды за службу дворянам положена честь, а солдатам - деньги[61], поэтому солдаты не имеют

никаких прав ни на занятие командных должностей начиная со знаменосца и лейтенанта (то есть с тех должностей, с которых было возможно анноблирование), ни, тем более, на равное положение с дворянами[62]. Это мнение Ла Ну разделяет и Таванн, он точно так же отказывает солдатам в основном качестве, дающим возможность претендовать на дворянский статус - чести; по его мнению, любовь к родине, добыче и плате, толкающие ротюрье к военной службе не приближают их к этому качеству, которое у дворян передаются воспитанием и родовым происхождением[63]. Правда надо учесть, что Ла Ну при этом делает весьма интересную оговорку: "Среди этих плебеев, ранее занимавшихся механическими ремёслами, встречаются некоторые, имеющие благородное сердце и предрасположенность к доблести» (ayant le coeur noble et dispose a vertu), но их мало и речь не о них"[64]. Дю Белли, предлагавший создать из французов постоянные войска наподобие римских легионов, считал само собой разумеющимся аннoблирование их командиров и всего их потомства в случае, если у них при этом достаточно средств для несения конной воинской службы, поскольку "это выгода и честь для королевства, что дворянство, которое истощается и гибнет в продолжительных войнах, возмещается и пополняется из ближайшего сословия"[65]. Даже французские юристы конца XVI - начала XVII в. писали, что во Франции единственным законным путем полного аннoблирования считается аннoблирование оружием[66], как писал юрист Этьен Паскье, аннoблирование, не связанное с несением военной службы, во Франции считается "бастардным"[67]. Монлюк, который по его словам сам был свидетелем того, как "выскочки, начинавшие службу с ношения пики за плату в шесть франков, оказывались столь способными и прославленными, что выдвинулись больше иных дворян и, хотя были детьми простых пахарей, превзошли их доблестью и храбростью"[68], никоим образом не отказывает солдатам в обладании ими честью; обращаясь к солдатам перед боем, он всякий раз взывает к тому, что впереди их ждут «честь и богатство»[69] - то же самое толкает на войну и дворян, как пишет Рабютен, они идут воевать «претендуя доблестью и храбростью достичь чести и богатства»[70]. Солдатам, достигшим чести и репутации, Монлюк не может пожелать ничего иного, кроме как "достигнуть тех же степеней, что и их начальники"[71]. По мнению А. Жуанны восторженное отношение Монлюка и Брантома к военной доблести простых солдат является исключением из общего отношения к ротюрье со стороны авторов XVI в.[72] Однако, на мой взгляд, не стоит забывать о том, что основная масса воевавших

французских дворян относятся скорее к типу Блеза Монлюка - простого дворянина, осуществившего военную карьеру своими заслугами и Пьера Брантома - дворянина скорее просто любящего войну, всё связанное с ней и участвующего (чаще даже скорее присутствующий) в боевых действиях эпизодически, от случая к случаю, подобно большинству французских дворян-волонтёров, чем к знатным придворным персонам наподобие Таванна и Вьейвилля, всегда сохранявших дистанцию с простыми вояками. Эти вояки гораздо реже писали, но на мой взгляд точка зрения Монлюка и Брантома должна быть им ближе, нежели сентенции людей никогда не ведших за собой в бой отряд пехоты. Сам Монлюк одинаково горд тем, что служил своему королю пройдя все воинские ступени, от солдата до маршала[73], не гнушаясь и работой пионера-сапёра (то есть земляных работ, которые самими солдатами почитались недостойными их статуса[74]; заставить их делать это даже за плату было более чем затруднительно, капитан мог это сделать только подавая собственный пример, привлекая к этому всех своих клиентов, то есть тех солдат и офицеров, которые находились от него в личной зависимости, связывая с ним всё своё будущее благополучие. Монлюку при осаде Булони чтобы заставить производить сапёрные работы своих солдат, пришлось копать самому и привлечь к этому своего брата капитана Лиу, племянника капитана Леберона, кузена Лаби со всеми своими и их знаменосцами, лейтенантами, а также всецело преданных ему солдат-гасконцев, получавших за эту работу по 5 су в день[75]).

Одновременно с повышением статуса солдата, ростом уважения к службе в пехоте, шёл процесс, как говорят наши авторы, “бастардизации” кавалерии, прежде всего ордонансных рот, терявших свой однородный дворянский состав.

Как уже говорилось, изначально ордонансные роты подразумевали исключительно дворянский состав; Монлюк и все остальные вспоминают времена, когда даже на место стрелка претендовали сразу по 2-3 дворянина из самых знатных и богатых родов[76]. Этим, кстати, восприятие престижа конного стрелка во Франции отличалось от бытовавшего в Испании, где эта служба не считалась достойной для дворянина, поэтому испанцы часто отказывали пленным французским стрелкам в обращении не как с солдатами по найму, а дворянами. Впрочем, испанская кавалерия имела репутацию весьма слабой, её военный престиж среди профессионалов был крайне низок; считалось что такого не бывает вообще, чтобы в одной стране были одинаково хорошими и конница, и пехота[77]. Во Франции же ус-

тановился обычай, что дворянин до того как стать жандармом, должен пройти военную школу, получив надлежащий опыт, служа пажом или стрелком ордонансной роты; из этих стрелков обычно возмещались потери жандармского корпуса[78]. Реальным пределом карьеры в ордонансной роте была должность знаменосца или лейтенанта, поскольку должность капитана воспринималась как своего рода собственность, передававшаяся по наследству как своего рода рента, в то время как весьма часто реальное командование осуществлялось одним из лейтенантов. В отличие от пехоты, жандармы редко использовались при штурме городов, что существенно уменьшало материальные выгоды военной службы, и это в то время как расходы на экипировку были велики, а выплата жалования более чем нерегулярна. Постепенно наметилась очень интересная ситуация: дворяне повально бегут из ордонансных рот в пехоту и легкую кавалерию, в то время как в жандармерию проникают лица ротюрного происхождения. Этот процесс исхода французских дворян в пехоту и легкую кавалерию имеет под собой ряд причин и отражает на мой взгляд прежде всего своеобразную реакцию на возросшую социальную мобильность, общими изменениями в структуре и иерархии элит французского общества. Если рассмотреть конкретную боевую биографию Монлюка, то выяснится, что его карьера в качестве командира (капитана) пехоты началась после Неаполитанского похода, закончившегося для французов весьма плачевно несмотря на боевые успехи из-за эпидемии чумы. Монлюк, по его собственным словам, тогда сам желал себе смерти, поскольку в этом походе погибли все его покровители - Лотрек и принц Педро Наваррский, и все его друзья - все, кто знал его[79]. Для него это означало необходимость с нуля начинать свою карьеру военного без поддержки со стороны, и единственная возможность быстро выделится из общего ряда была служба в пехоте, дававшая возможность собственно военной карьеры - достижения всё более высоких командных должностей за счёт личных способностей.

Проникновение лиц ротюрного происхождения в жандармерию началось по всей видимости уже в начале XVI в., о чем свидетельствует хотя и редкое, но наличие актов анноблирования жандармов ордонансных рот, появляющихся как минимум уже со второй половины 40-х гг.[80], чего в принципе не должно было быть, так и формулировка обращения к жандармам в королевских ордонансах с 1514 г., в которых на равных говорится о “gentils-hommes et gens de bien” или “gentils-hommes et gens d’ordonances” (то есть о дворянах по происхождению и осталь-

ных добрых людях наших ордонансных рот)[81]. Об этом свидетельствуют и мемуары, причем отношение к этому явлению крайне негативное, в первую очередь по причине отсутствия у лиц ротюрного происхождения надлежащего боевого духа и боевого опыта (aguerrissement), уровня боевой подготовки и экипировки для службы в тяжёлой кавалерии. В принципе то, что армия военного времени всегда более плебейская по своему составу чем армия времен мира - в этом нет ничего странного и удивительного, это явление характерно для всех эпох и объясняется в первую очередь необходимостью восполнения естественной убыли личного состава[82]. Однако французская жандармерия всегда рассматривалась как своего рода элита самого дворянства, место, где собрана его лучшая часть[83]. Тому, чтобы подобное проникновение ротюрье в жандармерию стало возможно в принципе, на мой взгляд, в первую очередь поспособствовало с одной стороны, отсутствие четких критериев определения дворянского статуса лица, претендующего на место в роте, с другой стороны - невозможность властей воспрепятствовать этому процессу в силу объективных причин: большие потери среди личного состава, потеря жандармерией её военного (но не социального) престижа, потеря дворянством интереса к службе в ордонансных ротах, отсутствие действенного контроля в боевых условиях. В принципе, чтобы попасть в ордонансную роту, было достаточно обладать фьефом и вести благородный образ жизни, плюс некоторая протекция со стороны какого-либо покровителя, что иногда могло заменить собой все остальные требования. Как это происходило в реальности, мы можем проследить на примере ордонансной роты маршала Сент-Андре. Получив в конце 30-х гг. должность губернатора Лиона, Сент-Андре поручил свою роту и исполнение обязанностей сенешаля человеку "длинной мантии" - некоему Пейра, который в свою очередь устроил из нее своего рода деловое предприятие: вместо дворян в роту по большей части принимались сыновья горожан, в основном торговцев и владельцев таверн из Руана, Ля Пакодьера и Ля Палиса, вообще не обладавших ни фьефами, ни бастидами, ни какими-либо иными сеньориями или признаками, позволяющими хотя бы претендовать на анноблирование. В результате на всю роту в 100 копий не было и 15 дворян и всего 50 лошадей, пригодных для службы. В роту был принят сын военного комиссара Дофине Ля Гателиньер, который не замечал отсутствие на смотрах не только положенных должного вооружения, экипировки и лошадей, но и самих людей. Контролер, в чью обязанность входил контроль за состоянием роты, был од-

новременно секретарем её капитана, а казначей (tresorier) роты - его личным секретарем (argentier). Сами смотры проводились в самом Лионе, что было большим нарушением, поскольку это давало возможность брать на время смотра у других лиц лошадей и оружие. Все это продолжалась почти десять лет, пока Сент-Андре не решил передать роту своему сыну, а тот лично не захотел заняться её делами. Придя в ужас от её состояния, он направил Вьейвиля в качестве её лейтенанта, поскольку командиры роты - Апхон и Сант-Форгель были замешаны в этом деле, набрав в роту множество своих домочадцев. Для очищения роты смотр её был произведен в Оверни, где вскрылось не только отсутствие оружия и экипировки, но и неумение многих просто сидеть на коне, а не то что совершать курбеты и вольты. Уволить некоторых из изгнанных из роты, имевших богатых родителей и влиятельных знатных покровителей удалось только с применением физической силы, одного пришлось даже повесить за совершенное ранее уголовное преступление. Вместо этого сброда в роту были зачислены дворяне из Гаскони, Периго и Лиможа - родственники и клиенты жены маршала Сент-Андре[84].

Этот эпизод хотя и исключителен, но вполне отражает общую картину усиления в жандармерии ротюрного элемента, особенно среди стрелков. Особенно сильным этот процесс стал со второй половины XVI в., когда с 60-х гг. массовый и законный характер приобрела продажа военных должностей[85], то есть дворянин просто-напросто мог продать свое место жандарма или стрелка другому лицу. Ротюрье были крайне заинтересованы в этой возможности, поскольку именование стрелком или жандармом давало возможность анноблирования, не прибегая к покупке фьефа: человек вел благородный образ жизни, нес конную военную службу королю, участвовал в военном походе - он имел репутацию дворянина, то есть был таковым, сын такого человека или внук мог уже спокойно именоваться дворянином, такова была точка зрения и общества, и юристов, Жан Баке писал в 1584 г.: "Во Франции мы придерживаемся того мнения, что для удостоверения дворянства достаточно чтобы свидетели показали, что они знали его деда или отца, видели, что он живет благородно, следует оружию, участвует в войнах, имеет также военную должность (charge de compagnies), будучи капитаном, лейтенантом, знаменосцем, корнетом или жандармом..."[86]. Такая ситуация продолжалась всю вторую половину XVI в., королевские власти с одной стороны пытались остановить этот процесс, с другой стороны, были вынуждены мириться как минимум с

попаданием в ряды жандармерии и дворянства хотя бы наиболее опытных и отличившихся воинов ротюороного происхождения, в которых были заинтересованы. Так, например, § 40 эдикта Генриха III от 16 февраля 1584 г. запрещал брать в жандармы и стрелки любого, если это не дворянин, живущий благородно (gentils-hommes vivans noblement), но при этом делалось исключение для лиц, служивших в королевской пехоте[87]. По эдикту Генриха III от 1578 г. в личную королевскую гвардию могли приниматься только дворяне, происходящие из старых дворянских родов (nobles de race), капитанам запрещалось принимать в качестве жандармов и стрелков всех, за исключением капитанов или особо отличившихся солдат ранее служивших в пехоте, причем места в ротах запрещено было продавать как напрямую, так и косвенным образом[88]. Такая политика по отношению к аноблированию ротюрье через жандармерию вполне укладывается в общую политику аноблирования как меры, ставшей необходимой в результате Религиозных войн (свидетельство тому эдикты аноблирования 1576, 1577 и 1578 гг.) - это с одной стороны, мера пополнения казны, с другой - необходимость возмещения людских потерь за время почти не прекращавшихся для Франции войн[89].

Аноблирование военных ротюрье основывалось на том, что оружие "вставляет сердце в грудь каждого, кто взял его в руки"[90], через него выходец из простолюдинов становится причастным к благородному занятию и благородным свойствам, которые у дворян носят природный, врождённый характер: храбрость и военная доблесть. Ла Ну, пожалуй, единственный из наших авторов, кто не разделяет это убеждение, для него при всех оговорках является истиной, что "военные упражнения не делают доблестными всех, кто их практикует": ротюрье, взявший в руки оружие должен остаться ротюрье[91]. На такое отношение к солдатам повлияла обстановка Религиозных войн, поскольку девальвация статуса военного автоматически влекла за собой и девальвацию дворянства: воевали фактически все в то время как даже военное аноблирование должно было сохранять исключительный, редкий и длительный характер, а сами военные стали в результате ассоциироваться не с благородными защитниками, а грабителями с большой дороги. Кроме того, неопределённость статуса военного и его связь с представлениями о дворянстве влекли за собой чисто психологический эффект, поскольку военное состояние в массах прочно ассоциировалось с более высоким, чем ротюрный социальным статусом, дававшим к тому же возможность аноблирования. Массовость армий

в военное время и их последующий роспуск во время мира влекли за собой проблему статуса военных в мирное время, ставшую фактически неразрешимой для всего западноевропейского общества XVI-XVII в., источником постоянной социальной и политической нестабильности.

---

[1] La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p. 178: «Les armes ont toujours este parmi la nation francoise en singuliere recommandation»..

[2] Fontanon A. "Les edicts et ordonnances des rois de France". Paris, 1585, t. I, p. 644.

[3] Du Belly, Guillaume "Institution de la discipline militaire au roiaume de France". Lion, 1559, p. 13; Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIII, p. 14.

[4] Du Belly, Guillaume "Institution de la discipline militaire au roiaume de France". Lion, 1559, p. 5-6, 29; La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p. 223-224; Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 80.

[5] Orlea M. "La noblesse aux Etats generaux de 1576 a 1588" Paris, 1988, p. 58; Constant J.-M. "La vie quotidienne de la noblesse francaise aux XVI et XVII siecles", Paris, 1985, pp. 72, 90; Contamine Ph. "L'etat et les aristocraties XII-XVII siecles"Paris, 1980, p. 298.

[6] Jouanna A. "La noblesse francaise et les valeurs guerrieres au XVI siecle". L'homme de guerre au XVI siecle. Saint-Etienne, 1992, p. 206.

[7] Histoire militaire de la France des origines a 1715. Paris, t. I, 1992, p. 328.

[8] La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p. 230-231.

[9] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIV, p. 156: «Mil chevaux d'arriere-ban furent defaits par les imperiaux, pour estre plus soigneux de butin que de garde».

[10] Rabutin, Francois "Commentaires des derniers guerres en la Gaulle Belgique". Paris, 1574, p. 206: «...les imperiaux prindrent tant de gloire, et la tournerent a si grande mocquerie de notre noblesse, qu'ils en forgerent un proverbe, a scavpir, qu'ils prenoient les nobles de france sana poiser».

[11] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIV, p. 110; Документы по истории гражданских войн во Франции 1561-1563, М-Л., 1962, с. 54-55, 69-70.

[12] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIV, p. 111.

[13] Corvisier A. "Armee et societes en Europe de 1494 a 1789" Paris, 1976, p. 14.

[14] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521 - 1576" Lyon, 1593, t.I, p. 80: «Il n'y a prince au monde, qui ait la noblesse plus volontaire que nostre. Un petit sousris de son maitre, eschauffe les plus refroids, sans crainte de changer prez, vignes et moulins en chevaux et armes, on va mourir au lict, que nous appellons le lict d'honneur».

[15] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIX, p. 242.

[16] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIX, p. 269: «C'est un abus qui court inconsiderablement parmy les francois, lesquels sont si brulans en leur intention pour acquerir honneur, qu'a l'envy l'un l'autre ils se vont inconsiderablement perdre dans une mauvaise place, a laquelle on s'attaque bien souvent plus a cause des rancons qu'on espere tirer d'eux, que pour la consequence de la place».

[17] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. V, p. 271.

[18] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. X, p. 154-155.

[19] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. X, p. 153; La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p. 186.

[20] La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p.190.

[21] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIX, p. 545: «...le desbandement de tous ces seigneurs et de toute la noblesse qui estoit venue a la guerre en Piemont, et lesquels comme volontaires ne pouvoient estre retenus par aucune sorte de remonstrance. A la verite la noblesse francoise court fort gayement a la guerre; mais si tost qu'elle y a sejourne deux ou trois mois elle en est saoulle et tourne soudain bride vers la maison, ne considerant pas que les grades ny les honneurs ne s'acquierent a si bon marche et que le labeur et la sueur doivent preceder la moisson».

[22] Ch. Paillard «L'invasion allemande en 1544» Paris, 1884, p. 68.

[23] Воинов кавалерии часто считали по типу шлема, который они носили - салад.Таким образом, количество 20 саладов обозначает всего 20 человек, как жандармов, так и стрелков.

[24] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822 t. XXX, pp. 102-103.

[25] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822 t. XXX, p. 103.

[26] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822 , t. XXX.

[27] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822, t. XXIX, p. 360.

[28] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822, t. XXIX, p. 546.

[29] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 110: «Je croy qu'il n'y a telle noblesse au monde que la francoise, ni plus prompte a mettre le pied a l'etrier pour le service de son prince: mais il la faut employer lors qu'elle est en cete bonne devotion».

[30] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822 t. XXIII, p. 209: «Les gentilshommes...sont imparfaicts, pour ne vouloir patien-

ter dans les armees, attirez des voluptez de chez eux: ils perdent souvent les occasions et reputation de leurs capitaines et general, avec un mal si contagieux, que les uns desbandent les autres, se forment des mescontentemens ou sujets a leur poste. C'est pourquoy les armees francaises aux guerres d'Espagne se rompoient tousjours en hyver, et en ces dernieres guerres les capitaines aymoient mieux des soldats que des gentilshommes...».

[31] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822 t. XXIII, p. 209.

[32] Ланспесадами во Франции называли молодых дворян, проходивших в войсках обучение военному делу. Они служили в пехоте в качестве обычных солдат, но в отличие от остальных ланспесады освобождались от несения караульной и постовой службы.

[33] Jouanna A. "La noblesse francaise et les valeurs guerrieres au XVI siecle". L'homme de guerre au XVI siecle. Saint-Etienne, 1992, p. 205; Jouanna A. "Histoire des elites en France du XVI au XX siecle: l'honneur, le merite, l'argent". Paris, 1991, p. 35.

[34] Histoire militaire de la France des origines a 1715. Paris, t. I, 1992, p. 328.

[35] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. VIII, p. 59.

[36] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 124.

[37] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 5; La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p. 186.

[38] Jacquart, J. "Le chevalier Bayard" L'homme de guerre au XVI siecle. Saint-Etienne, 1992, pp. 24, 27; Sournia J.-Ch."Blaise de Monluc" Paris, 1981, p. 79.

[39] Jouanna A. "Ordre social: mithes et hierarchies dans la France du XVI siecle" Paris, 1977, p. 144.

[40] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. X, p. 15.

[41] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. X, p. 101: «...ce que j'admire autant en ces fantassins, c'est que vous verrez des jeunes gens sortir des villages, du labeur, des boutiques, des ecoles, des palais, des poeles, des forges, des escuries et de plusieurs autres lieux pareils bas et petits: ils n'ont pas demeure plustot parmy cette infanterie quelque temps, que vous les voyez aussi-tot faits, aguerris, faconnez, que de rien qu'ils estoient, viennent a estre capitaines et esgaux aux gentilshommes, ayant leur honneur en recommendation autant que les plus nobles, a faire des actes aussi vertueux et nobles, que les plus grands gentilshommes...».

[42] Fontanon A. "Les edicts et ordonnances des rois de France". Paris, 1585, t. III, p. 112. Henri III, 16 fevrier 1584 §19.

[43] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIX, p. 359: «Sera icy note par incident que le mareschal entretenoit pres du lui une cinquantaine de capitaines qui avoit este tous volleurs, brigands

ou meurtriers, et qui craignoient plus les mains de la justice de France que les armes des ennemis du Piedmont; et quand on luy disoit estre suivi de telles gens, il respondoit tousjours: «Je les entretiens comme mechans, pour le salut des gens de bien, car je ne scaurois commender rien de si hasardeux a ceux-cy qu'ils ne fassent teste baissee ce que je ne voudrois pas commender aux autres».

[44] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. X, p. 105-106.

[45] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. X, p. 106.

[46] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. IX, p. 80-83. Со второй половины XVI в. прием в орден Святого Михаила военных, в том числе и сомнительно дворянского происхождения набирает стремительную силу: с 8 человек в год при Генрихе II до 107 к правлению Карла IX. Из 1928 человек военных, принятых в орден между 1560 и 1610 гг. 44% являлись простыми нетитулованными дворянами и 13% не являлись дворянами вообще. (Histoire militaire de la France. t. I, p. 328-329.)

[47] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. VII, p.205-206.

[48] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, p. 209-210.

[49] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, p. 211.

[50] Isambert J.-D. "Recueil general des anciennes. lois francoises", t. XII, Francois I a Saint-Jermain Laye le 24 juillet 1534, § XLLV: "Si aucun compagnon fair preuve de vertu de sa personne, en ce cas le capitaine luy face un present d'anneau d'or, lequel il portera a son doigt pour memoire de sa preuve et selon qu'il exaltera de la en avant en vertu, il montera en office de degre en degre, jusques a estre lieutenant sous les colonnels et capitaines et s'il n'est noble estant lieutenant, il sera annobly".

[51] Цит. по Susane L. "Histoire de l'infanterie francaise" Paris, 1876, p. 75.

[52] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIII, p. 241.

[53] Chaman, S "Ordonnances militaires touchant l'ordre, reglement, discipline, police et devoire de l'infanterie francoise" Rouen 1626, p. 5-18.

[54] Desachy-Delclos S. "Les elites militaires en Rouergue au XVI siecle" Annales du Midi, Thoulouse, 1996, p. 16.

[55] Desachy-Delclos S. "Les elites militaires en Rouergue au XVI siecle" Annales du Midi, Thoulouse, 1996, p. 16-17.

[56] Histoire militaire de la France des origines a 1715. Paris, t. I, 1992, p. 328.

[57] Desachy-Delclos S. "Les elites militaires en Rouergue au XVI siecle" Annales du Midi, Thoulouse, 1996, p. 17, 27.

[58] Susane L. "Histoire de la cavalerie francaise" Paris, 1874, p. 79.

[59] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. X, p.105.

[60] Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t. X, p. 102.

[61] La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p.186.

[62] La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p. 283.

[63] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822 t. XXIII, p. 209.

[64] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822 t. XXIII, p. 184.

[65] "Institution de la discipline militaire au roiaume de France" Lion, 1559, p. 167.

[66] La Jaille, Hardouin de "Traites et advis de quelques gentilshommes francois sur les duels et gages de batail" Paris, 1586, p.27.

[67] Etienne Pasquier "Des recherches de la France" Paris, 1643,L I, p. 128.

[68] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 2.

[69] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 51, 156.

[70] Rabutin, Francois "Commentaires des derniers guerres en la Gaulle Belgique". Paris, 1574, p. 26: «...pretendans par valleur et hardiesse de parvenir a honneur et bien».

[71] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 6.

[72] Jouanna A. "Ordre social: mithes et hierarchies dans la France du XVI siecle". Paris, 1977, p. 28.

[73] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p.1.

[74] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t. II, p. 189.

[75] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 99-100.

[76] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 6; Brantome, Pierre de Bourdeille de "Oeuvres completes" La Haye, 1740, t.VII, p. 196; Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIX, p. 3-4.

[77] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXIII, p. 242.

[78] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822, t. XXVI, p. 213.

[79] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521-1576" Lyon, 1593, t.I, p. 16.

[80] Bibl. nat., ms. fr. 4139, fol. 92 v0(mention) ; Arch. Nat., JJ 258A, n. 576, fol. 349 v0 - 350; Bibl. nat., ms. fr. 5127, fol. 35 v0; Arch. Nat., JJ 260/1 fol. 13v0-14; K106A, n0 50.

[81] Fontanon A. "Les edicts et ordonnances des rois de France". Paris, 1585, t. III, p. 56; Daniel, G. "Histoire de la milice francoise et des changements qui s'y sont faits depuis l'etablissement de la monarchie francoise

dans le Gaules jusqu'a la fin du regne de Louis le Grand" Amsterdam, 1724. t. I, p. 156.

[82] Corvisier A. "Armee et societes en Europe de 1494 a 1789" Paris, 1976, p. 57-58.

[83] Rabutin, Francois "Commentaires des derniers guerres en la Gaulle Belgique". Paris, 1574, p. 252. ; La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p. 223. ; Histoire militaire de la France, t., p. 328. В 1576 г. духовенство требовало жалования дворянства всем лицам ротюрного происхождения, служащим в жандармерии, а также прослужившим три года в качестве солдат пехоты и два года в легкой кавалерии. Третье сословие в 1588 г. потребовало разрешения лицам ротюрного происхождения служить в жандармерии, что было законодательно закреплено на Генеральных штатах 1614 г., при этом командование резервировалось исключительно за дворянами.

[84] Collection des memoires relatifs a l'histoire de France. Paris, 1822. t. XXVI, p. 220-227.

[85] Mousnier R. "La venalite des offices sous Henri IV et Louis XIII" Paris 1948, p. 23.

[86] Jouanna A. "Le Devoir de revolte: la noblesse francaise et la gestation de l'Etat moderne 1559-1661" Paris, 1989, p. 22.

[87] Fontanon A. "Les edicts et ordonnances des rois de France". Paris, 1585, t. III, p. 62.

[88] Ibidem.

[89] Fontanon A. "Les edicts et ordonnances des rois de France". Paris, 1585, t. III,, p. 58-59.

[90] Monluc, Blaise de "Commentaires 1521 - 1576" Lyon, 1593, t.I, p. 3.

[91] La Noue, Francois de "Discours politiques et militaires" Basel, 1587, p. 210.

А. Л. ХОРОШКЕВИЧ

ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ МОСКВИЧЕЙ В СЕРЕДИНЕ XVI В.
(по материалам Стоглава)

Середина XVI в., вернее 1547-1552 гг., – переломная эпоха в истории Москвы. 16 февраля 1547 г. вместе с венчанием на царство государя всея Руси, великого князя владимирского, московского и пр. земель столица превратилась в «царствующий град». Однако в этот же самый год в огне апрельского и катастрофического июньского пожара погибла большая часть города – Кремль, Китай-город, Заяузье, Занеглименье, что потребовало колоссальных восстановительных работ. Конечную дату сообщения определили успехи казанских походов Ивана IV. Взятие Казани 2 октября 1552 г. – поворотный момент в развитии страны, формировании «национального духа», изменении облика столицы Российского царства.

О том, как жил «царствующий град» в первые послепожарные годы, рассказывает Стоглав, решения Освященного Собора 1551 г.[1] включившие сто глав (отсюда и название самого Собора и сборника его установлений). Стоглав неоднократно был предметом исследования, но для данной темы его использовали лишь выборочно, извлекая из него иллюстрации по разным аспектам городского быта[2]. Между тем Стоглав представлял собою неудачную попытку прекратить «брожение элементов общественной жизни»[3], приведшее, по мнению Д.Е.Кожанчикова, к Смутному времени, с помощью строжайшей регламентации всех ее сторон. Ортодоксальное единообразие должно было быть достигнуто в политических и общественных взглядах, одежде и градостроительстве. Надобность в такой всеобъемлющей регламентации возникла в результате грандиозных перемен в образе жизни и менталитете всего населения страны, в том числе городского и, разумеется, столичного.

Среди этих перемен на первое место стоило бы, пожалуй, поставить воздействие разных иноземных культур – как западных, так и восточных. Если во времена ига традиции ордынской

культуры отторгались, как принадлежавшие захватчикам, то к середине XVI в., когда со времени обретения страной независимости прошло 70-50 лет[4], отношение к восточной культуре изменилось. Русский язык четко зафиксировал это явление, переполнившись различными тюркизмами. Они проникли и в речь глав государства. В 1536 г. великая княгиня Елена Ивановна «карашевалась» с Фатьмой-салтан, женой хана Шигалея, а 6-летний Иван IV приветствовал ее тюркским «Табуг-салам»[5]. Появились и романизмы, даже в самом Стоглаве: глагол «шпильманит» – калька немецкого и аналогия русского «глумы деет». Вместе с наплывом иностранцев – специалистов (архитекторов, инженеров, врачей) в быт русского города стали проникать и непривычные для русских обычаи. Усвоение культуры побежденной страны – в истории России не редкость. Стоит вспомнить подобный феномен XVIII-XX вв.: покорение Крыма и ориентализация быта русского дворянства, война 1812 г. – и воздействие идей французской революции, Отечественная война 1941-45 гг. – распространение массовой культуры фашизма в жизни и быте страны. Конечно, прогресс интернационализации русской культуры в середине XVI в. зашел не так далеко, как в последующее время, но церковь, равно как и царь, полагавший, что он занял место Константина Великого, Феодосия, Юстиниана[6], стремились восстановить прежние обычаи[7]. Собор 1551 г. закрепил союз царской власти с духовенством, и обе ветви власти, духовная и светская, в постановлениях собора напоминали послушной и непослушной пастве, достойным и недостойным подданным царя апостольские правила, согласно которым должна была строиться вся их жизнь. Распорядок каждого дня, распределение рабочих и нерабочих дней, одежда и еда, книги и иконы – все это должно было соответствовать святоотеческим преданиям[8].

В соответствии с Номоканоном XIV титулов, глава 44 которого восходила к Юстинианову кодексу[9], жизнь во всей стране, а соответственно и в столице в субботу и воскресенье должна была замирать: «в субботу и в неделю на молитву упражнятися и празновати»[10]. Остальные 5 дней «уставиша всем православным христианам...делати». Согласно решениям VI Вселенского собора праздничными считались 7 дней до Пасхи (Страстная неделя) и 7 дней после нее (Светлая неделя), канун Рождества Христова и Богоявления и св. страстей и апостол. В царствующем граде середины XVI в. появился еще один праздник – «царский», т.е. «воспоминание дни рождения его или рожение сына или дщери его или некое от таковых». Правда, степень торжест-

венности его была несколько ниже, нежели церковных праздников. В Страстную и Светлую недели запрещено было производить суд, взыскивать «людской долг», только «в пекленицах, идеже пекутся хлебы», «ослобожено» было «работати и продати». На самую Пасху запрещено было заключать кого-либо в темницы или связывать. Исключение, также по VI собору, составляли «прелюбодей и блудник, и восхищая девицу, и гробный тать, и отравник, и куяй втайне переперы, сииречь с подмесы (т.е. фальшивомонетчик), и убийца, и мучитель». В эти же две недели было предписано никому не работать: «да не делают люди, но да празднуют вси раби и свободныи». На царский же праздник отменялись все общественные мероприятия, которые Стоглав именует «позорами», т.е. зрелищами, будь то конские соревнования или казни (Стоглав, с. 371-372).

Утверждая порядок проведения церковных праздников, Стоглав не прошел и мимо мирских – волхвований, приуроченных к началу каждого месяца и особенно к началу марта, с которого некогда начинался новый год: «труд полагают в древо, и то древо, иже имать во обоих концах труд, концы полагают во древа, и тои огнь вжизают во вратех или пред враты домов своих или пред торговищи своими сюду и сюду и тако сквозь огонь проходяще с женами своими и с чады, по древнему обычаю вохвующе» (Стоглав. С. 370-371). Подобные языческие пережитки подвергались категорическому запрещению. Ведь даже за организацию «позоров» в воскресенье «воинства лишен будет и имение его разграбити», – предписывал Стоглав (Стоглав. С. 371).

Распорядок дня подлежал такой же строгой регламентации, как и дни недели и года. И праздничные, и будние дни начинались на рассвете. Само исчисление часов дня было связано с восходом солнца, как это и было принято на христианском востоке. «Как час ударит дни» (Стоглав, С.279), т.е. в разгар лета – с 25 мая по 5 июля это соответствовало половине четвертого XIX столетия, а глухой зимой – с 27 ноября по 1 января – половине девятого[11], начинался перезвон колоколов, созывавших верующих на молитву. У каждой церкви и монастыря был свой, отличный от других голос, и привычное ухо легко узнавало, откуда несется то мощный, то нежный звук. Вспомним, что Грозный в молитвенном экстазе во время решительного штурма Казани 2 октября 1552 г. «слышал звон, как быто Симановский», т.е. Симоновского московского монастыря[12]. Первыми спешили к обедне «служебники и торговые люди». В приходских церквах церковные службы начинались именно в час дня[13]. Правда, собор сделал послабление «государственным и торговым» людям.

«Боярин и дьяк, и приказной человек, и служебники всякие, и торговый человек, ранней обедни коли не послушает, ино ему николи обедни не слушати, также больному и старому» (Стоглав. С.374). Однако такая возможность оставалась у тех, кто по тем или иным причинам опаздывал на обедню в свою приходскую церковь. Ведь во второй час, т.е. соответственно от половины пятого до половины девятого зимой, начинала звонить и дворцовая церковь «у Спаса на царском дворце», к ней присоединялся и Спас Смоленский (на Смоленской площади) и Никола Чудотворец у Каменного моста (через Неглинную на Никольской улице) (Стоглав. С.279).

По праздничным дням богослужение сдвигалось на более позднее время: по воскресеньям и в великие праздники оно начиналось в третьем часу, по субботам – в четвертом (т.е. соответственно на 5 летом и 9 зимой и 6 и 10.

Во время обедни, продолжавшейся около 2 часов, верующие должны были набраться не только «благоверия», но и светского законопослушания, вознося молитвы о здравии, спасении царя и царицы, умножении лет их «живота», о здравии царского брата Георгия и его супруги (в 1551 г. уже после собора был добавлен двоюродный брат Ивана IV Владимир Андреевич Старицкий, талантливый военачальник, которому Россия и обязана захватом Казани)[14], наконец, князей и бояр. Именно о военных успехах должны были молить верующие – «о возвышении царской десницы над всеми недругами и врагами, о пособлении и укреплении христолюбивого воинства царя». Лишь после этого следовали просьбы о «мирном устроении царства», «о благопребывании и устроении земском и тишине». Таким образом, весь православный мир с самого утра приобщался к общегосударственным заботам, после которых внимание уделялось и ему, эта молитва завершалась обращением относительно «здравия и спасения всего православного христианства» (ср.: Стоглав. С.278).

Требуя соблюдать благочиние в церкви, собор взывал к примеру почитания земного царя: «аще кто с земным царем беседует, то со страхом и трепетом предстоит и всем сердцем и умом внемлет от царя глаголемая и не смеет зрети семо и овамо, аще ли остав царя, учнет клевретом своим беседовати, каково негодование от царя на себя привлечет... и от лица царева изгнан будет таковый» (Стоглав. С.286).

Однако призыв к церковному благочинию плохо подкреплялся практикой. «Попы... в церквах бьются и дерутся промеж себе,» – сетовал царь, задавая вопросы членам Освященного собора 1551 г. (Стоглав. С.273). Им под стать были и прихожане.

Соборное постановление гласило, чтобы «не сквернословили и пияни бы в церков и во святой олтарь не входили, до кровопролития не билися» (Стоглав. С.292-293)[15].

Богатые и влиятельные бояре ходили в церковь с посохами, служившими внешним признаком их высокого положения, стояли на богослужении в высоких горлатных шапках, некоторые осмеливались находиться в церкви даже в «тафьях» – тюбетейках, восточном головном уборе. Все эти обычаи, как свидетельство «бесстрашия, явившегося в людях», стали предметом обсуждения Стоглава (Стоглав. С.273). В этом увидели и признаки влияния «поганских обычаев», и проявление тщеславия, заставлявшего носить наряды, годящиеся на «торжище» или «позорище».

При выходе из церкви толпа встречала не только обычных нищих, но и чернецов и черниц, попов и мирян, которые «по миру скитаются» «со святыми иконами». Бродячие по миру «называются проданые и милостыни просят по торгу и по улицам». Однако милостыня эта особого рода – все они просили жертвовать на сооружение новых храмов и на выкуп полоняников. Вопрос 13 (первой серии) завершался констатацией: «Иностранцы ся тому дивят» (Стоглав. С.271., ср. С. 351-352). Действительно, было чему удивляться. Ведь в столице наряду с обычным торгом можно было наблюдать более чем экзотические для западного иностранца сцены продажи и самопродажи людей. На торг хозяева выводили холопов и особенно холопок, от которых хотели избавиться[16]. Любой желающий, в том числе и иностранец, невозбранно и дешево мог купить русскую красавицу, подростка или девушку. За 40 лет до описываемых событий – в 1518 г., этим старательно занимался имперский посол Франческо да Колло и члены его свиты, что он с видимым удовольствием отметил в своих записках о путешествии в Москву[17]. Продавали не только холопов и холопок. Продавали и русских пленных и пленниц из окраинных районов государства и уведенных в Крым, Казань, Астрахань Кафу и даже в Царьград (Стамбул). Часть их там выкупали русские послы, часть – иностранные купцы – греки, турки, армяне и другие и привозили в Москву. Если здесь не оказывалось желающих выкупить бояр и боярынь, которые вряд ли с проком могли быть употреблены в хозяйстве, то их увозили снова. Увозили и тех, кто вышли из плена сами в долг, но не смогли найти денег для погашения выкупной суммы. Об этом чудовищном обычае вопрос 10 (из первой серии), обращенной к собору, гласил: «...пленных привозят на окуп из орд: бояр и боярынь и всяких людей. А иные сами выходят, должни и

беспоместны, и здесь окупитися нечим, а никто не окупит. И тех полонеников, мужей и жен, опять возят назад в бесерменство» (Стоглав. С.270).

Этому обычаю Стоглав надеялся положить конец: «А которых пленных приводят православных христиан, окупив, греки и турчане, и армени, и иные гости, да, быв на Москве, восхотят их с собою опять повести, ино их не давати... окупати из царевы казны... и то роскинути на сохи по всеи земли, чей кто ни буди, всем ровно, занеже таковое искупление общая милостыня нарицается» (Стоглав. С.350). Однако, как показали следующие события, царь не был тароват: своему прежнему любимцу Василию Грязному, объявившему в Крыму, что он великий человек, почему с него запросили огромный выкуп, Иван IV отправил не деньги, но ядовитое, полное сарказма письмо, доказывая, что он, как рачительный хозяин, не должен «разорить кристьянство, что неподобною мерою зделать»[18]. Тираны вообще недолюбливают подданных, попавших в плен...

Но вернемся на улицы и площади Москвы. Здесь было много торгов. Великий торг раскинулся у стен Кремля. Именно здесь, должно быть, выменивали иконы, спрос на которые резко возрос после пожара 1547 г. Не только кремлевские соборы нуждались в пополнении икон, но и рядовые приходские храмы – все эти св. Флор в Мясниках, св. Илья и Илья под Сосенками, св. Владимир, Кузьма и Демьян и многие другие, ставшие жертвой июньского пожара 1547 г. Вероятно, в связи с этим собор просил «говорити государю о иконописцех, чтобы на Москве и по всем градом немастерское письмо в рядех иконы собирати и допытыватися тех иконописцев и впредь им не велети икон писати, донделе не научатся у добрых мастеров». Считая, что «немастерское письмо» наносило ущерб правоверию, Стоглав предусматривал жестокие кары за нарушения этого запрета. «Аще которые не престанут от такового дела, таковые царскою грозою накажутся» (Стоглав. С.375).

Нужда в книгах, которых и раньше не хватало в связи с основанием новых церквей, но особенно обостренная в Москве после пожара, также удовлетворялась усилиями самодеятельных писцов, бравших за образец, вероятно, не очень точные рукописи. Собор запретил продавать такие книги «без исправленья». В случае же нарушения этого запрета торговцы должны были лишаться книг в пользу тех церквей, «которые будут книгами скудны» (Стоглав. С.315).

Наряду с Великим торгом рядом с ним существовал и другой – на Ильинской улице. Ильинский крестец был знаменит еще

одним весьма своеобразным рынком – рынком священнослужителей. Поскольку церковный суд осуществлялся в Москве, многим священникам из-за обычной волокиты приходилось проводить в столице весьма долгое время. Иноки и священники, жившие временно «на Москве сходятся на крестец в торгу на Ильинской улице да наймауются у московских священников по многим святым церквам обедни служити, да о том митрополичю тиуну являются и знамя у него емлют и пошлину ему от того дают на месяц по десети денег, овии же по два алтына (эта «искони вечная тиунская пошлина» так и называлась крестец). А которые, не доложа тиуна, начнут служити, и он на них емлет промыты по 2 рубля» (Стоглав. С.348).

Наем священников на этом рынке происходил после тщательного контроля документов. Прихожие священники должны были иметь при себе «ставленые, отпустные и благословенные грамоты», т.е. документы, подтверждающие их право совершать богослужение, законность их пребывания в столице и разрешение местного начальства на продолжение деятельности в другом месте. Поповские старосты проводили тщательную экспертизу этих документов. Их отсутствие лишало священника права подработать в столице, даже в том случае, если он прибыл сюда «за своими делы», а не «за поруками в духовных делех» или «за приставом по кабалам и по срочным в боех и в грабежех», т.е. в качестве подследственного лица (Стоглав. С.348). Таким образом, хотя судебник еще в 1550 г. продекламировал свободу передвижения священников («А попу пожилова нет, и ходити ему вон безсрочно»)[19], их деятельность в Москве регламентировалась митрополичьей администрацией.

Вышеизложенным ограничиваются сведения, которые можно извлечь из царских вопросов Освященному собору и его ответов относительно разных видов торгов и торговли – рынка пленных и священнослужителей, продажи икон и рукописных церковнослужебных книг.

Немногое узнаем мы относительно внешнего вида города. После пожара немного изменился стиль крестов, которыми завершались купола московских храмов. Успенский собор украсился «новопозлащенным верхом», привлекшим внимание отнюдь не московских иерархов. «Воздвизальный крест, им же благословляют», по-видимому, был стандартной формы. Однако купола других московских храмов украсились особого рода фигурными крестами: «На тех крестех приделывают кузнецы меншие кресты по два и по три вместе, и те меньшие кресты бурею и сильным ветром почасту ломает» (Стоглав. С. 304-305). Собор

выступил против такой практики, но не потому, что это было нарушением традиций, а из чисто прагматических соображений сохранности крестов.

Несколько больше сведений относительно внешнего вида самих горожан. Одежда московских жителей, как и вообще всего населения страны, была маркировкой их социального положения. "Ино одеяние воину, ино од-тысящнику[20], ино-пятьдесят-нику[21], ино одеяние купцу и ино златарю, ино железному ковачю" (Стоглав. С.366). Впрочем, были многие нарушители принципа: по одежде "познавается кой ждо, кто есть коего чина" (Стоглав. С.366). Можно было увидеть причетницу, одетую по последней моде, и причетника в воинском одеянии. Светские же модницы ходили в торлопах (верхней женской одежде на меху), украшенных золотым и бисерным шитьем и драгоценными камнями (Стоглав. С. 366). Сам царь в 1570 г. нарядился в сермягу, бусырь и баранью шубу, чтобы доказать крымским послам свою неплатежеспособность[22].

К середине XVI в. традиционные наряды стали часто соседствовать с "платьем и одежей иноверных земель". По-видимому, москвичи в тафьях (тюбетейках), этом, по определению Стоглава, "безбожного Махмеда предании", отнюдь не считали, что "чюже есть православным таковая носити" (Стоглав. С.301). Если в одежде, как можно полагать, преобладали восточные влияния, то в оформлении и новом облике лица слились и восточные, и западные. Привычные бородатые лица, по греческому образцу их растили с 30 лет[23], длина же бороды была показателем не только возраста, но и социального положения[24]. Русская церковь с конца XV – начала XVI вв., неправильно ссылаясь на 11 правило Трулльского собора, была крайне непримирима к мужчинам, брившим бороду[25]: "над бритой бородой не отпевать, ни сорокоустия по нем не пети... с неверным да причтется, от еретик бо сего навыкоша" (Стоглав.С.302). Во время последнего похода на Казань митрополит Макарий давал наставление воинству, чтобы оно береглось от неблагочестивого поведения: "бороды брити или обсекати или усы подстригати"[26].

Наряду со сторонниками иностранной моды существовали и другие далекие предшественники современных хиппи. Это были "молодые строи которые волосаты ходят по миру... се есть не Бога ради скитаются – свою волю деют, а мир соблажняют" (Стоглав. С.376). Хранители православного предания и жесткого единообразия жизни и быта выступали и против таких. Регламентированию подвергался и состав еды. Как и в XIII в., церковь запрещала употребление в пищу удавленины (это было зафик-

сировано 33 и 67 правилами VI Вселенского собора)[27] и колбас (Стоглав. С.367). На борьбу за правильный образ питания Стоглав призвал и светскую власть: "царю велети по всем градом свою царскую заповедь послати и по торгом многажды кликати, чтобы удавленых тетеревей и утиц и зайцов не возили, и православные бы хрестьяне удавленины... не покупали" (Там же).

В отношении же вин Стоглав был много либеральнее. Фряжские вина допускались свободно, даже в монастырях (да "в славу Божию испивают"). Равным образом разрешались и бесконечные разнообразные сорта кваса: старые и черствые, выкислые и сладкие, житные и сыченые, простые и медвеные. Почти так же разнообразны были сорта пива и медов. Запрещалось лишь употребление "горячего вина" (Стоглав. С. 322, 327-329 и др.). Однако именно оно и привлекало горожан в многочисленные корчмы, не помогала и царская заповедь, чтобы "дети боярские и люди боярские... по корчмам не пили" (Стоглав. С. 308). Корчмы были обычным местом азартных игр, прежде всего, в зернь[28], в которую играли и "дети боярские, и люди боярские и всякие бражники" (Там же)... Посещали корчмы и священники, которые "слушали игры" (Стоглав. С.297). Пристрастие к азартным играм понять можно. Ведь почти все светские развлечения были под запретом церкви, согласно 50 и 51 правилам VI собора. Особую ненависть вызывали скоморохи, которые "со всеми играми бесовскими рыщут" (Стоглав. С. 301). И Стоглав, продолжая многовековую традицию борьбы с народным искусством[29], занес такой запрет: "Неподобных одеяний и песней плясцов и скомрахов и всякого козлогласования и баснословия их не творити" (Стоглав. С.370). Запрещал он и содержать животных и дрессировать их: "кормящей и хрянящей медведи или иная некая животная на глумление и прелщение простейших человек" (Стоглав. С.369). Стоглав предусматривал отлучение от церкви "мирских человек христиан", "аще кто от них играет или плясание творит или шпилманит, рекше глумы деет и на видение человеки собирает и ловитвам прилежит" (Стоглав. С.367). Однако в каждой городской толпе зевак, собравшихся вокруг скоморохов, можно было увидеть и священников, которые "учнут глумиться мирскими кощунами", хотя "всякие игры и глумы, и позорища" не только священнослужителем, но и "всем причетником отречено есть" (Стоглав. С.367). Именно скоморохи и глупцы возглавляли свадебный поезд в церковь, священник с крестом следовал за ними. Они же были главными артистами – глумотворцы, арганники, смехотворцы, гусельники "на мирских свадьбах", где к "бесовским" (читай – народным) песням прислушивались жених с невестой (не моложе 15 и 12 лет).

Летние религиозные праздники сочетались с давними языческими традициями: "В первый понедельник Петровского поста в рощи ходят и в Наливки бесовские потехи деяти". Места легко узнаваемы, правда, от рощ осталась лишь Марьина роща, а Наливки превратились в Спасо-Наливкинский переулок между Якиманкой и Полянкой со вторым в Москве казенным кабаком[30].

В целом Стоглав, единственный из памятников середины XVI в., вводит его читателя в реальную атмосферу Москвы. Столица, переполненная бесприютными строями и слоняющимися без дела священниками, боярами и детьми боярскими, которые то демонстрируют свое богатство в церкви, то проигрывают его в зернь, легко подхватывающими моду западных и восточных стилей, охотно прислушиваются к скоморохам и шпильманам, была благодатным полем для морализаторски-нравоучительной деятельности церкви. Последняя занимала консервативную позицию круговой обороны и борьбы с языческими, католическими и мусульманскими традициями. Под свои старания о сохранении "отчиннай", "своего обычая" Стоглав подвел и базу: "Мы же православнии закон истинный от Бога приемше, розных стран безакония осквернихомся, обычая злая от них приимше, тем же от тех стран томимы есмя и расточаями виною нашея похоти и обычая, и сего ради казнит нас Бог за таковая преступления" (Стоглав. С.301).

---

[1] Относительно даты собора в пределах 1551 г. мнения историков расходятся. Их обзор см. Семидеркин Н.С., Новицкая Т.Е. Российское законодательство X-XX веков. Т.2. М., 1985. С. 242-243, 403. Здесь же текст памятника (С.253-379).

[2] Нечаев В.В. Уличная жизнь в Москве XVI-XVII вв.// Москва в ее прошлом и настоящем. Вып.3. М., б./г. С.56-804 Снегирев В.Л. Московские слободы. М. 1956; Леонтьев А.К.Нравы и обычаи// Очерки русской культуры XVI в. Ч. II. М., 1977. С.33-75; Сахаров А.М. Религия и церковь// Там же. С. 76-111.

[3] Стоглав/ Изд. Д.Е.Кожанчиков. СПб., 1863, С. 12.

[4] Обычно это событие связывают со стоянием на Угре 1480 г., однако последний раз Русь платила дань Большой Орде в 1502 г.

[5] Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). T.XIII. М., Л., 1965. С. 102, 104, 178, 426.

[6] Лебедев Н. Стоглавый собор 1551 г. Опыт изложения его внутренней истории. М., 1882. Вып. 1. С.6.

[7] За исключением языческих, конечно. Ср.: Черепанова О.А. Наблюдения над лексикой Стоглава. Лексика, связанная с понятиями духовной и культурной жизни // Русская историческая лексикология и лексикография. Л., 1983. Вып.3. С. 17-25.

[8] На это в свое время уже обратил внимание Д.Стефанович (Стефанович Д. О Стоглаве. СПб., 1909. С.)

[9] Там же. С. 265.

[10] Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. Т.2. С.372. (Далее ссылки на Стоглав даются по этому изданию в самом тексте). Стоглав. Казань, 1862. С.183.

[11] Каменцева Е.И. Русская хронология. М., 1960. С.54-55. Ср.: Стефанов Д. Указ. соч. С.211.

[12] ПСРЛ. Т.34. М., 1978. С.188

[13] В Чудове монастыре в Кремле вскоре после Стоглава было установлено начинать обедни в это же время. Акты, собранные Археографическою комиссиею. СПб., 1836. Т.I. № 232.

[14] Стоглав. Казань, 1862. С.82.

[15] См. подробнее: /Добротворский И.М./ О недостатках русского народа по изображению Стоглава (XVI в.) // Православный собеседник. 1865. Ч. 2. С.139-140; Леонтьев А.К. Указ. соч. С.55; Сахаров А.М. Указ. соч. С.104, 108

[16] /Добротворский И.М./ Указ. соч. С.146.

[17] Collo, Francesco, da. Trattamento di pace tra il serenissimo Sigismondo, re di Polonia et Gran Basilio, prencipe di Moscovia. Padua, 1603

[18] Послания Ивана Грозного. М., Л., 1951. С.193-194

[19] Судебники XV-XVI веков. М., Л., 1952. С.173.

[20] Тысячник – член избранной тысячи, особо приближенного к царю войска, испомещенного в пределах Подмосковья в1550 г. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.

[21] Пятидесятник – глава мелкого воинского подразделения.

[22] Эта эскапада была предпринята царем после успешного набега крымцев на Москву, после которого они требовали с Ивана IV огромной дани (ПСРЛ. Т.34. С.191).

[23] Беляев И.В. Наказные списки Соборного уложения 1551 г. или Стоглава. М., 1863. С.52-53.

[24] См. миниатюры Лицевого летописного свода XVI в. Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944.

[25] Запрет брить бороду был занесен в Сводную кормчую этого времени (Беляев И.В. Наказные списки. С.57; Стефанович Д. Указ. соч. С.242-243).

[26] ПСРЛ. Т. XIII. С.482.

[27] Стефанович Д. Указ. соч. С.264.

[28] Бахрушин С.В. Зернь // Бахрушин С.В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М., 1987. С.118-140.

[29] Зимин А.А. Скоморохи в памятниках публицистики и народного творчества XVI в. // Из истории русских литературных отношений XVIII-XX веков. М., Л., 1959. С.337-343.

[30] Лебедев Н. Стоглавый собор 1551 г. Опыт изложения его внутренней истории. М., 1882. Вып.1. С.103.

В.А. Евсеев

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ АНГЛИЙСКИХ ГОРОЖАН В ЭПОХУ РАННИХ ТЮДОРОВ

(рабочий день и досуг на примере Ковентри)

Жизнь разнообразна в своих проявлениях. Наряду с эпохальными событиями в истории людей – революциями, переворотами в науке и технике, открытиями новых земель и войнами – всегда существовало то, что мы называем повседневностью. Люди пили, ели, одевались, работали, отдыхали. Без быта и нравов нет полной картины прошлого. Невозможно понять историю народа, не зная быта и социально-этических норм отдельных его категорий. Именно поэтому изучение быта и нравов в различные эпохи помогает исследователям глубже понять общие закономерности развития общества в тот или иной период.

Проблема быта и нравов привлекала внимание различных исследователей в отечественной и зарубежной историографии еще с конца XIX в.[1] Следует отметить, что в последнее время возрос интерес к этой теме[2]. В ряде работ затрагивались вопросы быта и нравов средневековой Англии[3]. Однако в данной статье их не стоит специально рассматривать. В нашем очерке мы обратимся лишь к одному из аспектов повседневной жизни – описанию рабочего дня и отдыха английских горожан в конце XV – начале XVI в. на примере крупного провинциального города – Ковентри.

Ежедневный и еженедельный ритм является сердцевиной городской жизни. Для жителей английских городов рубежа XV-XVI вв. он отличался от современного. В эту эпоху необходимое искусственное освещение люди могли получить только от факелов и свечей. Поэтому продолжительность рабочего дня в основном зависела от количества часов, составляющих светлое время суток. Однако долгота дня колебалась в зависимости от времени года.

Еще в начале XV в. в Ковентри год искусственно делили на зимний период с 1 ноября до 2 февраля, когда в городе часто проводились различные празднества, и на остальные девять

месяцев[4]. Однако такой порядок чем-то мешал горожанам и они расширили осенне-зимний период с дня св. Михаила (28 сентября) до подвижного праздника Пасхи[5]. Пока неясно насколько быстро и до какой степени шло изменение продолжительности дня в зависимости от сезонов, когда на городских церквах добавляли часы[6].

Обычно горожане Ковентри просыпались рано, когда заканчивали петь во славу Христа группы верующих, шествующих по разным частям города с 2 часов ночи до 4 утра. В это время дьяконы звонили в утренний колокол в обоих приходских церквах Ковентри[7]. Со звоном этого колокола ночная стража сходила со стен, открывались городские ворота и отпирались каналы[8]. Немного спустя большинство жителей покидало их постели. В 5 часов утра безработные строители (плотники, кровельщики, каменщики) и их подручные со своими инструментом появлялись на перекрестках в центре города в надежде найти работу[9]. В начале XVI в. подмастерья шляпников так же должны были начинать работу в домах их мастеров в 5 часов утра[10]. К этому времени большинство взрослого мужского населения выходило на улицу, а собаки, которых спускали на ночь, должны быть загнаны домой, но зимой их привязывали в 7 часов утра[11].

Зимой рабочий день ремесленников начинался после 6 часов утра, а для более высших слоев городского общества это было, возможно, обычное начало дня в течение всего года. Начало работ ограничивал и тот факт, что городские ворота открывались только в 5 часов утра и жители предместий имели некоторый запас времени, чтобы добраться до места их работы[12]. Кроме того, запрет игры в кегли до 6 часов утра в одном из предместий городскими властями[13] – это косвенное доказательство того, что это было для прочих обычным временем начала работы. Для мэра же день начинался в 7 часов утра, когда он шел со свитой в церковь[14].

В связи с ранним началом рабочий день в средневековье продолжался 12-14 часов. Однако согласно статуту парламента от 1495 г.[15] работа прерывалась для приема пищи, которая для многих работников предоставлялась их мастерами. В течение большей части года разрешались перерывы: полчаса на завтрак, один час на обед и полчаса на полдник. Только с середины мая и до середины августа разрешалась сиеста, т.е. обед удлинялся до полутора часов, т.к. был достаточно широко распространен обычай послеобеденного сна в течение всего года. Тем не менее рабочий день был длинным. Летом и зимой подмастерья шляпников в Ковентри работали до 7 часов вечера, хотя

эти часы не всегда соблюдались[16]. Другие ремесленники могли заканчивать работу на час раньше, как те же шляпники делали это в 1496 г.[17] Кроме того следует отметить, что зимой в 7 часов вечера, а летом в 8 часов разрешалось выпускать собак, ибо к этому времени большинство людей возвращались домой[18]. Соответственно и жители окраин к этому часу выходили через крепостные ворота.

В 8 вечера звонил вечерний колокол и служки запирали двери обеих приходских церквей[19]. Обычно в 9 часов вечера собиралась ночная стража, закрывались каналы и городские ворота[20]. С темнотой зажигали фонари над дверями гостиниц и дверями наиболее зажиточных домовладельцев, но в лунные ночи зимой их гасили[21]. Единственная разрешенная деятельность, кроме ночной стражи и групп славящих Христа – это удаление зловонной воды из рыбных садков[22].

Таков был усредненный облик городских суток, которые должны были составлять обычный еженедельный ритм. Этот порядок был обусловлен больше потребностями в обеспечении города продовольствием, чем спросом на промышленные товары, т.к. ежедневно был рынок какого-либо вида продовольствия.

В понедельник торговали зерном, а во вторник продавали мясо и шкуры. В среду зерно покупали пекари графства и города Уорвика[23]. Середина недели была также важным днем для городского совета, ибо в среду мэр и олдермены обычно принимали и отправляли петиции. В четверг снова был мясной рынок[24]. Пятница и суббота были кульминацией рабочей недели. Главный рыночный день приходился на субботу[25]. В пятницу мэр шествовал на мессу в церковь св. Михаила, а в 9 часов утра он должен был осматривать рыбу, выложенную для продажи на рынке, ибо пятница была рыбным днем[26]. В пятницу, по всей видимости, был и самый важный зерновой рынок на неделе, ибо Ковентри снова посещали пекари из Уорвика и других местечек графства[27]. Возможно из-за большого наплыва посетителей и давки на рынке города был запрещен проезд по улицам повозок, перевозящих плетни, лес, древесный и каменный уголь. Эти грузы предписывалось привозить в предыдущий день[28]. В пятницу также устраивался огромный закрытый суконный рынок, который был единственным местом крупной продажи шерстяных тканей[29]. Вечером того же дня жители Кросс Чапинг – главной открытой рыночной площади города – должны были собрать навоз и мусор, оставленный посетителями в течение дня и вывезти его в субботу[30].

В то же время мясники готовились к своему рынку в субботу. Возможно, убой скота и его обработка происходили в четверг и пятницу. В эти же дни, наверное, устраивалась и травля быков собаками, т.к. полагали, что это улучшает качество мяса, а в Ковентри это было обязательной процедурой[31]. Утром в субботу продавали шкуры[32]. Субботний рынок для мяса и рыбы открывали в 7 часов утра, а хлебом и зерном начинали торговать на 2 часа позднее[33]. Горожане Ковентри имели право предпочтительной продажи, от трех до семи часов в день, а затем разрешалась торговля и приезжим[34]. Торговля морской рыбой прекращалась к 2 часам дня и к этому времени сточные канавы, где была рыба, должны быть вычищены. Торговцы же лоскутом кожи закрывали лавки до 4 часов дня[35]. Вскоре после этого рынок прекращал работу.

Однако для большинства ремесленников, кто не касался рынка, суббота была еще рабочим днем. Кровельщики и изготовители кард оставались на работе еще 7-8 часов после полудня, но накануне церковных праздников работа запрещалась[36]. Звон полуденного колокола в субботу или перед каким-либо религиозным событием означал прекращение работы. Например, шляпникам было запрещено работать после 3 часов дня в субботу и все воскресенье[37]. Однако были и другие примеры. Подмастерья ткачей получали свой недельный заработок только в субботу вечером, т.е. это означало, что они и их мастера нормально трудились полный рабочий день[38].

В субботу действительно производилась большая часть выплат, в том числе и городским чиновникам[39]. Таким образом, суббота была единственным днем в неделе, когда работники могли получить деньги, а после ужина и небольшого отдыха имели возможность посетить местную пивную. И, наконец, в субботу улицы перед каждым домовладением должны быть выметены до осмотра их городским чиновником в воскресенье и понедельник[40].

Для ремесленников воскресенье было основным днем отдыха, хотя шляпникам было позволено валять шляпы после обеда в этот день[41]. Некоторые подмастерья, не получившие свою зарплату в субботу, ждали денег до понедельника. Те же, кто получил свою зарплату заполняли городские таверны и пивные.

Вместе с тем надо иметь в виду, что в дни отдыха посещались не только пивные. Без сомнения, многие гильдии, как к примеру дрейперы, посещали всем составом цеха, включая учеников, церковные службы. Конечно и городские власти отмечали этот день с достоинством. Мэр в воскресенье шествовал к

заутрене и вечерне, а олдермены при этом надевали их красные мантии[42].

Однако не все отдыхали в воскресенье. В 1493 г. городские властиКовентри постановляют, что ни торговец, ни любой ремесленник не могут открыть их лавки или торговать чем-либо в воскресенье во время обедни[43]. Этот указ ясно показывает, что торговля продолжалась и в выходные дни. Конечно, отдельные виды деятельности были разрешены. Кузнецам вменялось в обязанность подковывать лошадей приезжих, а цирюльники в то же время могли брить, но только по лицензии, полученной от мэра[44]. Тем не менее для большинства населения воскресенье было единственным днем в неделе, в течение которого можно было действительно отдохнуть. Летом в дни отдыха многие горожане Ковентри устраивали различные развлечения в миле от города на общинных полях[45].

Таков был недельный ритм жизни горожан, включая воскресенье, предназначенное для отдыха. Досуг тоже являлся важной частью повседневной жизни. Джон Стоу – известный английский антиквар Тюдоровской эпохи в своем труде "Описание Лондона" написал специальный раздел, посвященный различным играм и увеселениям[46]. Он, в частности, отмечает, что в столице имелись площадки для игр и увеселений. Они были в основном на окраинах, но некоторые располагались и в самом городе[47]. Подобная ситуация была и в Ковентри, когда места для отдыха располагались за городом[48].

Развлечения горожан на рубеже XV-XVI вв. были самыми разнообразными. Естественно, что досуг каждый проводил посвоему, в зависимости от интересов, которые в значительной степени определялись полом, возрастом, имущественными, социальными, образовательными и иными факторами.

Молодые горожане (подмастерья, ученики и др.) на открытых площадках за городом играли в мяч, кегли, крикет, состязались в прыжках, стрельбе из лука, борьбе, бросании камней, сражались на пиках, танцевали. В танцах принимали участие и девушки. Обычно такие развлечения устраивались летом[49]. Зимой был иной набор состязаний – на льду, когда одни соревновались в беге или шагали, кто шире и быстрее, другие быстро скользили. Третьи делали изо льда скамейки, садились на них и тащили в противоположные стороны, кто быстрее упадет. Существовал тогда и прообраз керлинга – метания по гладкому льду тяжелых полированных камней[50]. Кроме того зимой существовала еще одна забава, но более кровавого толка. Борова, откормленного к забою, запускали в загон и натравливали на него собак[51]. В Ко-

вентри такое развлечение существовало круглый год, когда раз в неделю перед забоем скота (по пятницам или четвергам) устраивалась травля быков английскими догами[52].

В развлечениях имелись различия и возрастного характера. У горожан более солидного возраста были свои способы проведения досуга. В первую очередь это были различные календарные праздники - зимние (Рождество), весенние (начало великого поста). На них устраивались различные состязания, например, бег женщин с горячими блинами на сковородках. В майские (весенние) праздники горожане приносили Райское дерево (березу), наряжали его и танцевали вокруг в течение всего дня. С утра до вечера здесь были шуточные народные танцы, а вечером смотрели пьесу самодеятельного театра на тему легенд о Робин Гуде или жгли костры на улицах[53]. Подготавливали эти праздники городские власти вместе с ремесленными, гильдиями[54].

Кроме календарных праздников, существовали общегородские шествия, связанные с различными событиями городской жизни (выборы мэра и т.п.). Все городские гильдии располагались на этих шествиях в строго определенном порядке, который отражал их имущественное и социальное положение. Первые места в Лондоне занимали ведущие гильдии, относящиеся к 12 большим ливрейным компаниям[55]. На эти празднества горожане должны были одевать определенного типа одежду (ливрею), которая была у каждой гильдии своя[56].

Наряду с гражданскими шествиями существовали многочисленные религиозные праздники, которые также имели строгий порядок и регламентацию. В Ковентри, например, все гильдии города ежегодно отмечали праздник Тела Господня. В нем участвовали все мастера и подмастерья[57]. Порядок марша на этом празднике основывался не на системе превосходства в экономическом отношении, как в Лондоне, а на принципе вклада каждой гильдии в городские дела. Открывали шествие младшие цехи, среди которых были и торговцы продовольствием, несмотря на их богатство, а в конце шли текстильщики и суконделы, от которых зависело процветание города[58]. Такие ритуальные праздники делили год в Ковентри на две части, подобно сезонным колебаниям (осенне-зимний и весенне-летний циклы). В одном случае городской год в Ковентри начинался 2 февраля со вступления мэра в должность, и в нем выделялся зимний период с 1 ноября по 2 Февраля[59]. Другое ритуальное деление года было на две равных половины: с 24-25 декабря (Рождества) до 24 июня (Иванова дня), что совпадало с христианской

и древней языческой практикой[60]. На первую половину года падало большинство религиозных праздников, а вторая половина была временем насыщенной трудовой жизни. Такое разделение было связано с сезонностью аграрных работ, т.е. даже такие города типа Ковентри еще зависели от сельскохозяйственных ритмов. Церемониальная активность в ритуальной половине года достигала пика с 21 мая до 24 июня, т.е. с праздника Тела Господня до Иванова дня и дня св. Петра[61].

Церемонии в Ковентри различались по месту проведения своих шествий. Первый ритуальный центр находился в огромных дворах двух приходских церквей, кафедральном соборе и ратуше, где отмечали Пасху и инаугурацию мэра[62]. Второй центр по проведению ритуалов находился в часовнях, которые принадлежали религиозным и ремесленным гильдиям Ковентри. Во время проведения этих церемоний шествия двигались из центра города к окраинам.

Наше внимание к этим ритуалам вполне оправданно, т.к. они были включены в повседневную жизнь горожан. Тем более, что в этих церемониях принимали участие, как отмечалось ранее, все члены ремесленных гильдий, от мастеров до учеников, т.е. большинство взрослого мужского населения. Однако исследователи отмечают, что 20-25% домовладельцев Ковентри не были включены в состав гильдий и поэтому не могли участвовать в церемониях[63].

Вместе с тем следует отметить, что после Реформации основные церковные праздники исчезают или трансформируются, т.к. прекращают существование религиозные гильдии Ковентри Тела Господня и Святой Троицы[64]. В результате этого сдвига ритуальная половина года стала мало отличаться от второго полугодия и перестала быть отдельной частью для церкви и общества. Сохранились лишь праздники на открытом воздухе, связанные с ежегодной инаугурацией мэра и Ярмарочной пятницей. Таким образом, религиозные церемонии и народные обряды пали жертвой нового секуляризированного порядка.

---

[1] Булгакова Е. Из жизни средневекового ремесленника. М., 1902; Вейс Г. Внешний быт народов с древнейшего времени и до наших времен. Т.1-3. М., 1877; Готтерот Ф. История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия древних и новых времен. Т.1-2. СПб., 1911. Иванов К.А. Средневековый город и его обители. СПб., 1895; Он же. Средневековый монастырь и его обитатели. СПб., 1902; Он же. Средневековый замок и его обитатели. СПб., 1907.

[2] Биск И.Я. История повседневной жизни в Веймарской республике. Иваново, 1990; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.1. М., 1986; Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.,1972; Он же. Проблемы средневековой народной культуры. М.,1981; Он же. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989; Даркевич В.П. Народная культура средневековья. М.,1988; Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск,1989; Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII вв.: эпоха, быт, костюм. М., 1978.

[3] Тревельян Дж. Социальная история Англии. М., 1959; Штокмар В.В. Очерки истории Англии XVI в. Л., 1957; Moss P.T. Town life through the ages. M., 1987.

[4] The Coventry Leet Book or Mayor's Register Containing of the City Leet or View of Frankledge A.D. 1420-1555 with Divers other Matters. L., 1907-1913. (L.B.) P. 43, 777.

[5] Ibid. P.21, 673.

[6] Ibid. P.335, 388.

[7] Ibid. P. 338.

[8] Ibid. P. 253, 254.

[9] Ibid. P. 807.

[10] Ibid. P. 574, 673.

[11] Ibid. P. 623.

[12] Ibid. P. 669.

[13] Ibid. P. 656.

[14] Ibid. P. 662.

[15] Statutes of the Realm of England. L., 1810-1828. Vols. 1-11. HY11. Cap. 22

[16] L.B. P. 673, 693.

[17] Ibid. P. 574.

[18] Ibid. P. 623.

[19] Ibid. P. 338.

[20] Ibid. P. 208, 253, 254, 256.

[21] Ibid. P. 234, 777.

[22] Ibid. P. 632.

[23] Ibid. P. 223, 717, 780.

[24] Ibid. P. 26, 71, 571, 585, 599, 653, 780.

[25] Ibid. P. 29, 624, 654, 665.

[26] Ibid. P. 29, 646, 662.

[27] Ibid. P. 223, 717, 799.

[28] Ibid. P. 28, 739.

[29] Ibid. P. 100, 114.

[30] Ibid. P. 624.

[31] Ibid. P. 58.

[32] Ibid. P. 694, 715.

[33] Ibid. P. 665, 666.

[34] Ibid. P. 666.

[35] Ibid. P. 555, 651, 680.
[36] Phyhian-Adams Ch. Desolation of a city. Coventry and the urban crisis of the Late Middle Ages. L. N-Y. 1979. P.78.
[37] L.B. P. 640.
[38] Phyhian-Adams Ch. Desolation of a city. P.78.
[39] L.B. P. 662, 623.
[40] Ibid. P. 23, 30, 587.
[41] Ibid. P. 640.
[42] Ibid. P. 662.
[43] Ibid. P. 547.
[44] Ibid. P. 185, 226.
[45] Ibid. P. 508.
[46] Stow J. Survey of London. L., 1956. P. 73-82, 84-91.
[47] Ibid. P. 84.
[48] L.B. P. 508.
[49] Stow J. Op. cit. p.85; Даркевич В.П. Народная культура средневековья. М., 1988. С.137.
[50] Stow J. Op. cit. P. 86.
[51] Ibid. P. 85.
[52] L.B. P. 58.
[53] Даркевич В.П. Указ. соч. С. 123.
[54] Stow J. Op. cit. P. 91.
[55] Более подробно о них см.: Штокмар В.В. Указ. соч. С.52-59.
[56] Stow J. Op. cit. P. 479-480.
[57] L.B. P. 224, 417, 556, 558, 560, 650.
[58] Ibid. P. 220, 553.
[59] Ibid. P. 43, 777.
[60] Phythian-Adams Ch. Ceremony and the citizens. The communal year at Coventry 1450-1550.//Crisis and order in English towns 1500-1700. Toronto, 1972. P. 70-71.
[61] L.B. P. 299, 300, 588, 589.
[62] Ibid. P. 264, 299, 460, 461, 588.
[63] Phyhian-Adams Ch. Desolation of a city. P. 131.
[64] L.B. P. 722, 723, 791.

И.Г.ВОРОБЬЕВА

ИНТЕРЬЕР ГОРОДСКОГО ДОМА В ДАЛМАЦИИ XVI-XVII ВВ.

В моем сообщении речь пойдет о внутреннем убранстве домов далматинцев, то есть жителей прибрежных земель Восточной Адриатики, находившихся с начала XV века под управлением Венецианской республики. В городских архивах Далмации сохранились описи недвижимости отдельных лиц, составленные в процессе судебного разбирательства при выяснении наследников. Таких описей-инвентарей немного, но и численность городского населения была невелика. Еще в начале 1960-х гг. хорватская исследовательница Даница Божич-Бужанчич обратила внимание на инвентари при разборе старого архива Сплита и опубликовала некоторые из них[1]. Её коллеги продолжили архивные разыскания, появились новые публикации, позволяющие восстановить облик внутреннего убранства домов нобилей и простолюдинов в далматинских городах[2]. Архивный материал оказался важным свидетельством по этой теме, так как этнографические коллекции не сохранились, иконографические источники крайне скудны.

Работа с опубликованными инвентарями не сложна, но требует постоянной сверки с толковыми словарями итальянского языка и его венецианского диалекта. Такая методика позволила Божич-Бужанчич довольно полно воссоздать несколько типов интерьера домов в Сплите. Её работы знакомы хорватским историкам, но почти неизвестны в России. Информативность источников, то есть самих инвентарей, заставила меня провести самостоятельный анализ материала, дать функциональную группировку предметов внутри интерьера, результаты чего я вам и представляю.

Город Сплит, имевший в XVI веке всего 3-3,5 тыс. жителей, возник еще в первые века новой эры в удобной гавани. В конце XVI в. венецианцы построили здесь новый порт, – с постоялыми дворами, складами, карантином. Затратив 9 тыс. дукатов, они стали получать доход до 200 тыс.дукатов в год[3]. Торговый обмен Венеции с боснийскими землями, завоеванными турками,

прерванный многочисленными войнами, возобновился. В Сплит стали поступать из Боснии олово, серебро, кожи, лес; из Венеции – одежда, предметы роскоши, ткани, книги и другие многочисленные товары. Сплит оказался перевалочной базой, и в городе оседали венецианские и турецкие вещи. Особенно они заметны в быту.

В Сплите, как и в других далматинских городах, сложились характерные для Адриатики типы построек, отдельные образцы которых дожили до наших дней. Дома строили из камня. Они были узкими и высокими, часто двухэтажными, с первым полуэтажом, называемым по-хорватски «приземле» и сопоставимым с русской подклетью. Счет этажей ведется, начиная со второго. Под крышей располагалось чердачное помещение с кухней и очагом. В домах нобилей бывало по 2-3 комнаты на этаже, в остальных домах жилая комната и кухня нередко занимали одно помещение.

Найденные сплитские инвентари описывают имущество 8 пополанов и 18 нобилей и богатых горожан, именуемых обычно «читтадини». Прежде всего, бросается в глаза малочисленность вещей, упомянутых в инвентарях пополанов. Так, у скорняка Петра Бертучевича в 1570 г. описано только 22 наименования, тогда как в доме нобиля Иеронима Геремина названо более 400 предметов, причем вещи описаны по помещениям. По инвентарям можно судить, что стены внутреннего помещения редко покрывались портьерами. Только в домах нобилей названы стенные занавеси из сукна, окрашенного полотна, редко – шелка. В Венеции уже с XV века вошли в моду портьеры из кожи, а в сплитском доме и в XVII веке они – редкость. Только у аббата Целсия в комнате на втором этаже для портьер использовалась хорошо выделанная и позолоченная кожа, называемая «cuoridore» или «cori». В далматинских городах, видимо, такие кожи не производились. В списках ремесленников часто встречаются скорняки и сапожники, а кожевенники упоминаются редко. Лишь в XVIII в. в Сплите появляются кожевенные мастерские. Конечно, дубление кож было известно и сплитским горожанам (в инвентарях названы бочки для дубления кож), но изготовление тонких кож требовало особой квалификации, какая была только у иностранных мастеров. Так, кожаные портьеры в доме трогирского историка Павла Андрейса оценивались в 400 лир, а стул в том же доме – в 22 лиры[4]. Комнатные двери покрывались портьерами, видимо, во всех домах, независимо от социального положения. В инвентарях часто упоминаются занавески из красной хлопчатобумажной ткани «готтоне». Нобили стелили на по-

лы ковры «таподи», а в пополанских домах названы циновки. С XVII века чаще встречаются ковры «чилимы», видимо, турецкого (боснийского) производства.

Как и прежде, в XVII веке главным предметом обстановки в домах спличан остаются сундуки «кассоны». Наилучшие их образцы изготовлялись в Италии, а далматинские были гораздо скромнее. В инвентарях они названы по-венециански: «касса», «кассалеты», то есть кубические лари, и «кофано» – прямоугольные сундуки, напоминающие римские саркофаги. Такое толкование названий сундуков встречаем в классической книге Молменти «История частной жизни в Венеции»[5].

Сундуки сбивали из еловых и ореховых досок. В них хранили продукты, посуду, белье, одежду, книги, деловые бумаги. Кроме того, сундук служил столом, скамьей; упомянуты в инвентарях и «сундуки для ночного горшка». Сундуки резные и позолоченные – редкость, и только в одном случае – в доме нобиля Лоренцо Агацци – назван особый сундук, передняя стенка которого украшена картиной, рисованной на бумаге. Видимо, он был привозным. В инвентарях нобилей упомянуты сундуки под названием «форциери», сделанные из кипариса или ореха, четырехугольной формы, обтянутые по углам кожей, чаще красного цвета. В них хранились украшения, драгоценности. Интересно отметить, что сегодня итальянское слово «форциери» имеет значение «несгораемый шкаф». Таким образом, прежнее значение слова не сохранилось, но функциональная значимость «форциери» как надежного хранителя ценностей осталась в языке.

В инвентаре нобилей названы «петтениери» – искусно выполненные шкатулки из кипариса, эбонита, ореха, груши, украшенные золотой парчой, кружевами. В них находились туалетные приборы, отсюда и название («петтине» – гребешок). Были и шкатулки больших размеров, с двумя ящичками.

В домах пополанов обычно встречались огромные сундуки, окрашенные в белый, красный и зеленый цвета.

Покрывала «банкали» стелили и на сундуки, и на скамьи. Отсюда и название («банко» – скамья, лавка).

После сундуков в инвентарях упоминались кровати. В XVI веке кровать в сплитском доме – роскошь. Так, в доме простолюдина Младена Чупиновича, имевшего пятерых детей, были только одна кровать и колыбелька. На ночь обычно прямо на пол или на лавки стелили соломенные тюфяки, упомянутые во всех инвентарях. В XVII веке ситуация меняется: кровать занимает важное место в обстановке домов нобилей и пополанов. Деревянные кровати были двух видов: «леттиери», состоящая

из рамы с поперечными досками или сеткой из конопли, и «cavallette con le sue tolle», буквально – «доски на козлах». Упоминается в инвентаре и «коччиетта» – кровать из двух деревянных распор с натянутым полотном. В описании домов нобилей встречаем богато украшенные кровати: резные колонны по углам рамы несли балдахин из ореха, но чаще на них натягивали полог из шелка «рассета», полотна «боттана» или из ткани «брокаделло» (видимо, полубархата). С полога спускались занавески – «колтрине». В инвентаре богатого сплićанина Кавалла под 1686 г. описана самая красивая из известных нам кроватей. Ее опоры были металлическими, по углам располагались деревянные резные львы, поддерживавшие карниз, также резной и позолоченный. На нем был натянут полог из полушелкового желтого дамаска с красными цветами, вокруг спускались витые кисти. В семье Гауденцио Радовчич упомянута железная кровать с фамильным гербом.

Как в домах нобилей, так и у пополанов нижнюю часть кровати украшали подзором «торналетти», изготовленным из льняной или хлопчатобумажной ткани сероватого цвета. В инвентарях XVII века названы цветные подзоры, часто с кружевами, иногда из тонкого шелка «цендалла». На кровати стелили соломенные тюфяки и подголовники, покрывали их суконными или полотняными простынями, иногда шелковыми. В описях XVI века простыни редки. Только у Елизаветы Бендетти названа одна наволочка и две простыни из шелка. В XVII веке в некоторых домах нобилей было уже до 40 полотняных простыней. Подушек, набитых мехом и пером, в сплитских домах всегда было много, но наволочки чаще упоминаются в инвентарях XVII века. Укрывались обычно стегаными одеялами, сшитыми по-турецки, а иногда – шерстяными «фелцаде» и «скьявине» (славянские) из грубого домашнего сукна. Кстати, это единственное название, указывающее на славянское происхождение вещи. Пользовались спличане и одеялами из меха, подшитыми сукном. О некоторых знаем, что окрашены они были в красный цвет. В инвентарях XVII века в домах нобилей названы дневные покрывала на кровати: из дамаска, пурпурного «брокаделла», шелковые с подзором. На кровати ставили подушки в наволочках, иногда из красного дамаска с кружевом. Упоминаются и двусторонние: зеленый низ, красный верх, с вышивкой.

Новым в убранстве комнат нобилей Сплита в XVII в. стали шкафы. Однако шкаф-буфет «креденца», получивший широкое распространение в Италии в период Ренессанса, в Сплите был редкостью. Есть упоминание только двух буфетов из ореха и одного шкафа для хранения лекарств. Назван шкаф «сгабелло»

с двумя ящиками (комбинация сундука и скамьи) для женской одежды. Упомянут и двустворчатый шкаф.

Столы готического стиля – огромные, состоящие из рамы и столешницы, накрываемые только по необходимости, – сменились в домах нобилей малыми столами, обычно из ореха; часто овальными или круглыми. В городских домах пополанов сохранились примитивные низкие столы, которые в далматинских деревнях и сейчас называют «синья». В инвентаре знатной дамы назван большой письменный стол из ореха, там же упомянут и стол для ученика.

Столовое белье в Сплите богато: красные и синие скатерти, используемые каждодневно, и скатерти «мантили» из полотна, украшенного кружевом, вышивкой, бахромой. Их накрывали перед обедом. Названа в инвентаре и скатерть с вышитой картиной. Пользовались полотенцами, также с кружевом и вышивкой. В отдельных семьях нобилей их было до сотни.

В инвентарях XVII в. чаще встречаются стулья: обычно из ели, реже из ореха, но были и соломенные, особенно в домах пополанов. В нескольких случаях названы стулья, обтянутые «булгарской» кожей, видимо, как считает Божич-Бужанчич, невысокого качества. Упомянуты стулья с высокой резной спинкой, позолоченные. Но спличане и в XVII веке продолжали пользоваться лавками и скамьями, покрытыми коврами. Названы в инвентаре скамеечки для молений в церкви. В комнатах устанавливали деревянные или металлические подставки для таза и кувшина, используемых при умывании.

Полки с посудой, зеркала в рамах названы почти во всех инвентарях. Упомянуты один раз настенные часы, но чаще часы в домах были песочными. Интерьер украшали картины светского и религиозного содержания. В инвентарях названы иконы на досках, пасторали, пейзажи, морские сюжеты на бумаге и полотне, упомянуты и семейные портреты. На деревянных или металлических вешалках размещались трости, плащи, оружие – холодное и огнестрельное. Одна из вешалок выполнена в форме человека и служила для плащей и накидок. Очень редки упоминания конской упряжи, названы только богато украшенные седла.

Комнаты обычно освещали восковыми и сальными свечами в медных и серебряных подсвечниках.

Можно получить представление и о кухонном помещении. В отличие от деревенских домов, где кухня была первым от входа помещением, в городах Далмации строили дома, в которых кухня находилась на верхнем этаже или на чердаке, и вход в нее вел из комнаты вверх по лестнице. Как считают этнографы, такая планировка возникла под венецианским влиянием[6]. В кухне

размещались сундуки, иногда 2-3 стула, редко шкафы, часто лавки и полки для посуды. Все предметы – из еловых досок. Центр кухни – очаг, в инвентарях не назван, так как являлся частью помещения, но цепи, на которых висел котел, упоминаются. Правда, форма цепи, являющаяся для этнографов неким культурным определителем, не описана. Над огнем ставили треножник округлой или треугольной формы, называемый турецким. Упомянуты инструменты для поддержания огня: кочерга, щипцы для углей, лопаточки, меха.

Кухонная посуда, как принято на Балканах, изготовлялась из меди и латуни. Медная посуда легче и удобней чугунной и бронзовой. Кроме того, медь, подобно бронзе и железу, переносит высокие температуры, и открытый огонь не причиняет ей никакого вреда. Такая посуда служила прежде всего для приготовления еды на очаге. Медные кастрюли, котлы, сковороды можно было хорошо вычищать и надраивать до блеска. Красноватая, сдержанно поблескивающая медная посуда выделялась на белых стенах и была гордостью хозяйки. Изнутри медную посуду лудили в санитарных целях. В кухне сплитского дома в изобилии имелись котлы, казаны, сковороды, жаровни, мангалы, вертела, кувшины, ступки с пестиками. Во многих инвентарях названы квашни, котлы для варки белья, оловянные утюги.

Столовая посуда хранилась в комнатах. Тарелки были деревянные, медные, оловянные. Из редкой даже у нобилей майолики названы только солонка, конфетницы, соусницы, подносы, кувшины для воды. В инвентаре богатого спличанина описаны 62 тарелки из майолики с венецианской печатью. Столовые приборы чаще из олова и серебра, но были и деревянные ложки. Описаны серебряные ножи с гравированными ручками, ножи для рубки мяса, ножи, похожие на турецкие кинжалы. Серебряные предметы ценились: так, в одном инвентаре названы 4 сломанные серебряные вилочки. В некоторых домах были серебряные подносы, подстаканники, солонки, ножи, кувшины, тазы для мытья рук. Стеклянная посуда была редкостью, упомянута только одна кофейная чашечка.

Дома в Сплите, как принято в Средиземноморье, не обогревались, поэтому в кухне были мангалы для согревания рук и ног. Известны и медные грелки в виде сдвоенной сковороды с ручкой. Кругообразную поверхность грелки покрывали чеканкой, на стенках проделывали отверстия для регулирования доступа воздуха и нормального горения древесного угля. Горелки, обогревавшие кровати, были распространены по всей Европе.

Упомянут в некоторых инвентарях любопытный предмет – «moscarvol». Видимо, это куб из мелкосплетенной металлической

сетки, которым накрывали продукты, оберегая их от мух. Подобные предметы в далматинских городах встречаются и сегодня.

Большую значимость для горожанина представляли подсобные помещения – кладовые и погреба. В них размещались различные бочки, ступы для отжатия маслин, сосуды с маслом, мышеловки, безмены, ткацкие станки, гребни, веретена, пряслица. Упомянут и перегонный куб. Среди инструментов перечислены деревянные и медные лопаты, ножницы для стрижки терна, лейки, мотыги. Отмечу венецианское название цапки – «цаппон» – и ее же хорватское наимнование – «храсница». Кажется, это единственный предмет в инвентарях, названный по-хорватски.

В погребах горожане хранили продуктовые запасы: мед, сыр, консервированное мясо, хмель, сушеную смокву, маслины, зерно, муку, масло, бобы, вино, овощи, яйца, коробки с пряностями, бочки с сардинами. Все эти предметы перечислены в инвентарях. Дома богатых граждан и простолюдинов различались обычно количеством продуктов, но не их ассортимента.

Мое этнографическое сообщение позволяет увидеть значительную разницу в убранстве венецианского и сплитского дома. Сравнение не в пользу последнего, несмотря на некоторое экономическое оживление в Сплите после постройки нового порта. Сплит, как и другие далматинские центры, имел все же провинциальный вид сравнительно с итальянскими городами. В то же время, венецианская мода проникла и сюда, вытеснив традиционный быт, сохранившийся с этого времени только в деревнях, на островах и в Загорье. Традиционный быт был славянским, в городах же славянские вещи и славянские названия предметов – большая редкость, и проникают они в Приморье с балканского хинтерланда, в основном – из Боснии.

---

[1] Božić-Bužančić D. Prilozi poznavaniu interijera kuće u Splitu iz druge polovine 16 vijeka.Split, 1961; Interijer kuće u Splitu u 17 vijeku. Split, 1965; Društveni i privatni život u Splitu od konca XVIII st. do pada Mletačke republike. Split,1980.

[2] Raukar T., Petricioli I. Zadar pod mletačkom upravom. Zadar. 1987.

[3] Фрейденберг М.М. Венеция, Дубровник и Сплит в адриатической торговле// Вопросы истории. 1972. №1. С.194.

[4] Fisković C. Kućâ povijesnika Pavla Andrejsa// Izdanie HAS-a. Split. 1969. Sv. 7. S. 223-224.

[5] Molmenti P. Storia di Venezia nella vita privata. Trst. 1978.

[6] Мартынова М.Ю. Хорватская этническая история XVIII-XIX вв. М.,1988. С.89

Человек XVI столетия

Утверждено к печати
Институтом всеобщей истории РАН

Л.Р. № 020915 от 23 сентября 1994 г.

Подписано в печать 31.01.2000
Гарнитура Ариал. Объем - 14 п.л.
Тираж - 300 экз.

....

ИВИ РАН. Ленинский пр., 32А